

И. МАЙСКИЙ

ПЕРЕД  
БУРЕЙ

МОЛОДАЯ  
ГВАРДИЯ  
1946

И. МАЙСКИЙ

П Е Р Е Д  
Б У Р Е Й

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

1945

*ПОСВЯЩАЮ  
ЕЛИЗАВЕТЕ*

*МИХАЙЛОВНЕ  
ЧЕМОДАНОВОЙ*



*И. М. Майский в годы работы в Лондоне в качестве посла СССР*

*ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ*

Основным мотивом, побудившим меня написать эти воспоминания, было желание на собственном примере показать, как люди старого поколения, вырвавшиеся в условиях царской России, приходили к революции.

В то время атмосфера нашей страны была густо насыщена влияниями самой черной политической и социальной реакции — светской и духовной. Передовой молодежи той эпохи приходилось с величайшим трудом, продираясь через тысячи препятствий, приходить к пониманию азбуки революции. Это был сложный, тяжелый, запутанный, подчас мучительный процесс. Он сильно варьировался в зависимости от характера социальной среды, из которой вышел революционер. Рабочий приходил к революции по-своему, крестьянин по-своему, интеллигент по-своему. Известную роль, конечно, играли и индивидуальные особенности. Лично я был выходцем из интеллигентско-демократических кругов, и моя собственная история отражает, конечно, в первую очередь пути, которым и приходили к революции представители именно этой социальной прослойки.

Я думаю, что на представителях старого поколения, в особенности на тех, кто умеет держать перо в руках, лежит обязанность рассказать о том, как они складывались и формировались в революционеров, какие силы, влияния, обстоятельства будили в них сознание и толкали их на

борьбу против самодержавия, против буржуазного общества, за социализм и коммунизм. Это представляет большой исторический и политико-воспитательный интерес. Тем самым представители старого поколения сказали бы серьезную услугу не только будущему историку пролетарской революции, но также и современному поколению советской молодежи. Сравнивая то, что было, с тем, что есть, наше юношество могло бы легче осознать всю огромность и всю благодатность перемен, принесенных Великой Октябрьской социалистической революцией.

Однако, чтобы воспоминания «стариков» имели настоящую ценность, они должны быть правдивы. Я имею при этом в виду не столько те сознательные извращения истины, которые заслуживают осуждения во всяком произведении мемуарного характера, сколько нечто совсем иное.

Каждого автора воспоминаний подстерегают две главные опасности. Первая — это излишнее доверие к своей памяти. Человеческая память — несовершенный инструмент: она произвольно удерживает одни и опускает другие — часто не менее важные — факты и моменты, что, конечно, не может не отражаться на характере закрепившейся в памяти картины. Вторая опасность — это склонность смотреть на явления прошлого, нередко далекого прошлого, глазами настоящего, изображать события прошлого не так, как они воспринимались автором в момент их совершения, а так, как они воспринимались бы автором сейчас, много лет спустя. Если мемуарист недостаточно вооружен для борьбы с обеими указанными опасностями, он легко может власть в невольное извращение истины, которое будет не менее вредно, чем сознательный подлог.

При писании своих воспоминаний я оказался в более счастливом положении, чем большинство мемуаристов, изображающих свое детство и раннюю юность. (Мальчиком я любил вести дневники и переписываться с родственниками и друзьями. По какой-то прихоти случая значительная часть этих «человеческих документов» уцелела и несколь-

ко лет назад попала в мои руки. Особенно ценными оказались письма, которые я, начиная с восьмилетнего возраста, систематически писал своей двоюродной сестре Е. М. Чемодановой и в которых я всегда подробно излагал повседневные события моей жизни и мои реакции на все, что мне приходилось читать, видеть, слышать, наблюдать. Старшая из моих сестер, Юлия, всегда ревностно хранившая различные сувениры нашей семейной хроники, спасла от забвения и гибели рукописный сборник моих гимназических стихов, а также много семейных фотографий. Омский профессор Е. С. Сорокин — бывший мой товарищ по классу — предоставил в мое распоряжение ряд собственных снимков Омска, относящихся к описываемому в моей книжке периоду. Всем этим лицам я хочу здесь выразить свою искреннюю признательность. Таким образом, к моим услугам оказался точный и разнообразный материал о моем прошлом, материал, основанный не на мало надежной записи собственной памяти, а на подлинных документах из времени моего детства и юности. Это сильно облегчило мне борьбу с теми опасностями, которые, как я указывал выше, угрожают каждому мемуаристу.

Работал я над этими воспоминаниями зимой 1939/40 года в Лондоне, где в то время я был послом СССР. Война по-настоящему тогда еще не началась. Вместе с тем из опасений воздушных налетов вся Англия с закатом солнца уже погружалась в кромешный мрак «black out» (затемнения). Обычная вечерняя жизнь, всегда отнимающая так много времени у посла, внезапно прекратилась. В густо набитом всякими делами и обязанностями дне образовалась неожиданная пустота. Меня невольно потянуло к письменному столу. Результатом является предлагаемая вниманию читателя книжка.

Первое издание моих воспоминаний, появившееся также на английском языке в Лондоне и на шведском в Стокгольме, вызвало широкий отклик со стороны читающей публики как в печати, так и в частных письмах. Боль-

шей частью этот отклик был сочувственный, теплый, иногда горячий, даже восторженный, и я пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить за доброе отношение к моей книжке всех моих друзей-читателей как в Советском Союзе, так и за границей.

Очень часто друзья-читатели задавали мне вопрос: будете ли вы писать продолжение своих воспоминаний?

Я хочу сейчас ответить на этот вопрос: да, у меня есть такое намерение, ибо жизнь каждого отдельного человека всегда в той или иной мере является отражением современной ему эпохи, а ведь наша эпоха полна столь исключительного значения и интереса для человечества. Поэтому всякий лишний штрих, всякое лишнее свидетельство, служащие материалом для освещения или понимания нашей эпохи, представляют собой ценность. Однако когда мне удастся осуществить свое намерение, пока трудно сказать. Это покажет будущее.

*АВТОР*

Москва.  
Сентябрь, 1945 г.



## 1. ПЕРВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ БЫТИЯ

...Горячее южное солнце ослепительно сверкает. Оно точно царствует в этом глубоком ярко-синем небе, и от него падают вниз бурные каскады светлых и теплых лучей. Море беспокойно голубеет. Ни ветерка. Тишь и блеск. Где-то вдали белеет одинокий парус. У крутоярного красноглинистого берега слетка бьет ленивая, ласковая волна.

Мужчина с черной косматой бородой и серыми добрыми глазами хватается меня за руки и вместе со мной быстро бежит в воду. Мне страшно. Маленькими, мягкими ручонками я судорожно хватаюсь за шею мужчины и выпускаю дикий крик. Но мужчина неумолим. Он только крепче прижимает меня к своей груди и, разбрасывая кругом серебристые брызги, все дальше и глубже погружается в воду. Я начинаю отчаянно биться у него в руках. Мужчина смеется, ласково поглаживает меня и уговаривает:

— Ну, Ваничка... Ну, глупенький... Не бойся. Я с тобой.

Вдруг мужчина делает странное и неожиданное движение: он крепко зажимает мне нос, прыгает вверх и потом сразу, внезапно, стремительно окунается вместе со мной. Я чувствую, что задыхаюсь. Смертельный страх пронизывает все мое маленькое существо. Ужасный, неудержимый крик рвется из моей стесненной груди. Но прежде чем я успеваю дать ему волю, я снова над водой, я снова вижу море, солнце, берег, на котором стоит моя мать и машет мне приветливо руками.

— Хватит, хватит! — кричит она мужчине. — Не видишь разве, как Ваничка перепугался.

Мужчина разжимает мне нос и, опять разбрасывая вокруг себя серебристые брызги, быстро бежит по воде, на

этот раз уже в обратном направлении. Еще мгновение — л мужчина передает меня с рук на руки моей матери, весело приговаривая:

— Не будь трусом, Ваничка! Ты ведь мальчик... Хочешь, еще раз пойдем в море?

Но мне не до моря. Я крепко цепляюсь за шею матери и с облегчением начинаю всхлипывать у нее на плече...

Таково первое ощущение бытия, которое сохранила моя память.

Позднее мать мне рассказывала, что дело происходило в 1886 году. Мне было два года. Мы проводили лето на днепровском лимане, неподалеку от Одессы, и мой дядя— муж старшей сестры моей матери—любил брать меня в море купаться...

Дальше идет черный провал. На светочувствительной пленке памяти долгое время нет ни точки, ни черточки. Тьма. И вдруг вспышка магия. Новая зарисовка...

Маленькая кухня с печкой, плитой, деревянным столом, кастрюлями, тарелками. Посередине кухни на двух стульях стоит металлическая детская ванна. В ванне сижу я, а напротив меня в той же ванне сидит веселая черноглазая девочка. Молодая красивая женщина в фартуке моет нас обоих. Ее пышные темные волосы разметались и прилипли ко лбу. Ей жарко, и ее добрые, живые глаза то смеются, то стараются казаться сердитыми. Мы с девочкой в ванне вертимся, плещемся, обливаем друг друга. Брызги летят и на молодую женщину. Мы мешаем ей мыть нас.

— Перестань шалить! — кричит она мне и с деланно раздраженным видом слегка шлепает меня по руке.

Но я не верю тому, что молодая женщина действительно сердита, громко смеюсь и с озорством сильно хлопаю рукой по воде. Моему примеру следует девочка. Тогда молодая женщина накидывается с притворной строгостью на девочку:

— Ты что тут развоевалась? Хочешь, чтобы я тебя отшлепала?

Но девочка только заливается смехом. Она знает, что никто ее не отшлепает.

Еще несколько минут мы возимся в ванне. Потом молодая женщина вытаскивает нас оттуда, обтирает полотенцем, дает нам одежду. Спустя мгновение мы оба — я и

девочка — сидим рядом за столом и пьем горячее молоко с какими-то очень вкусными булочками...

Это уже 1888 год. Мне четыре года. Отец только что окончил Военно-медицинскую академию и едет в Сибирь на службу. По дороге в Омск, куда лежит наш путь, мы останавливаемся на несколько дней в Москве у наших родственников Чемодановых. Молодая женщина в фартуке — моя тетка, младшая сестра моей матери, а черноглазая девочка, сидящая напротив меня в ванне, — моя двоюродная сестра «Пичужка», которой суждено было сыграть такую крупную роль в моем детстве и ранней юности.

Дальше в моей памяти снова черный провал. Снова тьма. И вот опять вспышка магния. И вот еще одна зарисовка...

Ранняя весна! Пасха. Мы живем в новом деревянном доме, выходящем на широкую площадь. По ту сторону площади — казенного вида белые каменные здания. Это лазарет местной воинской команды. Туда каждое утро ходит мой отец «солдат лечить», как выражается наша кухарка, толстоногая Аксюша. Перед уходом отец всегда надевает высокие кожаные сапоги. Еще бы! На площади перед нашим домом совершенно потрясающая грязь. Даже не грязь, а целое грязное море, по которому можно плавать не без опасности для жизни. Вот и сейчас я стою у окошка и вижу, что посередине площади как-то уныло и укоризненно чернеет кузов полузатонувшей в грязи телеги. Два дня назад, когда с телегой случилась беда, здесь были шум и крики, и толпа людей, и каждый из присутствовавших подавал свой совет о том, как лучше выволить телегу, но толку от всего этого смятения не получилось никакого. Лошадей выпрягли, хозяев кое-как вытащили из грязи на веревках, а телегу бросили в ожидании того времени, когда площадь обсохнет. Отцу моему приходится быть очень осторожным. Он всегда пробирается по самому краю площади, где посуше, обходя главные лужи, и все-таки каждый день он возвращается домой с сапогами, доверху забрызганными грязью. Я стою, смотрю и думаю:

«Если бы я был царь Салтан, я приказал бы, чтобы не было грязи».

Впрочем, о грязи я сегодня думаю так, лишь по инерции. На самом деле мои мысли заняты другим. В течение всего предшествующего месяца в нашем доме царили необычайные веселье и суматоха. Моя мать организовала из местных любителей драматический кружок. Решили поставить пьесу «Сорванец». Разобрали роли, пошли репетиции, начались волнения. Артисты собирались по очереди в домах членов кружка, но чаще всего у нас. Тут было как-то уютнее и веселее. Говорили, будто бы в нашем доме «каша зарыта»<sup>1</sup>, — оттого люди сюда шли охотнее всего. Дело было, конечно, не в «каше», а в моей матери: она умела быть «душой общества». Разумеется, я был все время в необычайной ажитации, вертелся около артистов, подсказывал роли, подавал костюмы и грим. И вот сегодня, в первый день пасхи, в «уездном собрании» должен состояться самый спектакль... Возьмут меня на спектакль или не возьмут?.. Ах, как это важно! Это самый важный вопрос в мире! Я не могу себе представить, чтобы сейчас, в этот час, в эту минуту, могли быть какие-либо иные вопросы, более важные...

Полдень. Начинают собираться гости. На столе в гостиной пасхальная панорама, от которой у меня слюнки текут: куличи с глазурью, пасха с миндалем, разноцветные крашенные яйца, семга, икра, пирожки, индюшка, водка, вина, ликеры и прочая, и прочая, и прочая. Гости христосуются, обнимаются, едят, пьют, болтают, рассказывают городские сплетни, судачат о знакомых и больше всего говорят о предстоящем сегодня вечером спектакле. Я смотрю, слушаю, хожу около стола, ныряю среди гостей, а в голове все время гвоздит:

«Возьмут или не возьмут?»

Накануне я случайно подслушал, как мать говорила отцу, что спектакль кончится поздно и что мне лучше остаться дома с Аксюшей. Неужели оставят?.. Нет, это невозможно! Но все-таки:

«Возьмут или не возьмут?»

Моя мать всюду поспевает, перешучивается и пересмеивается со всеми гостями. К ней подходит молодая веселая женщина с усиками на губе, жена директора уездного училища, которую все почему-то зовут Катя. Катя тоже участвует в пьесе, и во время репетиций она всегда ока-

---

<sup>1</sup> Сибирское выражение.

зывала мне особое внимание. Катя гладит меня по голове и, обратившись к матери, спрашивает:

— А Ванюшка будет на спектакле?

У меня даже сердце екает. Мать начинает ей что-то говорить насчет гигиены и позднего времени, но Катя только пренебрежительно поводит плечами и, звонко расхохотавшись, бросает:

— Иди ты с своей гигиеной! Жизнь-то один раз живешь... Видишь, мальчишке до смерти хочется попасть на спектакль, а ты его не пускаешь... На что это похоже?

И Катя опять гладит меня по голове. Я готов расплакаться.

Мать смотрит на мое лицо, понимает, что происходит в моей душе, и... соглашается. Я счастлив. Я пляшу от радости вокруг стола: я пойду на спектакль!..

Все это я помню так, как если бы все это случилось только вчера.. Но — странно! — в памяти моей совершенно не сохранилось ни одного, даже самого бледного, воспоминания о самом спектакле, на который я так рвался...

Это 1889 год. Мне уже шестой год. Я уже читаю и немного пишу. Мой отец отслуживает свою стипендию в крохотном захолустном городишке Каинске Томской губернии. Мать занимается семьей, хозяйством и общественной деятельностью, — в масштабах и формах своего времени...

Дальше в моей памяти опять провал. Опять мрак и тьма. И, наконец, с семи-восьми лет идут уже более связанные, более систематические воспоминания. Встает картина детства. И так как для ребенка первым и самым важным «кругом» его вселенной — по крайней мере, в досоциалистическую эпоху — является семья, то я начну описание своей жизни с характеристики моих родителей.

## 2. МОЙ ОТЕЦ

Раннее зимнее утро. За окнами еще почти темно. Небо только начинает светлеть. На улице тихо. Так тепло и уютно в постели. Так хочется, свернувшись клубком под одеялом, прикорнуть еще на минутку... всего лишь на одну минутку. Но нет! Нельзя! Половина восьмого — и надо, обязательно надо вставать: иначе опоздаю в гимназию.

С неохотой поднимаюсь с постели. Долго не могу попасть в свои штанишки. Долго умываюсь под железным крашеным рукомойником, лениво плещась в тазу. Наконец я готов: одет, обут, умыт. Книги и тетради сложены в ранец. Иду в столовую пить чай, но по дороге захожу в кабинет отца. Он уже на ногах, или, вернее, на стуле. Каждое утро я нахожу его на одном и том же месте, в одной и той же позе: он сидит за микроскопом у стола, густо заставленного всякого рода колбами, пробочками, баночками, препаратами.

— Здравствуй, папа!

— Здравствуй, Ванюшка!

И отец, не отнимая одного глаза от микроскопа, другим ласково здоровается со мной.

— Ты давно уже здесь?

— Нет, не так давно... Часика два.

Это значит, что отец встал в шесть часов утра, когда за окном еще царил темная ночь, а квартира наша была наполнена храпами и вздохами спящих. Я начинаю ласкаться к отцу и звать его пить с нами чай.

— Иди, иди, Ванюшка, — говорит отец, — пей чай, а то опоздаешь. Я сейчас тоже приду.

Это «сейчас» продолжается, по крайней мере, полчаса. Мать успевает напоить всех детей чаем, отдать кухарке все распоряжения к обеду, наказывать денщику Семену сделать нужные закупки в городе (отцу, как военному врачу, полагался денщик), прежде чем отец, наконец, появляется в столовой.

— Ну вот, ты опять опоздал, — недовольно встречает его мать, — все остыло: и самовар, и шанежки... Когда ты, наконец, станешь жить по-человечески?

— Ты не беспокойся, я и так обойдусь, — виноватым голосом отвечает отец и молча принимается за холодный чай и полуостывшие шанежки.

Я внимательно слежу за тем, как отец своими крепкими, сильными зубами машинально пережевывает пищу, но я вижу, что мысли его сейчас далеко от чайного стола. Я знаю, где его мысли: они около того, что за несколько минут перед тем он видел в окуляр своего микроскопа...

Когда я думаю о своем отце, мне всегда приходит на память только что описанная картина. Она типична, более того, она характерна. Она ярко выражает самую сущность



*Мой отец.*

натуры моего отца, его лучшее внутреннее «я» — служение науке. Это служение составляло душу его души. Наука всегда была и до самого последнего дня осталась его «богом», которому он отдавал свои силы, свое время, свою энергию и отдал бы, если бы понадобилось, самую жизнь. Отец был сделан из того теста, из которого в прошлые века выходили мученики науки. Живя в эпоху, когда костры, сжигавшие воинов человеческой мысли, погасли, он имел возможность служить своему «богу» в более спокойной и нормальной обстановке. Однако научный путь отца далеко не был усеян розами. Не раз на этом пути встречались острые шипы, и об одном таком случае я расскажу подробнее ниже.

Я не знаю, откуда у отца взялась столь всепоглощающая страсть к науке. Должно быть, в этом отношении он был самородком, потому что ни его происхождение, ни его воспитание, ни условия его жизни не только не могли способствовать развитию в нем склонностей к научной работе, но, наоборот, способны были задушить ее такие зачатки и тенденции.

Выходец из крестьянской семьи Херсонской губернии, мой отец в девять лет остался круглым сиротой. Его взял к себе дядя, живший в городе и служивший сторожем при мужской гимназии в Кишиневе. Дядя был человек сурового нрава, и бедному сироте от него приходилось негладко, но у дяди была одна хорошая черта: он поклонялся образованию. Будучи сам неграмотным, дядя уверовал в изречение: «Ученые — свет, неученье — тьма». Он постоянно его повторял — не всегда кстати — и потому твердо решил сделать из маленького Миши «человека». Всякими правдами и неправдами дядя «определил» племянника в гимназию, при которой он служил, и поддерживал его в первые годы учебы. Потом дядя умер, и с четырнадцати лет мой отец, оставшись совсем один, должен был сам заботиться о себе. На медные гроши, добываемые уроками, репетиторством и всякими иными случайными работами, он с горем пополам все-таки кончил гимназию и вслед за тем поступил на физико-математический факультет Новороссийского университета в Одессе. Это был конец 70-х годов, когда в высшей школе в России во все большем количестве стали появляться «разночинцы» — поповичи, мещане, крестьянские дети. В 1882 году отец кончил университет со званием «кандидата есте-



ственных наук» и вскоре после того женился на моей матери. Казалось бы, на этом ему полагалось закончить знакомство с науками, поступить на службу и заняться устройством своего «семейного гнезда». Так делали тысячи. Того же ждали и от моего отца. Но вышло иначе. И виной тому была как раз та страсть к науке, которая составляла основной стержень его души.

Еще будучи на физико-математическом факультете, мой отец как-то услышал от одного товарища, студента-медика, что курение представляет собой серьезную опасность для человеческого организма. Студент-медик привел в обоснование своей мысли ряд аргументов. Отец, который в то время много курил, сильно заинтересовался сообщением коллеги. Не любя, однако, жить информацией, получаемой из вторых и третьих рук, он решил сам исследовать данный вопрос. Хотя влияние никотина на человеческий организм никак не входило в программу занятий физико-математического факультета, мой отец, урывая дорогое время от своей прямой учебы и от лихорадочной погони за заработком, приступил к самостоятельному изучению вредных последствий курения. И притом к какому изучению! Он не только перечитал все относящиеся сюда научные труды, которые мог раздобыть в университетской библиотеке, он также стал производить различные опыты над самим собой. В числе последних был и такой: отец наблюдал за влиянием бега на температуру человеческого тела. Не могу сказать, какое отношение этот опыт имел к основной теме его исследования, но знаю, что каждый день в один и тот же час отец измерял у себя температуру, потом бегал в течение пятнадцати минут без перерыва, после чего опять измерял температуру. Жил мой отец в описываемое время на одной из бедных окраин Одессы. Опыт свой ему приходилось проделывать либо во дворе того дома, где он снимал крохотную комнатку, либо на улице. Легко себе представить, какую сенсацию это представляло для окрестных жителей. Десятки людей — мужчин, женщин и детей — ежедневно собирались, чтобы посмотреть, как будет «бегать студент». Мальчишки проявляли при этом особый восторг. Когда отец приступал к своему опыту, из толпы неслись задорные возгласы:

- Подтяни подпругу, не то упадешь.
- Катись колесом — обернись конем.
- Штаны не потеряй, вишь, сваливаются.

— Куда торопишься? Сапоги протрешь.

И все в том же духе. В конце концов вся округа пришла к убеждению, что «студент немножко того», но число зрителей отцовского опыта в результате только увеличилось. Весь этот шум, однако, нисколько не смущал молодого исследователя. Он планомерно продолжал изучение заинтересовавшего его вопроса и, когда кончил свою работу, изложил выводы, к которым пришел, в специальном научном докладе, прочитанном на собрании профессоров и студентов. Выводы отца были совершенно точны: никотин вредно влияет на человеческий организм, и курение — зло, с которым необходимо бороться. Но отец не ограничился одной лишь теорией: на другой день после своего доклада он бросил курить и больше уже никогда не прикасался до конца жизни к папиросе.

Этот эпизод сыграл крупную роль в судьбе моего отца. Его перестали удовлетворять естественные науки и потянуло к медицине. По окончании физико-математического факультета перед отцом поэтому встал вопрос: что же дальше?

В течение некоторого времени отец колебался. Он только что женился. В ближайшие годы можно было ожидать детей. В кармане не было ни копейки. Итти на медицинский факультет — значило затратить еще пять лет на образование. Стоит ли? Имеет ли он право обречь на нужду и лишения свою жену, детей? Не лучше ли поставить крест над научными соблазнами? Не проще ли сразу же поступить на работу и материально обеспечить семью?

Тысячи молодых людей в положении моего отца, вероятно, сделали бы выбор в пользу семьи и обеспеченности. Но отец поступил иначе: он решил все-таки стать врачом. Он переехал в Петербург и поступил в Военно-медицинскую академию, где — вопрос, немаловажный для отца, — он стал получать студенческую стипендию. Правда, за эту стипендию по окончании учебы отец обязывался отслужить 4 года и 9 месяцев в пункте по усмотрению военного ведомства, но все-таки «пока» материальная проблема была до известной степени разрешена.

Говорю «до известной степени», потому что академической стипендии на двоих явно не хватало. В Петербурге мои родители жили очень плохо: ютились в холодных мансардах, питались впроголодь. Еще хуже стало, когда пошли дети: сначала я, а спустя два года после того моя

сестра Юлия. Когда мать забеременела мной, положение было настолько критическое, что отец вынужден был временно прервать учение и взять место «воспитателя» у одного дворянского балбеса в Новгородской губернии. Не было бы счастья, да несчастье помогло: год, проведенный моими родителями в деревне, несомненно, спас меня. Здесь, в старинном русском поместье, в обстановке довольства и покоя, дыша свежим воздухом и хорошо питаюсь, моя мать выносила и родила меня, снабдив на дорогу в жизнь тем, что впоследствии оказалось столь полезным, — крепким здоровьем и физической выносливостью.

В ноябре 1887 года отец окончил академию со званием «лекаря с отличием» и весной следующего 1888 года был отправлен в Сибирь отслуживать свою стипендию. Так началась его карьера военного врача. В течение последующих семнадцати лет, живя главным образом в Омске, он медленно продвигался по ступеням военно-бюрократической лестницы: младший врач 8-го западно-сибирского батальона, врач для командировок, заведующий лазаретом в Каинске, заведующий лазаретом в Тюмени, младший врач Сибирского кадетского корпуса, ординатор Омского военного госпиталя... В 1905 году отец был переведен в Москву в качестве младшего врача кадетского корпуса. Позднее он стал младшим врачом в Алексеевском военном училище. Здесь к 1913 году он закончил 25-летний срок своей службы и собирался выйти в отставку, для того чтобы целиком отдаться науке, но ударила первая мировая война, пришла революция, разразилась гражданская война и интервенция. Все планы и расчеты моего отца были опрокинуты. В течение шести с лишним лет он пробыл на фронте — сначала в старой армии, потом в Красной Армии. С Красной Армией он проделал все походы и демобилизовался только в 1921 году.

Как мало располагала такая жизнь к научной работе! Да и когда было заниматься наукой? За весь этот, почти 35-летний период было только два года, когда мой отец имел возможность хоть на время оторваться от повседневной сутолоки служебной жизни: в 1893—1895 годах он был командирован в Петербург «для усовершенствования в науках». Но это являлось исключением. Прибавьте сюда наличие большой семьи, в пять человек детей, требовавшей постоянной заботы о «хлебе насущном». Прибавьте служебные обязанности, поглощавшие массу вре-

мени и энергии. Прибавьте жизнь в маленьких захолустьях, так легко засасывавших людей в болото обывательщины и пьяного картежа. Еще раз: когда же тут было заниматься наукой?

И тем не менее отец занимался, очень серьезно занимался наукой. Объекты изучения менялись — наука оставалась. Он тратил на нее все свое свободное время — рано утром до службы, поздно вечером после службы, в дни праздников, во время отпусков, даже во время болезни. Наука была его страстью, его «тайной» любовью. Говорю «тайной», потому что в те времена не вполне удобно было показывать, что ты уж слишком увлекаешься знанием: как раз заподозрят в «неблагонадежности» со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как ухитрялся отец заниматься наукой при любых условиях, прекрасно иллюстрирует следующий случай.

В конце прошлого века в Европе и в России пользовались большой популярностью идеи известного итальянского криминолога Ломброзо. Ломброзо изучал преступность и пришел к выводу, что причина ее коренится не в социально-экономических условиях, а в... физиологии. На основании целого ряда «фактов» и «измерений» Ломброзо доказывал, что преступниками не делаются, что ими рождаются. Есть будто бы «преступные типы», которые выходят таковыми уже из чрева матери. Их внешней особенностью будто бы являются «преступные черепа», по своей форме и размерам отличающиеся от «нормальных черепов». Последователи Ломброзо утверждали, будто бы у таких прирожденных преступников имеются даже особые «шишки» на голове: по ним будто бы можно безошибочно определить, что из данного субъекта обязательно выйдет вор или убийца. В какие условия его ни ставь, как его ни воспитывай, — все бесполезно. Так уж ему на роду написано быть преступником.

Конечно, теория Ломброзо была с восторгом подхвачена всеми реакционными силами той эпохи. Ее признавали верхом научной премудрости. Ее превозносили в книгах, журналах и газетах. Мой отец, всегда следивший за развитием европейской научной мысли, тоже заинтересовался идеями Ломброзо. Однако, следуя своему принципу ничего не принимать на слово, он решил сам проверить модного итальянского криминолога. Летом 1896 года отец был командирован сопровождать арестантскую баржу, на

которой из года в год между Тюменью и Томском перевозились осужденные, следовавшие из Европейской России в Сибирь. На барже полагалось быть офицеру с конвойной командой и врачу для оказания медицинской помощи в пути. В течение целого лета баржа ходила из Тюмени в Томск и обратно и за сезон успевала перевезти не меньше тысячи арестантов. Это был прекрасный случай подвергнуть теорию Ломброзо испытанию на фактах. Отец так и сделал. С помощью специальных инструментов, заказанных им в омской слесарне-столярной мастерской, он произвел измерения почти тысячи «черепов» перевезенных за лето баржей преступников. Это была очень утомительная и сложная работа. Конвойный офицер, который все время подсмеивался над отцом, часто заходил в его каюту и начинал издеваться:

— Ну что, Михаил Иванович, нашли ваши «шишки»? А? Ну как? Вкусные? Чем пахнут?..

И потом, повернувшись в полуоборот и лихо покручивая ус, говорил:

— Пошли бы лучше ко мне в салон... Выпили бы по чарочке. Степка-мерзавец (так он величал своего денщика) раздобыл где-то изумительную стерлядку... И-и-изумительную! Так и тает во рту. А потом и по маленькой... А? Бросьте вы этих ваших убивцев.

Но отец не бросал «убивцев» и упорно продолжал свои изыскания. К концу лета он подвел итог, и вывод, к которому он пришел, был убийствен для модного криминолога. Теория Ломброзо не подтвердилась на фактах его исследования. Она явно была взята с потолка. Отец подготовил соответствующий доклад и по возвращении домой прочел его на собрании омских врачей. Вышел громкий скандал. Большинство его коллег было шокировано, а старший военно-медицинский инспектор, сам являвшийся горячим поклонником Ломброзо, пришел в такой раж, что с ним чуть не случился «кондрашка». Этот инспектор пустил по городу слух, что мой отец «крамольник» и что он «позорит честь военного мундира». Мало того. Инспектор решил сжить моего отца со света: как из рога изобилия, посыпались разного рода кляузы, придирки, выговоры, назначения в трудные и невыгодные командировки. Одно время стал даже вопрос об отставке. Отец хорошо почувствовал, что значит честно заниматься научной работой в условиях царской России. К счастью, через некото-

рое время апоплексического медицинского инспектора перевели куда-то в другое место, и преследования, которым подвергался мой отец, мало-помалу прекратились.

Только уже в наши, советские, времена мой отец получил, наконец, возможность полностью и целиком отдаться научной работе. С момента демобилизации и вплоть до самой смерти, последовавшей в июне 1938 года, то есть в течение семнадцати лет, кочуя из одного места в другое, он непрерывно работал в различных институтах и лабораториях. И как работал!

«Встаю в 5 час. утра,— писал он мне весной 1932 года с Урала, — до 9 работаю над своими собственными изысканиями, с 9 до 6 вech. занят текущими делами в лаборатории, потом обедаю, ложусь отдыхать часика на два, а затем снова за свои изыскания часов до 11—12. Ложусь спать около 12. В выходные тоже занимаюсь научной работой... Такой образ жизни меня несколько не тяготит, и я не ощущаю особой усталости. Каждое новое обогащение моего научного багажа полностью покрывает все трудности и невзгоды, встречавшиеся на пути моей черновой, кропотливой работы. Сфера изысканий все больше расширяется, являются новые задачи, которые, как постоянно удаляющийся маяк, тянут меня все вперед и вперед».

В другом письме, относящемся примерно к тому же периоду, отец сообщал, что находится на отдыхе в Вир-ске, и при этом прибавлял:

«Я заканчиваю здесь пересмотр всего имеющегося в больнице архивного материала и нахожу немало клинических данных, подкрепляющих мои выводы».

Еще в одном письме отец с удовлетворением отмечал, что его работа по вопросу о наследственной малярии напечатана в известном медицинском журнале, и тут же бросал маленькое, но многозначительное замечание:

«Работа сравнительно небольшая, но мне пришлось затратить на нее два года упорного труда».

Узнаю отца. Он, конечно, работал по первоисточникам, как когда-то на арестантской барже.

Если учесть, что так жил и работал глубокий старик за семьдесят лет, то можно только подивиться его здоровью, его энергии, его неугасимому научному энтузиазму.

Да, основное в моем отце было служение науке. Но он не был совершенно чужд общественности. Правда, он никогда не был политиком. Его всегда несколько пугала эта

сфера. Он чувствовал себя в ней не по себе. Однако, не признавая какой-либо одной строго определенной политической программы, он с ранней молодости шел в рядах передового общественного движения. В студенческие годы отец примыкал к народническому течению, хотя никогда не был народником-активистом. Моя мать мне не раз с улыбкой рассказывала, как отец в период ухаживания за ней, приходя в гости, часами монотонным голосом читал ей произведения Лаврова или Михайловского. Матери было смертельно скучно, но отец считал, что это самый «интеллигентный» способ выражать любовь. Вожди народников не помешали им все-таки пожениться и создать дружную, хорошую семью. Позднее, в Петербурге и в Сибири, народнические увлечения отца выветрились, но он навсегда остался искренним демократом, противником царизма, свободомыслящим научным рационалистом. Религии отец не признавал, и в нашем доме никогда не было ни икон, ни лампадок, ни просфор. Вся наша семья была воспитана в атмосфере атеизма, хотя, конечно, официально все мы числились православными (вневероисповедного состояния в то время в России не существовало) и, как таковые, должны были выполнять некоторые религиозные формальности. Правда, ни отец, ни мать никогда не ходили в церковь, на страстной неделе не говели и не причащались, однако мне, гимназисту, приходилось в классе изучать «закон божий», ходить по субботам ко всенощной, а по воскресеньям к обедне и перед пасхой непременно исповедываться. Всякое уклонение от этого ритуала имело последствием репрессивные меры со стороны гимназического начальства — снижение балла за поведение, замечания, выговоры, наконец, в известных случаях даже исключение из учебного заведения. Поэтому волею-неволей мне приходилось подчиняться существовавшему в то время режиму.

Личное поведение отца было безупречно, быть может, даже слишком ригористично и сурово. Он был бескорыстно честен, никогда не гнался за частной практикой, за деньгами. Не интриговал против коллег, не подхалимствовал, не занимался кляузными и доносами. Не пил, не играл в карты, не танцевал, не ухаживал за женщинами. Курить, как я уже упоминал, он бросил в ранней молодости. Редко ходил в театр, даже когда к тому имелась возможность, ссылаясь на недостаток времени. Зато играл

на скрипке, и в первые годы жизни в Сибири сильно этим увлекался. По его настоянию, и я в детстве стал учиться игре на том же инструменте, но душа у меня не лежала к этому занятию и по окончании гимназии я забросил свою музыку. Спокойный, уравновешенный, молчаливый, всегда поглощенный какими-то своими, ему одному понятными, мыслями, отец ненавидел пустозвонство и признавал только дела. Сколько раз в детстве я слышал брошаемое им по чьему-либо адресу восклицание:

— Фразер!

Это был предел презрения, негодования. Отец произносил свой приговор таким уничтожающим тоном, точно рубил человеку голову.

Конечно, военный врач подобного склада не мог быть «на хорошем счету» у тогдашнего начальства. И мой отец действительно не был «на хорошем счету». Он приходился совсем не ко двору в этой маленькой пьяной сибирской провинции, в этом огромном военно-бюрократическом аппарате царской России. Его постоянно обходили, забывали, оттесняли, подсиживали, вообще «задвигали», как только могли. Не случайность, что до самого конца своей 25-летней службы отец так-таки и не поднялся выше «младшего врача» и «коллежского советника», несмотря на полученное им звание доктора медицины. Да и надо ли было этому удивляться? Царский режим чувствовал, что он имеет дело с врагом, и платил ему той монетой, какой платят врагам.

Иногда отношения между отцом и начальством обострялись, доходили до открытых конфликтов. В бумагах отца я нашел любопытную переписку между ним и директором Московского кадетского корпуса, относящуюся к концу 1905 года. Отец, бывший в то время младшим врачом этого корпуса, заведывал заразным лазаретом последнего и очень гуманно и по-человечески относился к попадавшим туда больным. Главное же, он не мешал кадетам разговаривать на политические темы и выражать симпатии к революционному движению. Директор корпуса генерал Лобачевский был глубоко возмущен поведением «младшего врача» и 6 декабря 1905 года адресовал ему грозную бумагу, в которой с негодованием заявлял, что «нельзя же допускать, чтобы кадеты пели марсельезу», и требовал от отца принятия мер к прекращению подобных «безобразий». На следующий день отец ответил генералу



рапортом, в котором заявлял, что его обязанности как врача состоят в том, чтобы лечить больных кадетов, но не заниматься их политическим воспитанием. Директор корпуса пришел в совершенную ярость и 16 декабря адресовал отцу второе предписание, в котором вновь требовал от него «установления порядка» в заразном лазарете, а в заключение писал:

«Вместе с тем, будучи совершенно не согласен с вашими взглядами на службу врана в кадетском корпусе, я препровождаю мое предписание от 6 декабря и ваш рапорт от 7 декабря окружному военно-медицинскому инспектору».

Последствием этого конфликта было то, что отцу пришлось уйти из кадетского корпуса.

Нутряная, органическая прогрессивность отца, пожалуй, ни в чем не сказалась так ярко, как в его отношении к Октябрьской революции. Отцу было уже под шестьдесят, когда власть Советов утвердилась в нашей стране. Возраст, традиции, нажитые привычки — все, казалось, должно было настраивать его подозрительно и даже враждебно к новому, не имевшему прецедента в истории строю. На самом деле вышло, однако, иначе. Правда, в самом начале — в конце 1917 и в первые месяцы 1918 года — все происходящее вызывало у отца вопросы и недоумения. Он не понимал толком, что происходит, кто такие большевики, чего они хотят, какие ставят себе задачи. Однако в вопросах и недоумениях отца не было никакой злобности, никакой враждебности. Совсем напротив. Он только остался верен самому себе: он встретил новое, не знакомое ему явление и, следуя своей всегдашней научной манере, хотел изучить и исследовать это явление, прежде чем делать окончательные выводы. Очень скоро отец почувствовал симпатию к большевикам, хотя и не всегда соглашался с ними на все «сто процентов». В основном, однако, он одобрял их генеральную линию. Особенно нравилось отцу, что большевики начисто ликвидировали те гнусные, реакционные, насквозь прогнившие силы старого режима, от которых самому отцу так много приходилось страдать на протяжении всей своей жизни. Вполне естественно, что с началом гражданской войны отец охотно пошел в качестве врача в Красную Армию и что в дальнейшем он все глубже и прочнее встал в нашу новую, советскую, жизнь. Правда, в партию он до конца своих дней

не вступил, да и трудно было этого ожидать от такого старика, но в последние годы перед смертью он, несомненно, стал тем, что мы теперь называем «беспартийным большевиком». Помню, как-то в начале 1935 года он прислал мне письмо, которое меня сильно тронуло.

«Я аккуратнейшим образом слежу, — сообщал мне отец в этом письме, — за поступательным движением вперед нашего СССР как внутри страны, так и за рубежом. В первую очередь я восхищаюсь нашими успехами по обследовательско-изыскательной линии во всех решительно областях (растениеводство, животноводство, медицина, изучение Арктики, геология и т. д.). Удельный вес СССР на международной арене понятен: громадный прогресс в промышленности и во всех сферах человеческой деятельности, прекрасная по духу, хорошо оснащенная армия (не сравнить с старой царской армией), почти полная экономическая независимость от капиталистических стран (у нас самих все есть). И при всем том страна прогрессирует с невиданной в истории быстротой».

Таков был путь, проделанный моим отцом после Октября.

Смерть отца была внезапна и в стиле всей его жизни.

В это время он работал в качестве заведующего лабораторией в одном из подмосковных городов. Несмотря на свои семьдесят восемь лет, он чувствовал себя хорошо и, по обычаю, занимался всякого рода научными работами и изысканиями. Незадолго до смерти отец начал новое, очень интересовавшее его исследование — о влиянии серебра на бактерии. Принимал он также участие и в местной общественной жизни. В самый день смерти отец, как всегда, отправился в семь часов утра в лабораторию, при которой жил. В десять утра он, как всегда, вернулся домой позавтракать. Выпив чаю и закусив, отец поднялся и хотел вновь отправиться на работу, но вдруг побледнел и тяжело опустился на стул. Один глаз его слегка дернулся. Отец сделал попытку еще раз встать и пойти, но внезапно зашатался и упал на пол без сознания. Вызвали врачей. Из Москвы спешно приехал мой брат, также врач. Были испробованы все известные науке средства для приведения отца в сознание, но безуспешно. До двенадцати часов ночи пульс был сравнительно хорош, но потом он стал быстро падать. К часу ночи отца не стало...

Через три дня состоялись его похороны. Я был как раз

в это время в отпуску под Москвой и поехал отдать последний долг моему дорогому старику. Приехали также все наши родственники. Провожали отца в последний путь торжественно и сердечно. Коллектив лаборатории, где работал отец, в самом подлинном смысле слова, оплакивал его. Местный райздрав и райком Медсантруд приняли расходы по похоронам на свой счет и придали им широкий общественный характер. Была гражданская панихида, на которой ряд ораторов рассказал об отце много хорошего как о враче, ученом и общественнике. Его ставили в пример, как яркий образец «беспартийного большевика». Сказал и я несколько слов. Были венки. Были слезы. Были трогательные прощания. Самое ценное во всем было то, что чувствовалась искренность.

Потом длинная процессия проводила гроб до могилы. День был летний, жаркий. Под ногами хрустел густой песок. В воздухе плавали облака пыли. Провинциальный оркестр не совсем стройно исполнял похоронный марш Шопена. Я шел за гробом и думал:

«Вот кончилась длинная и интересная жизнь, вся посвященная науке и через науку — народу и человечеству. Труд, неутомимый, постоянный, дисциплинированный труд, превратившийся во вторую натуру и даже в наслаждение, был ее основным стержнем. Сама смерть склонилась пред этим всепобеждающим началом и пришла к отцу на поле труда, без единого дня инвалидности или безработицы. Он стильно и гармонично закончил свою жизнь».

### 3. *МОЯ МАТЬ*

Совсем другим человеком была моя мать. Во многих отношениях она представляла полную противоположность отцу. Начать хотя бы с внешности. Отец был высокий, сильный, широкоплечий мужчина, с известной склонностью к полноте в более поздние годы. На голове у него почти не было волос: он облысел уже в тридцать пять лет. Наоборот, моя мать была женщина маленького роста, деликатного сложения, с шапкой густых, слегка вьющихся каштановых волос, из-под которых задорно смотрели живые зеленоватого цвета глаза.

Не меньшая разница была в характере. Отец был спокойный, малоподвижный, молчаливый человек — типичный

флегматик. Мать, напротив, являла тип чистого холерика — была жива, непоседлива, вспыльчива, разговорчива. Мать любила петь, и пела в молодости недурно. Любила танцевать, веселиться, принимать гостей и ходить в гости. В матери было что-то особенное, свое, какой-то «шарм», который привлекал к ней людей и легко превращал ее в центр внимания. Она всегда бывала «заводиловкой», «душой общества». В доме она была настоящей «хозяйкой» и распоряжалась всем по своему усмотрению. Я не могу сказать, чтобы отец был «под башмаком» у матери (ибо в вопросах, которые отец считал серьезными, он всегда поступал по-своему), однако в делах семейных он молчаливо признавал «гегемонию» матери и почти никогда в них не вмешивался. И мать широко пользовалась этой привилегией. С годами авторитарная черточка в характере матери усиливалась и порой переходила, в особенности в отношении детей, в своего рода «родительский деспотизм». На этой почве одно время (когда мне было четырнадцать — шестнадцать лет) происходили довольно частые стычки между мной и матерью. Однако, когда мать убедилась, что ей не переломить моего «упрямства», она перешла в отступление, и в дальнейшем наши отношения навсегда сохранили характер взаимного уважения и сердечности.

В противоположность отцу, как будто бы рожденному для серьезной научной работы, мать мол была крайне неусидчива, непоследовательна, неуравновешенна. Она не могла долго заниматься чем-либо одним. Ее мысль постоянно прыгала с предмета на предмет, с вопроса на вопрос, подчас в самых неожиданных сочетаниях. Особенно это проявлялось в ее письмах, и мы, дети, нередко добродушно подсмеивались над ней, цитируя какие-либо совершенно фантастические пассажи из этих писем. Мать не любила никакой теории, никакой абстракции. Она всегда была сугубо конкретна и практична. Но в жизни ей не повезло, и эти качества ее не нашли того применения, которого заслуживали. С детства мечтой матери была медицина, и я не сомневаюсь, что если бы ей удалось получить соответствующее образование, из нее вышел бы прекрасный врач, с крупным именем и большой практикой. Мать вообще была человек очень способный, умевший на лету ловить всякую мысль, а к лечению людей у нее была какая-то стихийная тяга, почти страсть. Обстоятельства, однако,



*Моя мать.*

сложилось неблагоприятно. Отец матери был мелкий чиновник, денег в семье никогда не было. Матери с трудом удалось кончить гимназию, но на высшее учебное заведение средств уже не нашлось. Тем не менее любовь к медицине — не к теоретической, как у отца, а к практической, прикладной медицине — у матери осталась до конца жизни. Она читала книги, приглядывалась к работе мужа. В конечном счете, из нее вышел прекрасный лекарь-самоучка, и я очень хорошо помню, что не отец, а мать лечила всех нас, детей, когда с нами что-нибудь не ладилось. И лечила прекрасно. Отец привлекался лишь в более серьезных случаях и притом не иначе, как в роли консультанта. Обычно он просто санкционировал то, что делала мать.

В молодости мать тоже пережила полосу народнических увлечений, однако, будучи человеком гораздо более активным, чем отец, она сделала из этих увлечений практические выводы: пошла «в народ» и стала сельской учительницей в одной из украинских деревень. Именно в этот период завязался роман между моими родителями, но с переездом в Петербург порвалась связь моей матери «с землей». Однако она навсегда сохранила интерес и любовь к педагогической работе, и это оказалось далеко не бесполезным; дальнейшем: мать сама учила всех нас, своих детей, чтению и письму, готовила к поступлению в школу и репетировала, когда это оказывалось необходимым, на протяжении гимназического курса.

С выходом замуж, с появлением семьи общественные увлечения моей матери стали бледнеть еще быстрее, чем у моего отца. С ней произошла метаморфоза, которая являлась столь характерной для тысяч и тысяч интеллигентных женщин дореволюционной эпохи: шаг за шагом, из года в год она все больше отставала от вопросов политики, общественности и все больше замыкалась в узких рамках своей семьи. Постепенно семья превратилась в центр ее мира, в средоточие всех ее интересов, почти в предмет ее культа. Если основным стержнем отца было служение науке, то основным стержнем матери было служение семье. Ее лозунгом было: «все для семьи», и она действительно готова была на любые неудобства, на любые жертвы, на любые страдания, даже на смерть ради семьи. Она не жалела тут ни времени, ни сил, ни энергии. Она всех нас, своих детей (а нас было пять человек), сама выкормила, выходила, выпестовала. Она с гордостью и глубоким

удовлетворением вспоминала моменты, когда кому-либо из нас грозила серьезная опасность, и она своим усердием, своей настойчивостью, своим материнским героизмом отводила ее от нас. Особенно любила она рассказывать, как я в возрасте трех-четырёх лет сильно заболел золотухой. По всему моему телу пошли нарывы и экзема. Температура то и дело подымалась. Я сильно капризничал и от боли и от бесконечных втираний и перевязок, которые делала мать. Есть я ничего не хотел, а хорошее питание было одним из важнейших условий выздоровления.

— И вот, — вспоминала мать, — я стала придумывать, чем бы тебя накормить. Делала маленькие котлетки из скобленного мяса. Ты брал их в рот и сейчас же выплевывал. Тогда я решила пойти на хитрость: давать тебе котлетки вместе с вареньем. Вначале все как будто бы шло хорошо. Ты брал в рот котлетку и варенье, жевал и проглатывал. Я была счастлива. И вдруг... О, ужас!.. Когда все бывало кончено, ты вдруг начинал вытаскивать мясо-из-за щеки... Варенье съедал, а котлетку клал за щеку... Я прямо готова была плакать от отчаянья.

Вообще физическому воспитанию детей мать отводила очень большое место, и всю нашу детскую жизнь она старалась строить по последнему слову гигиены. В последующей жизни я не раз с благодарностью вспоминал эти ее заботы.

Говорят, крайности сходятся. Наша семья могла служить тому прекрасной иллюстрацией. Несмотря на столь резкие противоположности в натуре и характере моих родителей, они как-то с течением лет сумели приспособиться, приладиться, притереться друг к другу и в конечном счете создали крепкий и здоровый семейный союз. Это не значит, конечно, что между отцом и матерью никогда не было ссор и стычек. Ого! Сколько раз мальчиком я наблюдал картинку вроде следующей.

Ужин (почему-то семейные конфликты чаще всего начинались за столом). Все мы, дети, сидим на своих местах и уплетаем за обе щеки еду. Мать у самовара разливает чай и перебрасывается замечаниями с каждым из нас. Отец на другом конце стола молча глотает кусок за куском (у него всегда был хороший аппетит) и о чем-то думает. Вдруг мать начинает:

— Знаешь, Мишка, надо бы сходить в гости к Куприя-

довым... Мы давно у них не были. Вчера я встретила в магазине у Шаниной Марью Петровну, — она на меня и смотреть не хочет. Видно, что обижена.

Куприянов — старший врач госпиталя, в котором отец работает в качестве ординатора, и поддерживать с ним нормальные отношения в порядке вещей. Другие врачи госпиталя перед Куприяновым просто заискивают, как перед начальством. Отец весьма далек от подхалимства, но ему жаль тратить время даже на соблюдение минимума приличий. Поэтому он пробует отделаться от матери, неопределенным междометием:

— М-х-х...

Но мать не понимает.

— Что «м-х-х»?.. Надо пойти! Неловко. Зачем ссориться с людьми?.. Пойдем в четверг вечером!

Отец, пережевывая котлету, упорно смотрит себе в тарелку и кратко бросает:

— Ну что ж, пожди.

— Как «пойди»?—начинает горячиться мать, сразу понимая, к чему клонит отец. — А ты?.. Я не пойду одна! Пойдем вместе.

Отец делает еще одну попытку отвертеться.

— В четверг я не могу, — заявляет он, — у меня поставлен опыт, и в четверг вечером я как раз должен получить вакцину.

Мать сразу вспыливает. Кровь бросается ей в лицо, и со всей страстностью своего вспыльчивого темперамента она набрасывается на отца:

— Вот ты всегда так!.. Я тебе жизнь отдала! Я пожертвовала лучшими годами молодости! Я света не вижу, из сил выбиваюсь, ночей недосыпаю, всех обшиваю, обмываю... И вот благодарность! Для него вакцина важнее жены!

Бешеная атака продолжается довольно долго. Мать напоминает отцу все его грехи: и как он в воскресенье не поехал с семьей в Загородную Рощу, а ушел в лабораторию, и как он третьего дня не забыл купить морских свинок для своих опытов, но забыл привезти торт, заказанный в кондитерской по случаю моего рождения, и как вчера вечером он сидел до двух часов ночи за микроскопом, не давая спать матери, и многое другое в том же роде.

Отец выдерживает эту атаку с невозмутимым спокойствием, продолжая поглощать одну котлету за другой.



Температура материнского гнева все больше повышается. Ее выводит из себя ледяное молчание отца. Наконец она не выдерживает: слезы брызжут у нее из глаз, она вскакивает из-за стола и с криком: «Нет, я не могу, не могу!» убегает в спальню. Отец кончает ужин, встает из-за стола и идет к своему микроскопу...

На другой день все забыто, и жизнь вновь возвращается в свою нормальную колею.

В основе всех подобных ссор и конфликтов лежала внутренняя обида моей матери на то, что отец науку предпочитает семье, что он не уделяет должного внимания ни жене, ни детям. И в этом она, несомненно, была права. Но так как в дело не была замешана женщина, так как ревность отсутствовала, так как мать в глубине души знавала, что служение науке все-таки прекрасная вещь, то обида не была очень глубока и не вносила серьезного разлада в семейную жизнь. Стычки легко изживались и забывались. Других же причин для внутренних трений не было. «Увлечений» на стороне ни у отца, ни у матери не было. В карты отец не играл и денег не проигрывал. К вину не притрагивался и ночей за кутежами не проводил. В семье всегда была здоровая, ясная, трудовая атмосфера. Отец занимался службой и наукой. Мать хозяйничала варила варенье, шинковала капусту, солила огурцы и внимательно изучала знаменитую в то время толстую поваренную книгу Е. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам». Будучи от природы очень сметливой, она ухитрялась на сравнительно скромное отцовское жалованье (100—150 рублей в месяц) содержать семью в семь человек и даже находить средства на дальние летние поездки — на Урал, в Москву и т. д. В нашей жизни не было ни малейшего намека на роскошь, но не было также и бедности. Ели мы просто, но здорово и сытно. До сих пор ши и котлеты я предпочитаю самым искусным ухищрениям кулинарного гения Европы. Одевались скромно, но тепло и удобно. Сидели на грубоватых стульях и табуретка», но воздуха в комнатах имели достаточно.

Я уже упоминал, что нас было пять человек детей — три мальчика и две девочки. По возрасту получалась настоящая лесенка: промежуток между смежными ступеньками—два года. Я был самый старший, и между мной и самым младшим братом, Михаилом, разница была в восемь лет. Дом наш всегда был полон детской возни, детских

проказ, детских смеха и слез. Жили мы дружно, и родители всех нас держали очень «ровно» — не было ни любимчиков, ни пасынков. Однако разница в годах сильно сказывалась. Когда я кончил гимназию, Михаил только поступил в подготовительный класс, а младшая сестра, Валентина, еще была первоклассницей. Другой мой брат, Анатолий, от природы одаренный талантом художника, но впоследствии ставший врачом, был несколько ближе мне по годам, и с ним в детстве я больше играл и вообще больше общался. Однако наиболее тесные отношения существовали между мной и старшей сестрой, Юлией, которая была всего лишь на два года моложе меня. Девочка она была болезненная, но с глубокой душой и мягким, благородным характером. Практической сметки, умения отбивать удары, которых всегда так много посылает действительность, в ней было очень мало. Эти качества наложили свой отпечаток на дальнейшую жизнь Юленьки (как мы звали ее в семье). Тогда, в детские годы, я был дружен с Юленькой и позднее, ближе к окончанию гимназии, много с ней читал, разговаривал, делился мыслями и чувствами. Должен, однако, прямо сказать: мои братья и сестры не играли и не сыграли в моей жизни особенно крупной роли. В детстве тому мешала слишком большая разница в годах. Потом же, когда, с окончанием гимназии, я «вышел в жизнь», мне просто редко приходилось с ними сталкиваться и встречаться: условия тогдашней революционной работы очень быстро сделали меня «отрезанным ломтем» для семьи.

Когда сейчас мысленно я восстанавливаю перед своим духовным взором образ моих родителей, мне больше чем когда-либо бросается в глаза, что по своему происхождению, воспитанию, умственному складу, общественно-политическим настроениям они являлись типичными представителями той своеобразной социальной категории, которая известна в нашей истории под именем разночинной интеллигенции и которой суждено было сыграть такую видную роль во второй половине прошлого века. Недаром мои родители с ранних лет привили мне любовь к таким писателям, как Некрасов, Салтыков-Щедрин, Добролюбов, Писарев. Недаром в нашей столовой на этажерке в красивых переплетах стояли полные собрания сочинений Гейне, Шиллера, Байрона, Шекспира. Недаром мой отец дарил мне в детстве такие книжки, как биография



*Руины «Иртышских ворот» в крепости.*

Галилея, история Джордано Бруно, жизнеописание Стефенсона и Фультона. Недаром, будучи от природы молчаливым человеком, он охотно и подолгу со мной беседовал, рассказывая о Пастере, Вирхове, Гельмгольце, знакомя меня с начатками биологии, медицины, физики. Недаром, наконец, мой отец так часто брал меня с собой в поездки по Сибири, когда его отправляли в какие-нибудь дальние командировки. Он всегда говорил, что ничто так не развивает ребенка, как путешествия, как знакомство с новыми местами, новыми людьми, новыми народами и обычаями.

Да, несомненно, семья оказала на меня очень сильное и благотворное влияние. Она дала мне физическое и духовное здоровье, уберегла от предрассудков, вина и табаку, воспитала усидчивость и трудоспособность, разбудила интерес к научной и общественной мысли. Но, пожалуй, самое важное и ценное, что дала мне семья,—это яркий пример того, как вся жизнь человека может быть посвящена служению не своей выгоде, не своей семье, не своему маленькому личному благополучию, а большой и великолепной идее. Образ моего отца оказал сильнейшее влияние на формирование моего духовного «я». И если в дальнейшем я тоже сумел найти свою большую и великолепную идею, которой посвятил всю свою жизнь, то в этом далеко не в последней степени я обязан вдохновляющему примеру моего отца.

#### 4. НАШ ГОРОД

Если семья есть первый «круг» детской вселенной, то вторым «кругом», несомненно, является место его жительства. Большая часть моих ранних лет прошла в Омске, и потому, охарактеризовав мою семью, я должен хотя бы в самых общих чертах набросать картину Омска, каким он был в дни моего детства.

Полвека тому назад Омск был жутким и страшным местом. Это была «богом и людьми» забытая, глухая провинция, о которой говорили: «Три года скачи — не доскачешь».

Действительно, до проведения сибирской железной дороги путешествие из Москвы в Омск занимало около трех недель. И даже позднее, когда с середины 90-х годов железная дорога, наконец, прошла через Омск, то же путешествие требовало все-таки не меньше недели.

Омск имел свою историю. В 1716 году, при Петре Первом, на правом крутом берегу Иртыша, при впадении реки Оми, была выстроена небольшая крепость, окруженная деревянными стенами и рвами с водой. Сначала крепость располагалась на левом берегу Оми, а позднее, в 1765 году, по соображениям «стратегического порядка», она была перенесена на ее левый берег. Около крепости постепенно вырос «форштадт» с населением из «пехотных казаков», мало-помалу превратившийся в небольшой город. Маленькие деревянные домики в беспорядке расползлись по обеим сторонам Оми. Обитатели их занимались хлебопашеством и ремеслами. Историки утверждали, что в течение всего XVIII века Омская крепость играла крупную роль в деле продвижения русского влияния в глубь западносибирских степей, и нет оснований им в этом не верить. Те же историки рассказывали о жестоких нравах, господствовавших здесь «во времена оны». Так, например, в середине XVIII века пост командира «сибирского корпуса», имевшего свою ставку в Омске, занимал некий немец Фрауендорф. Это был человек диких страстей и палочной философии. Больше всего Фрауендорф любил наводить террор на «вверенное» ему население. Он часто появлялся на улицах Омска: в сопровождении военных слуг с плетями в руках. Если кто-нибудь из встречных обывателей почему-либо не нравился Фрауендорфу, он останавливался и бешено кричал: «Бей до смерти!» Свита командира немедленно набрасывалась на несчастного, и начиналась беспощадная экзекуция. Случалось, что за одну прогулку Фрауендорф обрушивал подобные истязания на десятки людей. В том же стиле были и тогдашние педагоги — попы и дьячки, обучавшие детей грамоте. Об одном из них — протопопе Петре Федорове — сохранилось даже письменное свидетельство, что учеников своих он «держал строго и всех переувечил бесчеловечно».

В дни моего детства о воинственном прошлом Омска напоминали лишь немногие руины. Стены форта давно осыпались, валы заросли травой и кустарником, во рвах не было ни капли воды. Кое-где торчали полузасыпанные землей старые, ржавые пушки, да в одном месте сохранились тяжелые, каменные, выкрашенные в желтую краску ворота, на которых можно было прочесть сделанную крупными буквами надпись: «1792 год». Но в мое время назначение крепости было иное: она теперь была переполнена казармами и различными военными учреждениями.

В ее старинных, узких улицах жили также офицеры старших рангов. Поэтому слово «крепость» произносилось в городе с известным почтением, и если кто-нибудь говорил, что он «живет в крепости», то на него смотрели как на существо высшего порядка.

Для нас, мальчишек, «крепость» имела особую притягательную силу. Ее рвы и валы, расположенные как раз напротив здания мужской гимназии, являлись любимым местом наших игр, проказ и боев. Сюда мы мчались в часы большой перемены для того, чтобы размять затекшие от сидения члены в стремительной беготне и кулачных упражнениях. Сюда мы собирались в свободное от занятий время, особенно весной, для того, чтобы разыграть партию в «купцов и разбойников». Сюда же со всего города стекалось «молодое поколение», когда между гимназистами и кадетами (в Омске был кадетский корпус) происходили традиционные кулачные бои. В сущности, не было никаких оснований для этих боев. Но так уж повелось с незапамятных времен, что кадеты и гимназисты представляли собой два враждебных лагеря. Кадеты дразнили гимназистов: «ослиная голова». Так они расшифровывали буквы «О. Г.» (Омская гимназия), вырезанные на медных бляхах наших поясов. В свою очередь, гимназисты дразнили кадетов: «кадет на палочку надет». Обе стороны от такого обмена любезностями обычно приходили в раж, лезли в драку и разбивали друг другу физиономии. От времени до времени дело доходило до «массовых», больших столкновений между гимназистами и кадетами, с сотнями участвующих и десятками пострадавших. Все такие бои неизменно разыгрывались на руинах старой крепости. Исход боя обычно решали так называемые «уездники», то есть ученики существовавшего в городе четырехклассного уездного училища. Они играли роль своего рода «нейтральной державы», за которой еще задолго до боя начинали ухаживать обе стороны. «Уездники», однако, всегда вели себя загадочно. Они старались «доить» и гимназистов и кадетов, оставляя как тех, так и других в неведении о своих истинных намерениях, и затем в самый последний момент, когда бой уже был в полном разгаре, неожиданно появлялись гурьбой под «крепостью», своим вмешательством сразу давая перевес той или другой стороне. Много лет спустя, работая на поприще внешней политики, я не раз с улыбкой вспоминал омских



*Лыбинский проспект—главная улица в Омске тех дней.*

«уездников»: они мне дали первый урок дипломатии. Большие бои между кадетами и гимназистами являлись крупнейшей сенсацией омской жизни, о которой весь город говорил целыми неделями. В честь их местные пииты слагали восторженные оды, в которых «дубасил» рифмовалось с «расквасил» и «бил по мордам» с «лихим чертом». Оды переписывались во множестве экземпляров, ходили по рукам и даже обсуждались, «с литературной точки зрения», в учительской нашей гимназии.

Самый город, насчитывавший в описываемое время не больше тридцати — тридцати пяти тысяч жителей, имел жалкий и унылый вид. Омск лежал в самом сердце так называемой Барабинской степи и был открыт ветрам со всех четырех концов. В нем «дуло» постоянно. Зимой город утопал в сугробах снега, летом был окутан облаками едкой желтой пыли. Климат здесь был резко континентальный: в июне — июле люди и животные изнывали от нестерпимой жары, а в декабре — январе были бураны и трещали сорокаградусные морозы.

Дома в городе были деревянные, одноэтажные, с подслеповатыми окошками, с тесовыми или соломенными крышами. Улицы — пыльные, немощеные, весной и осенью утопавшие в непролазной грязи. На базаре грязь была

столь глубока, что лошади в ней тонули по брюхо, а в лужах мальчишки плавали в корытах. Фонарей не было, и ночью в городе царствовала кромешная тьма. Не было также ни канализации, ни водопровода: отбросы по ночам вывозили так называемые «золотари», а воду по утрам развозили водовозы. Освещение было только керосиновое, причем особой популярностью пользовалась лампа «молния», стоившая три рубля. Поэтому обладание «молнией» считалось вернейшим признаком благосостояния. Два убогих деревянных моста, перекинутых через Омь, соединяли части города, расположенные по обоим ее берегам. Над этим серым, плоским, почерневше-деревянным пейзажем как-то странно и неуместно возвышался десяток белых и красных каменных зданий: дом генерал-губернатора, кадетский корпус, казармы, мужская и женская гимназии, полиция, две пожарные каланчи, собор и, конечно, тюрьма на выезде из города. Они были эмблемой власти. Но они плохо гармонировали с окружающим, они давили своей тяжестью маленькие деревянные дома. И это имело символический характер. Сразу за городом начинались деревянные крашенные бараки военных лагерей, куда войска уходили из казарм на лето, а еще дальше, в небольшой роше, находилась «санитарная станция», куда с мая месяца вывозились на поправку больные из военного госпиталя, в котором работал мой отец. Здесь выздоравливающие жили в палатках и пили кумыс, получаемый от кочующих в окрестностях Омска казахов. Позднее, во второй половине 90-х годов, в этом районе был построен вокзал и переброшен красивый шестипролетный железнодорожный мост через Иртыш. Инженеры почему-то нашли нужным провести железнодорожную линию не через самый Омск, а в четырех верстах от него. Злые языки говорили, что причиной тому была скупость «отцов» нашего города, пожалевших несколько тысяч рублей на взятку строителям дороги. Так ли это было, не знаю, но весьма вероятно, что это было именно так.

Население Омска делилось на три главные группы — военные, купцы и мещане. Военные являлись, так сказать, «первым сословием», державшим в руках власть. Генерал-губернатор, он же начальник Западносибирского военного округа, был здесь «бог и царь». Офицерство и военное чиновничество составляли «общество», которое создавало «общественное мнение» города. Все эти люди жили



«от 20-го» до «20-го»<sup>1</sup>, занимались шагистикой, писали бумаги, сплетничали, выпивали, играли в карты, сочиняли нелепые песни для «христолюбивого воинства». Помню, как одно время по улицам города бойко маршировали колонны и громко орали во всю глотку:

Орбельяни-генерал,  
И Свичинин тоже,  
А Бярятинский узнал,  
Что они похожи.

Это «глубокомысленное» произведение одного местного штабс-капитана долго волновало омскую военную среду. Впрочем, позднее, уже взрослым человеком, я имел возможность убедиться, что солдатские песни других европейских армий своим «глубокомыслием» отнюдь не уступали плодам вдохновения скромного сибирского офицера<sup>2</sup>.

Купцы, то есть лавочники всех рангов—крупные, средние и мелкие, составляли, если можно так выразиться, «второе сословие» нашего города, раболепствовавшее перед военными, но жестоко эксплуатировавшее городскую бедноту и окрестных казахов. Омская «буржуазия» тех времен являла собой страшное зрелище. Это была еще «буржуазия» периода первоначального накопления — грубая, неотесанная, безграмотная, с дикими нравами и свирепыми удовольствиями. Подвыпившие купчики били зеркала в ресторанах, лезли с сапогами в ванну из шампанского, с гиком и свистом на бешеных тройках давили людей на улицах города, а по ночам ездили в соседние деревни Захламино и Черемушкино, где устраивали оргии и избивали местных крестьян.

Наконец, мешане представляли собой своего рода «третье сословие». Это были в большинстве кустари, мастеровые, приказчики, огородники, извозчики, водовозы, ассенизаторы и т. д. — все мелкий люд, так или иначе обслуживавший потребности первых двух «сословий». Жили мешане по

<sup>1</sup> В царской России жалованье чиновникам выдавали 20-го числа каждого месяца.

<sup>2</sup> В кайзеровской Германии, например, я слышал следующую солдатскую песню:

Reserve hat Ruhe,  
Reserve hat Ruh.  
Und wenn Reserve Ruhe hat,  
Dann hat Reserve Ruh.

Это в переводе означает: «Резерв имеет отпуск, резерв имеет отпуск. И если резерв имеет отпуск, то он имеет отпуск».

окраинам города, особенно в слободе, носившей красочное название Мокрое, работали с зари до зари, получали жалкие гроши, беспросветно пьянствовали и по праздникам развлекались кулачными боями, происходившими на льду реки Оми.

Никаких серьезных интересов, высоких стремлений, запросов у местного населения не было. В центре всего стояла утроба. Не ели, а жрали. Не пили, а упивались. Вся атмосфера города была насыщена шаньгами и пельменями. На масленице устраивали ледяные горы с фонарями, катались в больших «кошевах» (санях) с цветными коврами, обжирались до заворота кишок. На пасхе христосовались так, что губы распухали. Зато в городе не было театра, и только на пасхальной неделе на базарной площади появлялось несколько балаганов с вечно пьяными, осипшими от простуды артистами. Еще существовал любительско-драматический кружок, в котором подвизались главным образом местные «львицы» из офицерских жен. Изредка этот кружок ставил модные пьесы в омском «общественном собрании». Впрочем, такие случаи бывали не часто: большую часть своего времени кружок тратил на внутренние склоки и интриги.

На фоне этого «темного царства», этого сонного, заросшего тиной провинциального болота сиротливо и неприятно выделялась крохотная группка местной «интеллигенции». Несколько присяжных поверенных и вольнопрактикующих врачей, два-три учителя, два-три журналиста, аптекарь, фотограф, с полдюжины чиновников переселенческого управления — вот примерно и все, что могло быть отнесено к этой, столь чуждой окружающей среде социальной категории. Имелись, впрочем, еще два-три каких-то случайных персонажа без определенных занятий и точно фиксированных источников дохода. Одного из них я помню очень хорошо. Это был некто Симонов, мужчина средних лет, в очках, со стриженными волосами, одетый в высокие сапоги и серую блузу навыпуск, с кожаным поясом. Симонов был недоучившийся студент, исключенный из университета в связи с какими-то беспорядками. Он держал на Томской улице небольшую лавочку письменных принадлежностей и не столько продавал тетради и чернила, сколько занимал рассуждениями на общественно-просветительные темы своих немногих покупателей. Лавочка эта не приносила Симонову ничего, кроме убытков, но он все-таки как-то

ухитрялся крутиться и лавочки не закрывал «исключительно, — как он говорил, — из идейных соображений». Омская «интеллигенция» группировалась около местного географического общества, в котором военные топографы изредка читали доклады о своих поездках по Сибири, а также около местной газетки «Степной край», которая выходила два раза в неделю и грозно требовала от «отцов города» постройки мостовых и мер по борьбе с бродячими собаками.

Нельзя сказать, чтобы духовная жизнь омских интеллигентов была ключом. Но все-таки они старались хоть «петушком, петушком» поспевать за веком. Выписывали «Биржевку»<sup>1</sup> и по ней ориентировались в политических и международных событиях. Устраивали совместные чтения модных произведений модных авторов. Помню, как у нас в доме читали и разбирали только что вышедшую тогда «Крейцерову сонату» Л. Толстого. Дискуссии были очень горячие, но все, в конце концов, пришли к выводу, что Толстой — «барин» и «юродивый». Еще помню, что в дни дела Дрейфуса весь омский интеллигентский кружок сильно водновался и горячо симпатизировал Эмилю Золя и Лабори<sup>2</sup> и что в дни англо-бурской войны (1899—1902 годы) он распевал бурский гимн и громко поносил «коварную англичанку».

<sup>1</sup> Так в просторечии называлась петербургская газета «Биржевые ведомости» — либерально-бульварный орган, пользовавшийся в то время популярностью среди провинциальной интеллигенции.

<sup>2</sup> Альфред Дрейфус, офицер французского генерального штаба, в 1895 году был осужден военным судом за выдачу важных военных секретов Германии и пожизненно заключен на Чортовом острове во французской Гвиане. С самого начала для многих было очевидно, что процесс был подстроен реакционно-антисемитскими элементами французского генералитета. Представители радикальной и социалистической мысли во Франции, во главе с знаменитым писателем Эмилем Золя, подняли большую кампанию с требованием пересмотра дела. Верхушка армии, поддерживаемая всеми реакционными силами Франции, бешено сопротивлялась. Началась длительная борьба, которая постепенно переросла рамки дела Дрейфуса и превратилась в решительный бой между прогрессивными и реакционными элементами страны. Франция разделилась на два лагеря. Весь мир с напряжением следил за исходом этого конфликта. Победу, в конце концов, одержали прогрессивные силы, хотя далось это им с большим трудом: в сентябре 1899 года дело Дрейфуса было пересмотрено, но суд под давлением реакционных сил не решился оправдать Дрейфуса, а вновь признал его виновным, но со «смягчающими вину обстоятельствами». Однако десять дней спустя президент Лубэ «помиловал» Дрейфуса. Дрейфус и его сторонники не удовлетворились этим и продолжали настаивать на полном оправдании невинно пострадавшего. В результате в июле

Зимой интеллигенты (ходили на каток, устроенный близ моста на льду реки Оми, а летом выезжали за город: снимали у окрестных казахов юрты и ставили их группами в так называемой «Загородной Роще» или около санитарной станции. Здесь все отдыхали, то есть спали по шестнадцати часов в сутки, устраивали пикники с выпивкой и удили рыбу в Иртыше.

Хотя мой отец по своему служебному положению имел все основания быть членом «первого сословия», однако настроения и симпатии влекли его совсем в другую сторону: с первых же дней своей жизни в Омске он, а еще больше моя мать, вошли в группу местной «интеллигенции».

Таков был Омск времен моего детства.

##### 5. РАННИЕ ГОДЫ

Когда я вспоминаю ранние годы своего детства, я чаще всего вижу себя дома в своей комнате, за постройкой игрушечных кораблей. Я не знаю, откуда ко мне пришло это увлечение. По происхождению и условиям жизни я всегда был и доньше остался существом вполне «сухопутным». Однако в те годы я буквально с ума сходил от моря и всего, что относится к морю. Я любил картины, изображавшие море, я любил корабли, плавно несущиеся на своих надутых парусах по морским волнам, я любил книжки, рассказывавшие о далеких морских путешествиях и захватывающих душу морских приключениях. Я сам хотел стать моряком и во сне даже не раз видел, как, будучи командиром какого-то изумительного корабля, я совершаю геройские поступки и открываю новые страны.

Все это страстное увлечение морем находило свое конкретное выражение в постройке игрушечных кораблей. Я вечно возился с пилками, молотками, стамесками, планками, кусками жести, проволочками, винтиками и прочими элементами детского судостроения. В моей комнате пол вечно был завален стружками, опилками, обрезками железа, кусочками клея и всякой иной дрянью, которая часто приводила в отчаянье мою мать. Строил я кораблей много и самого разнообразного характера—большие и малые, ком-

1906 года дело Дрейфуса подвергалось вторичному пересмотру, причем на этот раз суд уже открыто признал, что все обвинение Дрейфуса было построено на подложных документах, изготовленных французскими реакционерами, и что Дрейфус был не повинен в приписываемых ему преступлениях.

мерческие и военные, паровые и парусные. Я внимательно изучал рисунки кораблей в имевшихся у меня книжках и потом старался их тщательно копировать в своем производстве. Бывали при этом успехи, но бывали и неудачи. Впрочем, на неудачи я не обижался и после них только удваивал свои усилия. О достижениях же своих я с гордостью сообщал своей кузине Пичужке— той самой, с которой я сидел в детской ванне в Москве и которая в качестве моего лучшего друга прошла через все мое детство и раннюю юность<sup>1</sup>. У меня сохранились два письма к Пичужке, писанные нетвердым детским почерком, без знаков препинания, посвященные как раз кораблестроению. В одном письме, относящемся к началу 1892 года, то есть когда мне только что минуло восемь лет, я сообщал:

«Я построил уже маленький корабль на котором могут плавать юленькины куклы».

Несколько месяцев спустя я писал той же Пичужке:

«Я уже строю военный корабль броненосный фрегат «Герой». Он с 20 пушками, а ружей — 25. Якорей — два спускательных и 5 запасных».

И ниже, в конце письма, разноцветными карандашами был нарисован этот «броненосный фрегат», который почему-то должен был иметь «25 ружей».

Другим внешним проявлением моего увлечения морем был страстный интерес, который я проявлял в то время к судоходству на реках Иртыше и Оми. Иртыш под Омском — большая река, до полукилометра ширины, с быстрым течением и мутной, желтовато-серой водой. Даже в те далекие времена судоходство на Иртыше было значительное, и из Омска водой можно было проехать в Семипалатинск, в Тобольск, Тюмень, Томск и к устьям Оби. По Иртышу ходило сравнительно много небольших одноэтажных пароходов, частью буксирного, частью товаро-пассажирского типа. Буксирные пароходы, как правило, пассажиров не возили, тащили две-три громадные, тяжело нагруженные баржи и делали не больше пяти-шести километров в час. Товаро-пассажирские пароходы имели каюты для пассажиров, водили обычно одну не очень громоздкую баржу и шли с быстротой десять-двенадцать километров в час. В Омске, в устье Оми, все пароходы останав-

<sup>1</sup> Моя кузина, настоящее имя которой было Елизавета, в детстве была столь миниатюрна, что отец шутливо прозвал ее «Пичужкой». Эта кличка так и утвердилась за ней в нашем семейном кругу.

лизались: там были пристани и товарные склады. Здесь было постоянное человеческое оживление, и я пристрастился к посещению этого омского «порта». Я пропадал там все свободное время, шатался по пристаням и пароходам, ко всему присматривался, прислушивался, принимался, заводил знакомства с такими же любопытными мальчишками, как и я. Скоро я целиком вошел в курс «портовой» жизни нашего города. Я без всяких расписаний знал, когда должен притти и уйти тот или иной пароход. Я знал, сколько стоит проехать от такого-то пункта до такого-то. Я знал, что пароходы компании Корнилова синего цвета, а пароходы компании Курбатова оранжевого цвета, что корниловский «Добрыня» — самый сильный, а курбатовская «Фортуна» — самый быстрый пароход на Иртыше. Я знал, когда и где было построено любое судно, во сколько лошадиных сил у него машина, какова быстрота его хода, кто его капитан, сердитый он или добрый, позволяет мальчишкам подыматься на борт во время стоянки или, наоборот, гоняет их оттуда в шею. Я слушал рассказы лоцманов и матросов об их работе и приключениях, о дальних городах и местах, которые они посещали, о зелено-кристальных водах Томи, об отмелях и перекатах Туры, о широких плесах Нижнего Иртыша, о величавой мощи и неизмеримой шире Оби, о трехмесячном дне и трехмесячной ночи заполярных районов. И постепенно в моем сознании складывалось представление о безграничных просторах Сибири, о несравненной грандиозности ее природы, о ее реках, текущих на тысячи километров, о ее дремучих лесах, тянувшихся сотни верст без перерыва, об ее холодных тундрах, покрывающих территории, превосходящие площади больших государств. Я как-то стихийно понял, почувствовал, всосал в свое существо сибирские масштабы, по сравнению с которыми все масштабы не только в Европе, но даже и в европейской части нашей страны кажутся маленькими, почти карманными. Особенно сильное впечатление на мое воображение производили рассказы об Оби. Обь рисовалась мне чем-то необъятным, могучим, дико-суровым и прекрасным, и должен сознаться, что я отнюдь не был разочарован, когда несколько позднее судьба забросила меня на берега этой гигантской реки. Я был настоящим поклонником и патриотом Оби и в переписке с Пичужкой горячо доказывал, что Обь — вот это река так река, Волга же по сравнению с ней «яйца выеденного не стоит».

Часы, проведенные в омском «порту», имели для меня еще то немалое значение, что они разбудили во мне тягу к путешествиям и любовь к географии, которые я потом сохранил на всю жизнь. Эти чувства дополнительно питались и стимулировались чтением. Отец выписывал для меня известный в то время детский журнал «Природа и люди», который я читал враскоряку. Мать нередко читала нам вслух отрывки из знаменитой книги Брема «Жизнь животных». Помню еще, что у меня была красиво переплетенная толстая книга «Жизнь моря», в которой я часами рассматривал превосходно сделанные в красках рисунки морских рыб, растений, животных.

Не забывались, конечно, и игры. Одно время я очень увлекался игрой в бабки, сам делал «налитки»<sup>1</sup> и безбожно «цыганил», обмениваясь бабками и налитками с мальчишками нашей улицы. Потом я охладел к бабкам, но зато с большой страстью стал играть в «воры» и «разбойники». Вместе с несколькими такими же шалопаями, как я, я делал набеги на соседние бахчи и огороды, стараясь перешибить всех смелостью, удалью, нахальством. Дома у меня было сколько угодно овощей, дынь и арбузов, но они совсем не привлекали меня. То ли дело было тайком прокрасться в огород, ловко надуть хозяина, с нарушением «закона» выдрать морковку, сорвать огурец, подцепить ветку сладкого горошка! Такой «краденый» плод казался нам, мальчишкам, в десять раз вкуснее «законного», получаемого дома за столом. Однажды я чуть не поплатился жизнью из-за этой занимательной игры. Поздней осенью, уже во время заморозков, наша «банда» как-то совершила налет на бахчу и покушала кисловатых, мерзлых арбузов. Ночью у меня обнаружилось острое желудочное заболевание: температура поднялась до сорока градусов, и от невероятных болей в животе я почти терял сознание. Перепуганная мать не знала, что делать. Отец, как назло, был в командировке. Мать подняла с постели одного знакомого врача, и вдвоем они кое-как отходили меня к утру.

После этого случая у меня пропал интерес к игре в «воры», и наша «банда» постепенно перешла к игре в «разбойники». Любимым местом нашим для этой игры был широкий холмистый луг, с рытвинами и небольшими купа-

<sup>1</sup> То есть для придания большей ударной силы бабке, которой разбивают «кон», наливал в нее расплавленный свинец.

ми деревьев, примыкавший к окраине города, где тогда жила моя семья. Луг пересекала большая проезжая дорога,—обычная сибирская дорога, летом пыльная, осенью и весной грязная, зимой засыпанная снегом, но эта дорога являлась для нас, мальчишек, предметом особого внимания и какого-то особого, полусознательного респекта. Все происходило оттого, что дорога, около которой мы играли, являлась частью того казавшегося бесконечным Московского тракта, который, прорезывая всю Европейскую Россию и Сибирь, бежал от Москвы до Владивостока. По Московскому тракту шли обозы с товарами, маршировали колонны солдат, мчались тройки с важными чиновниками и офицерами, двигались, звеня кандалами, партии арестантов под конвоем. Самое название Московский тракт вызывало в нашем детском сознании представление о чем-то важно-таинственном, огромно-могущественном, непонятно-прекрасном, о чем-то таком, на что, если посмотреть, так шапка с головы свалится. Мы, конечно, не понимали тогда значения слова «государство», но каким-то неясным инстинктом, каким-то подсознательным чутьем мы подходили к смутному восприятию этой сложной концепции, и Московский тракт как-то своеобразно становился в наших глазах ее символом и олицетворением. Много лет спустя я узнал, что, когда древний Рим завоевывал какую-либо страну или провинцию, первое, что он всегда при этом делал, была постройка хорошей дороги — знаменитой «римской дороги», прочно соединявшей новое владение с столицей государства. Такая дорога сразу служила двум целям: для Рима она открывала возможность в случае надобности быстро перебрасывать по ней свои легионы, для покоренных народов она становилась воплощением единства империи, к которой они теперь принадлежали. Мы, мальчишки, ничего не знали о римской истории, но в наших ощущениях, вызываемых Московским трактом, было что-то родственное этим далеким отголоскам древности. Недаром часто можно было услышать из уст даже самых отчаянных головорезов нашей улицы:

— Московский тракт... н-да... это не что-нибудь тебе такое...

И опять-таки как-то незаметно, само собой, мы, маленькие существа, впитывали в себя сибирские масштабы. Да и как было их не впитывать, когда каждодневно от прохожих и проезжих мы слышали, что езды от Омска



до Томска десять дней, от Омска до Иркутска три недели, а от Омска до Владивостока, почитай, два месяца...

1 августа 1892 года я поступил в подготовительный класс Омской мужской гимназии. Хорошо помню этот знаменательный в моей жизни день. Еще накануне я с утра волновался, не мог ничем заняться, нервно проверял книжки и тетради, которые я завтра возьму в класс, несколько раз надевал и снимал свою новенькую гимназическую форму. Ночь я спал плохо и вскочил на ноги ни свет, ни заря. Мать сама отвезла меня в первый раз в гимназию — желто-унылое двухэтажное каменное здание с крытым деревянным крыльцом — и сдала меня с рук на руки полному, седому, в ливрее, гимназическому швейцару. Поглядев на меня, швейцар как-то странно крякнул и несколько презрительно заметил:

— Маловат, маловат-с господинчик... Ростом не вышел.

Мне было тогда всего лишь восемь с половиной лет, и в серой гимназической форме, с огромным ранцем за спиной я действительно походил на головастика. Заметив, однако, что мать вспыхнула, и, видимо, опасаясь какого-нибудь реприманда, швейцар поспешил примирительно прибавить:

— Ничего-с, подрастут-с... Со всеми бывает-с...

Еще мгновение—и я потонул в многоголовой, шумной, крикливой, куда-то бегущей толпе гимназистов.

Возвращался домой я уже пешком, сначала с группой одноклассников, а потом один, и когда, нарочито развязно вбежав в свою комнату, я размашисто бросил ранец в угол, мать моя почти с ужасом воскликнула:

— Ваничка!.. Что с тобой?

И она указала на большой синяк, украшавший мою правую щеку под глазом. Приняв самый равнодушный вид, как будто бы ничего особенного не случилось, я скороговоркой бросил:

— Пустяки!.. В перемену немного потолкались.

— Хорошо потолкались!—с сердцем воскликнула мать и стала прикладывать к синяку примочку.

На самом деле история была гораздо серьезнее. В большую перемену на дворе гимназии началась драка между двумя группами мальчишек. Я был невольно вовлечен в драку, и один третьеклассник, славившийся своей силой, здорово «дубанул» мне кулаком по лицу. У меня даже искры посыпались из глаз, но я удержался и не заплакал.

Это было мое первое гимназическое крещение. Однако я считал ниже своего достоинства рассказывать матери все подробности.

Первым год моей гимназической учебы не оставил в моей памяти почти никаких воспоминаний. Должно быть, в нем не было ничего замечательного. Сидел я на первой парте, учился хорошо — был третьим-четвертым учеником из тридцати семи, — поведение имел пять, прилежание и внимание — по четыре. Однако большого интереса к учебе у меня не было. Объяснялось это, видимо, тем обстоятельством, что дома я был подготовлен лучше, чем то требовалось для приготовительного класса, и гимназия мне пока не могла дать ничего нового.

К этому же периоду относится и мое первое знакомство с «научной работой». Отец мой, как я уже рассказывал, занимался различными опытами и исследованиями. При Омском военном госпитале имелась маленькая захудалая лаборатория. Она состояла из двух небольших комнат с чрезвычайно скудным набором самых необходимых инструментов и приспособлений. Обычно лаборатория всегда была пуста: никто из госпитальных врачей не интересовался научной работой. При лаборатории жил старик-сторож, отставной солдат Потапыч, смотревший на свою должность как на своего рода синекуру. Потапыч по целым дням пропадал на базаре, который находился в двух шагах от госпиталя, и занимался там мелкой спекуляцией. К лаборатории Потапыч относился презрительно.

— На кой она шут сдалась!—любил он рассуждать.— Коли ты порядочный дохтур, дык лаболатория тебе не нужна: ты и так все знаешь... Ну, а ежели ты плохой дохтур, дык тебе никакая лаболатория не поможет...

При такой общей установке не приходилось удивляться, что на столах, термостатах, колбах, пробирках и прочей лабораторной утвари неизменно лежал толстый слой никогда не стиравшейся пыли.

Когда отец стал систематически работать в лаборатории, Потапыч был возмущен и не скрывал, что это совсем не входит в его расчеты. Скоро он перешел к скрытому саботажу. Побившись с Потапычем некоторое время и не получив результатов, отец махнул на него рукой и разрешил ему проводить время на базаре. Вместо Потапыча отец решил приспособить в помощь себе меня. В ранние вечерние часы он брал меня с собой в лабораторию, и я стирал пыль

с инструментов, следил за температурой термостатов, перемывал колбы и реторты, записывал цифры производимых отцом взвешиваний. Мало-помалу я входил в колею своих обязанностей и даже начинал кое-что понимать в опытах, производимых отцом. На моем попечении были также морские свинки, которых отец употреблял для своих экспериментов и которые жили в большой деревянной клетке, стоявшей в кухне у нас дома. Я кормил и поил этих свинок, следил за состоянием их здоровья, чистил клетку, подбрасывал солому. Особенно хотелось мне научиться самому производить взвешивания на химически точных весах. Это было целью моих стремлений, моим идеалом. И когда, наконец, после долгого искуса отец разрешил мне прикоснуться к заветным весам, и когда я сумел сделать свое первое взвешивание, оказавшееся правильным, я чувствовал себя так, как, вероятно, чувствовал себя Менделеев после составления таблицы элементов.

Постепенно лаборатория стала заслонять от меня все остальное — гимназию, бабки, разбойников, даже пароходы. Лаборатория стала стержнем моей жизни. Мне нравилось в ней бывать. Мне нравились ее стены, ее столы, ее аппараты и приборы, самый ее воздух, а больше всего — та полная мысли проникновенная тишина, которая наполняла ее помещение. Я мог часами сидеть в лаборатории, и мне никогда не бывало скучно. Переступая порог лаборатории, я всегда испытывал какое-то особое, праздничное чувство, какой-то особый подъем духа, какую-то внутреннюю торжественность, как верующий, переступающий ворота храма. И это, пожалуй, было не случайно. Оглядываясь теперь, спустя полвека, назад, я чувствую и понимаю, что именно в те ранние годы, когда я перемывал колбы и пробирки в убогой омской лаборатории, в моем сознании зародилась и стала крепнуть вера в разум, в науку, в знание, в право человека быть хозяином жизни на земле, вера, которая красной нитью прошла через все мое последующее бытие и которая, в конце концов, привела меня в лагерь марксизма-ленинизма.

#### **6. ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕРНЫЙ**

Весной 1893 года отец был назначен сопровождать партию новобранцев из Омска в Верный (ныне Алма-Ата). Такие партии отправлялись каждый год. Рекрутов из Ак-

молинской области, из Тобольской и Томской губерний, входивших в состав западносибирского генерал-губернаторства, набирали осенью; в течение зимы они проходили первоначальную тренировку в омских казармах, а весной следующего года часть из них направлялась уже для отбывания всего срока службы, который в то время был равен четырем годам, в Верный, Пржевальск, Зайсан и другие пункты Семиреченской области, соприкасавшейся с китайской границей. Состоя «врачом для командировок при Омском военно-медицинском управлении», отец и был послан сопровождать подобную партию молодых солдат. Он взял меня с собой, и эта поездка, продолжавшаяся в общей сложности свыше двух месяцев, навсегда осталась в моей памяти, как одно из самых ярких событий моего детства.

Расстояние от Омска до Верного — две тысячи верст. Путь был длинен и сложен и проходил по рекам, горам, пустыням, в разных климатах и среди очень разнообразной флоры и фауны. Но тем интереснее он был для жадного на впечатления девятилетнего путешественника.

Сначала вся наша партия, состоявшая из трехсот новобранцев, погрузилась на суда. Офицер, командовавший партией, и отец, сопровождавший ее в качестве врача, устроились на том самом курбатовском пароходе «Фортуна», который, как самое быстроходное судно на Иртыше, давно уже тревожил мое воображение. Новобранцы же во главе с фельдфебелем и несколькими унтер-офицерами, игравшими роль «дядек» для молодых солдат, разместились на большой барже, которую вела на буксире «Фортуна». Мест всем на барже не хватило. Было скученно и тесно. Часть новобранцев спала на палубе. Но фельдфебель Степаныч, плотный, рыжий, рябой мужчина лет сорока, этим не смущался. Нервно теребя свои лихо закрученные усы, он, как мячик, катался с одного конца баржи на другой, распоряжаясь, покрикивая, подталкивая, ругаясь матерными словами и грозя непокорным, огромным, красным, точно из железа сбитым кулаком.

— Шевелись, кобылка! — кричал Степаныч страшным голосом. — Шевелись! В тесноте, да не в обиде! Кто на лавку, а кто под лавку. Все места казенные. Не отставай. Не то...

И Степаныч красноречиво водил в воздухе кулаком. Это производило впечатление.

Потом в течение четырех суток «Фортуна» медленно подымалась вверх по течению Иртыша. Река делалась все уже, течение ее все быстрее. Население по берегам постепенно меняло свой характер: русских становилось меньше, казахов больше. На пятый день, сделав около восьмисот верст водой, мы прибыли, наконец, в Семипалатинск — маленький, пыльный губернский городок, носивший уже полувосточный характер. Здесь наша партия выгрузилась, переправилась на противоположный берег Иртыша и стала там лагерем в ожидании дальнейшего движения.

Мне очень запомнился странный способ переправы через реку. Ширина ее здесь была саженой сто, течение чрезвычайно быстрое. Бурлаки заводили большой паром вверх по течению, верст на пять-шесть выше того места, где он должен был пристать на другом берегу. Затем на паром погружались люди и вещи, паром отталкивался от берега и пускался по течению. Рулевой, ловко оперируя кормовым веслом, вел паром так, чтобы течением его прибило к другому берегу в нужном месте. Это не всегда удавалось, и паром иногда проносило мимо противоположного причала. Тогда на пароме и на берегу подымался страшный крик, люди бегали, волновались, махали руками, но течение делало свое дело, и паром прибывался к берегу где-нибудь на один-два километра ниже, в неудобном для разгрузки месте. В обратный путь бурлаки опять заводили паром по другому берегу верст на пять-шесть вверх и оттуда пускали вниз по течению. Эта система переправы, оставшаяся в наследство чуть ли не от эпохи Чингисхана, конечно, требовала немало времени. Но на время тогда не скупилась. Нам понадобилось больше двух дней для того, чтобы наша партия из трехсот человек и десятка повозок с лошадьми оказалась, наконец, на левом берегу Иртыша против города.

Тысячу двести верст пути от Семипалатинска до Верного партия должна была сделать походным порядком, то есть пешком. Для офицера, для врача, для лазарета, для кухни имелись повозки, но молодым солдатам всю дорогу полагалось шагать. Средний дневной переход составлял верст 20—25. Через два дня на третий устраивалась дневка. Обычно вставали с зарей, варили утренний чай и затем в течение пяти-шести часов шли походным маршем до ближайшей стоянки, делая по пути несколько коротких остановок для отдыха. По приходе на стоянку разбивали

палатки, варили обед, занимались всякими текущими делами и с петухами ложились спать, расставив на ночь часовых. На дневках мылись, чистились, чинились, приводились в порядок, а по вечерам лихо отплясывали в кружке под забубённые звуки гармоники. Во время марша хором пели разные солдатские песни. Из них мне больше всех запомнилась одна, начинавшаяся словами:

Черная галка,  
Чистая полянка,  
Ты же, Марусенька,  
Черноброва,  
Чего не ночуешь дома?

Звуки песни кружились в воздухе, наполняли пространство, лились над степями и горами и постепенно замирали где-то вдаль.

Наш путь шел сначала пустынными местами от Семипалатинска до Сергиополя, потом мы двинулись на Копал и оттуда к Верному. Чем южнее мы спускались, тем интереснее, разнообразнее, богаче становилась природа. Мы миновали озеро Балхаш, пересекли ряд бурно-вспененных, скачущих, как дикие кони, горных рек — Аксу, Коксу, Каратал, Алмаатинка. Мы прошли чудные горные долины, перевалили высокие хребты, спустились к течению реки Или, бравшей начало на китайской территории. Мы видели на пути великолепные фруктовые сады, бесчисленные бахчи с огромными сладкими арбузами, красивые южные цветы, леса, перевитые лианами. А солнце! Такого солнца, яркого, горячего, победоносного, мы, бедные северяне, никогда не видали. Все это поражало воображение, рождало в голове тысячи вопросов и впечатлений.

Вместе с отцом я имел, конечно, полную возможность ехать все время в повозке. Однако я и не подумал воспользоваться этой привилегией. Куда там! С первого же дня похода я решил быть «настоящим солдатом». С разрешения Степаныча, я рядом с ним шагал во главе колонны новобранцев. Сначала было трудно. Хотя я был здоровый мальчик, но все-таки проходить по 20—25 верст в день оказывалось не под силу. Поэтому полперехода я шагал, а полперехода сидел в повозке. Однако постепенно я стал привыкать и мало-помалу так втянулся, что к концу пути мог почти поспорить с любым солдатом. Это была хорошая школа, и, должно быть, отсюда ведут начало мои любовь

и умение ходить пешком, которые я сохранил на всю последующую жизнь. Я научился всем повадкам новобранцев на марше, раскачивался, как они, махал руками, как они, и даже сплевывал на сторону сквозь зубы, как это умел делать правофланговый парень из Туринского уезда Карташев, с которым я особенно подружился во время похода. На остановках я тоже больше вертелся среди солдат, слушал их разговоры, песни, сказки и обед из солдатского котла предпочитал «офицерскому» обеду, который военный повар готовил специально для командира партии и для отца.

Да, это было чудное время! Это было совершенно изумительное приключение для девятилетнего мальчика, только что начинавшего открывать глаза на мир. Я почти перманентно находился в состоянии какой-то радостной экзальтации. Я просто захлебывался от яркости и обилия получаемых впечатлений. Но мир, который представал пред моим детским невинным взором, был пестрый мир. В нем было много света, но в нем были также и тени. И теней этих было немало.

Помню, во время дневки в Копале местный гарнизон решил развлечь нашу партию чем-нибудь необыкновенным и разыграл в ее честь популярную в то время в армии пьесу «Царь Максимилиан». На крохотной сцене, в душных казармах, в сорокоградусную жару, в течение двух часов дико кричали, топали и дрались «военные артисты». Все роли исполнялись мужчинами. Сам «царь» и все его придворные были одеты в какие-то совершенно фантастические формы, звеневшие бесчисленными побрякушками при каждом движении героев. Из-под голубого платья «царицы Эльвиры» выглядывали густо пахнущие дегтем солдатские сапоги. Я забыл сейчас содержание пьесы, но помню, что даже у меня, девятилетнего мальчика, оно вызывало недоумение своей нелепостью. К этому прибавлялось еще исполнение. Я никогда не забуду, как в одной из сцен громадно-уродливый «царь Максимилиан», хватаясь за саблю, грозным голосом кричал своему сопернику:

Не подходи ко мне с отвагой. —  
Не то посмотришь, как проколю тебя я шпагой,  
Глядя на оную в скобках!

На самом деле возглас «царя Максимилиана» кончался на второй строчке, после которой в скобках стояла ремар-

ка: «Глядя на оную». Солдат-артист, однако, не отделял текста от ремарки и с завидной добросовестностью произносил все вместе.

— Какая глупая пьеса!—сказал отец, когда мы возвращались с представления в свою палатку.

Шедший с нами офицер местного гарнизона с презрительным смехом откликнулся:

— Дуракам лучше не надо.

Я был поражен в самое сердце.

«Дуракам! — думал я, шагая рядом со взрослыми. — Значит, он всех солдат считает дураками? Как бы не так! Мой Карташев совсем не дурак. Он умеет так хорошо рассказывать и петь песни. И другие солдаты тоже не дураки. Почему же он всех солдат зовет дураками?»

Я не мог тогда найти удовлетворительного объяснения для слов офицера, но я запомнил их, и мне показалось, что они скрывают за собой какую-то тяжелую, мне еще непонятную тайну.

А вот другой случай. Обычно на дневках Степаныч и «дядьки» занимались с новобранцами «словянностью». Это было нечто вроде тогдашней «политграмоты», которую царское правительство старалось вбить в голову каждому солдату. Собрав вокруг себя на лужайке тридцать-сорок человек, Степаныч начинал их обучать своей премудрости.

— В чем состоит долг солдата? — громовым голосом кричал он, свирепо глядя на своих слушателей.

И затем отвечал:

— Долг солдата состоит в том, чтобы, не жалея живота своего, бить врага внешнего и внутреннего.

А все новобранцы должны были хором повторять и заучивать на память этот ответ.

Потом задавался вопрос:

— Что есть знамя?

И дальше следовал ответ:

— Знамя есть священная хоругвь.

И все опять должны были повторять за Степанычем и заучивать это определение.

Я не помню сейчас точных формулировок царской «политграмоты», но таков был их подлинный смысл. В числе других вопросов солдатского катехизиса имелся и такой:

— Что есть твое оружие?

На это Степаныч неизменно отвечал:

— Ружье честень бердань, образец номер второй.



Регулярно присутствуя на «словяности», я никогда не мог понять смысла этой мистической формулы. Что значит «честень»? Что такое «бердань»? Несколько раз я пробовал спрашивать об этом Степаныча, но он лишь недовольно хмурился и ворчал:

— Честень есть честень, а бердань есть бердань — вот и весь сказ. А чему тут непонятному быть?

Однажды на уроке «словяности» из кармана Степаныча выпала небольшая книжечка. Я подобрал ее и стал просматривать. И что же, — это оказался тот самый солдатский катехизис, который фельдфебель с таким упорством вколачивал в головы новобранцев. Я быстро перелистал его и наткнулся на смущавший меня ответ об оружии.

В подлиннике он гласил:

«Ружье системы Бердана, образец № 2».

Ларчик просто открывался. Обрадованный своим открытием и плохо еще понимая бюрократическую психологию, я с радостью закричал:

— Степаныч! Степаныч! Нашел!

И, тыкая пальцем в книжечку, я воскликнул:

— Надо говорить не «ружье честень бердань», а «ружье системы Бердана»...

Я не успел договорить. Степаныч вдруг покраснел, как рак, сердито вырвал из рук у меня книжку и дико зарычал:

— Яйца курицу не учат! Тоже учитель нашелся!

Я был совершенно огорошен. Уходя с «словяности», я искал л никак не мог найти ответа на вопрос: зачем Степаныч вбивает в головы солдат всякие бессмыслицы?

Наши отношения с Степанычем после этого конфликта сильно испортились. А вскоре после того произошел еще один случай, который окончательно нас поссорил.

Мы уже были всего лишь в нескольких переходах от Верного. На стоянке у одной горной речки я бегал с сачком по полю, гоняясь за красивыми бабочками. Вдруг неожиданно я остановился, как вкопанный. В нескольких десятках саженей от меня, под небольшой купой деревьев, был Степаныч, но в каком виде! Весь красный, разъяренный, озверевший, он бил по лицу моего друга Карташева. Его огромные железные кулаки методически ходили взад и вперед, и голова Карташева как-то беспомощно мота-

лась из стороны в сторону. Из губы у Карташева текла тонкая струйка крови. В мгновение ока я был около Степаныча и, вне себя от бешенства, закричал:

— Стой! Стой!.. Не смеешь! Я папе скажу.

Оторопевший от неожиданности, Степаныч остановился и, увидев меня, выругался матерными словами. Однако желание продолжать расправу, видимо, у него пропало, и, еще раз выругавшись, фельдфебель круто повернулся и пошел к лагерю. Когда Степаныч был уже далеко, я спросил обтиравшего кровь Карташева:

— За что это он так тебя?

Карташев замялся и стал смущенно тереть свою гимнастерку. Я, однако, не отставал. Наконец Карташев, глядя в сторону, вполголоса заговорил:

— Как, значит, по осени забрили меня, мамаша, значит, дала мне три рубли на дорогу... Береги, говорит, на черный день пригодится... А дьявол энтот, Степаныч, дознался ноне... Ну, стал приставать: отдай да отдай ему три рубли... По-читай, всю дорогу от Семипалатинска пристаает. Я и так, и сяк, самому, мол, нужно... Сегодня поймал меня, да и пошел, да и пошел... Мы, говорит, через три дня в Верном будем. Ты, сволочь такая, тамо останешься, а я в Омск ворочусь. Давай, говорит, деньги чичас, сей минут... А не дашь, дык долго меня поминать будешь... Ды как почнет по мордасам лупить, как почнет...

В тот же вечер за ужином я с возмущением рассказал обо всей истории отцу и сидевшему с нами командиру партии. Отец многозначительно кивал головой, а офицер — военный службист, думавший только о карьере, — недовольно бросил:

— Вы, молодой человек, лучше бы не вмешивались не в свои дела.

Я обиделся и ушел спать, не попрощавшись с офицером. Офицер же, как потом выяснилось, несмотря на шелчок по моему адресу, все-таки имел разговор по этому поводу со Степанычем. Не совсем приятный разговор. На следующий день Степаныч смотрел на меня волком, не здоровался, не разговаривал. В Верном мы расстались врагами. У отца с командиром партии отношения тоже расстроились. Уже много лет спустя отец мне рассказывал, что, после того как я ушел в тот вечер в палатку, офицер стал осуждать не только мой поступок, но и то воспитание, кото-

рое приводит к такого рода поступкам. Отец рассердился и с холодным раздражением заявил:

— Солдат бить не полагается.

Офицер пробовал возражать, но отец упорно стоял на своем. В результате дипломатические отношения между командиром партии и врачом оказались испорченными...

Да, тени набегали на ясное утро моих жизненных впечатлений. Набегали и заставляли задумываться.

Но одновременно сколько светлых, ярких, глубоких, незабываемых переживаний врезалось в мою память и навсегда в ней осталось!

Вот одно из них.

Наша партия разбила лагерь в зеленой ложбине меж гор. К лагерю сошлись и сбежались окрестные жители. Начинается обмен новостями, мнениями, продуктами. Старшина близлежащего селения по-военному представляется командиру партии и отцу. Это мужчина лет за пятьдесят, еще крепкий, сильный, с бронзовым цветом лица, с полуседыми косматыми бровями и бородой. Ломая высокую баранью шапку, которую мужчины носят здесь в самый сильный зной, он рассказывает, между прочим, что верстах в двух от лагеря есть «чудесный колодец»: в нем нет дна.

— Как нет дна? — изумляется отец.

Старшина почтительно склоняет голову и, точно извиняясь за плохое поведение колодца, повторяет, что у колодца так-таки нет дна. Видя наше недоверие, он предлагает нам самим убедиться в справедливости его слов. Небольшой компанией, человек в пять, идем к колодцу. На маленькой песчаной площадке стоит почерневшая от времени деревянная будочка. Входим внутрь. Перед нами небольшой круглый водоем в три-четыре аршина в поперечнике. Вода чистая, как хрусталь, и глубина ее, на первый взгляд, не превышает двух аршин. На дне водоема мелкий желтый песочек. Он кажется твердым, и невольно тянет прыгнуть в воду и пощупать его ногой. Присматриваюсь внимательно и подозрительно ко дну—песок, как песок. Ничего необыкновенного. Только, если уж очень пристально смотреть, кажется, будто бы от центра песчаного дна к периферии одна за другой прокатываются легкие, едва уловимые песчаные волны. Но, может быть, это только кажется?

— Вот и «чудесный колодец», — говорит старшина. — Попробуйте бросить в него камень.

Я торопливо хватаю с земли небольшой осколок гальки и бросаю в водоем. Осколок падает на дно и мгновенно исчезает где-то в глубине, подо дном. Отец и командир партии следуют моему примеру — результат получается тот же.

— Принесите из лагеря веревки, — командует офицер.

Появляются веревки. Офицер приступает к промерам. Одну веревку привязывают к другой, к концу подвешивают тяжелый камень, как грузило. Размахнулись и бросили. Пятидесятисаженная веревка ушла под песочек водоема и дна не достала. Старшина с удовлетворением смотрит на колодец, который его не выдал, и убежденно прибавляет:

— Не родился еще человек, чтобы до дна достал! Это много суды приезжало народов и пробовало, вот, как вы же, да все бестолку.

Старик запирает деревянную будку, а мы возвращаемся в лагерь, оживленно обсуждая только что виденную загадку природы...

Или еще. Мы ночуем у самого берега озера Балхаш. Озеро огромное — верст четыреста в длину и от двадцати до пятидесяти в ширину, точно огромная гусеница, вытянувшаяся с запада на восток. Теперь район озера Балхаш — крупный индустриальный центр, выросший по мановению волшебного жезла сталинских пятилеток. Тогда, полвека назад, здесь была пустыня, и низкие берега озера были покрыты густыми зарослями исполинского тростника, в которых водились кабаны и тигры. Глубокая ночь. Лагерь спит здоровым, крепким сном. Часовые с трудом преодолевают дремоту...

Вдруг ночную тьму резко разрывает грозно-могучий нечеловеческий рык. Еще раз! Еще раз! Рык приближается. Рык становится все громче, все страшнее. Это тигр.

Лагерь мгновенно оживает. Перепуганные новобранцы вскакивают с постелей и начинают метаться между палатками. Им, омским, тобольским, тюменским парням, никогда не приходилось встречаться с тиграми. Волк, медведь, россомаха — другое дело. Но тигр! Большинство из них до сих пор о таком звере даже и не слышало.

Я тоже просыпаюсь и в рубашке выскакиваю из палатки. Тигр? Где тигр? Ведь это так страшно и так захваты-

вающе интересно. А тигр между тем бродит в ночи где-то тут, совсем близко. Его грозный рык, от которого душа замирает, слышен то здесь, то там. Кто-то из солдат даже утверждает, что он видел его собственными глазами вот только что, вот в «эфтом самом месте».

— Зажечь костры! — приказывает командир партии.

Через минуту в разных концах лагеря вспыхивают огни. Еще мгновение — и они вспрыгивают длинными языками к небу, бросая красные отсветы кругом. Тигровый рык вновь прорезает воздух, но уже слабее, чем раньше. Еще и еще. Но слышно, что звуки не приближаются, а удаляются. Тигр увидал огни. Тигр уходит в камыши. Встревоженный лагерь понемногу успокаивается и затихает...

Или еще. Дневка в Сергиополе. Нашу партию встречает начальник местной команды штабс-капитан Крутиков. Он — высокий блондин с голубыми глазами. На вид ему лет сорок. Крутиков держится прямо, по-военному, движения его точны и энергичны. Но на лице, как-то не совсем гармонируя с внешностью и выправкой, лежит печать мысли и раздумья. Крутиков имеет репутацию хорошего офицера, но Крутиков не совсем обычный офицер.

Вечером Крутиков приглашает к себе в гости начальника нашей партии и моего отца. С отцом, конечно, иду и я. Крутиков живет на окраине городка, в небольшом деревянном доме, со всех сторон окруженном прекрасным садом с полуюжной растительностью. Дом чистый, крепкий, уютный, и от всего его вида, от всей его атмосферы несет какой-то странной и непонятной в этих диких местах интеллигентностью. Сразу после ужина начальник нашей партии исчезает, отговорившись какими-то неотложными делами, а мы с отцом остаемся в гостях. Слегка выпивший, Крутиков становится откровеннее и разговорчивее. Он приглашает нас из столовой в свой кабинет. Отец, войдя в кабинет, вдруг останавливается в сильном изумлении. Действительно, картина не совсем обычная для квартиры скромного штабс-капитана той эпохи, да еще в обстановке далекого сибирского захолустья: все стены кабинета густо заставлены книгами — большими и малыми, толстыми и тонкими, в красивых переплетах и в простой бумажной обложке.

— Какая у вас большая библиотека! — невольно вырывается у отца.

— Да, кое-что есть, — с какой-то скромной гордостью откликается Крутиков и затем, точно извиняясь, прибавляет: — Это, знаете, моя страсть... Книги... Сгустки человеческой мысли... Что может быть прекраснее и поучительнее этого?

Библиотека сразу располагает к Крутикову моего отца, который тоже любит книги и тоже интересуется работой человеческой мысли. Беседа быстро переходит на более интимные, дружеские тона. Оказывается, Крутиков — военный историк, конечно, любитель-историк, но знающий, начитанный, с твердыми взглядами и красочными оценками. Он много говорит о прошлом России, об ее вековой борьбе за существование, об ее все выносящем народе и об ее великих полководцах. Особенно часто он упоминает Суворова — имя, которое я до того не слышал. О Суворове Крутиков говорит с величайшим уважением, с восторгом, с упоением. Отец во многом соглашается с Крутиковым, но под конец со вздохом замечает:

— Да, Суворов, конечно, великий человек и великий русский патриот. Но где они, Суворовы, сейчас? Что-то не видно.

Крутиков тоже вздыхает, но потом гордо вскидывает голову и тоном глубокого убеждения восклицает:

— Пусть Суворовых сейчас нет — они будут! Они должны быть! Народ, который сто лет назад родил Суворова, не может оскудеть.

И затем, спустя мгновение, Крутиков прибавляет уже совсем другим, каким-то поблекшим и увядшим голосом:

— Если бы вы знали, доктор, как тошно мне иногда бывает смотреть на все окружающее!.. На моих коллег-офицеров, на наши порядки, на всю нашу нынешнюю военную систему... Я чувствую: не то, не то!.. Не то делается, что нужно для создания Суворовых. А чем я могу помочь? Я, жалкий штабс-капитан, начальник воинской команды в Сергиополе?

Много лет спустя, вспоминая о встрече с Крутиковым, я невольно поражался, как этот скромный армейский офицер, заброшенный в медвежий угол, вдали от жизни и культуры, так пророчески предчувствовал неизбежность той трагедии, которая двенадцать лет спустя разыгралась на полях Манчжурии.

Или еще одно, последнее воспоминание. Мы уже в Верном. Партия новобранцев сдана местному начальству,

и отец стал свободным человеком. Больше никаких забот у него нет. Верный — изумительно красивое место. Он лежит у самого подножья высокого, увенчанного вечными снегами Александровского хребта. Его белые домики — тонут в богатой южной зелени. Весь городок похож на большой цветущий сад, орошаемый шумными и веселыми горными водами.

Отец свел знакомство с врачами и офицерами местного гарнизона. Небольшая компания альпинистов приглашает его принять участие в восхождении на высшую точку Александровского хребта. Предложение заманчивое, но как быть со мной? Ведь предстоит подъем на шестнадцать тысяч футов! Отец колеблется и сначала решает оставить меня внизу. Я в полном отчаянии и негодовании. Я бешено сопротивляюсь. Я клянусь и боюсь, что ни в чем не уступлю взрослым, что никто не услышит от меня в пути ни одной жалобы. Отец, в конце концов, смягчается и, к моему несказанному восторгу, решает взять меня с собой.

И вот мы в пути. Тяжело нагруженные разным «альпийским снаряжением» местной работы, мы медленно карабкаемся верхом по крутым склонам хребта. Что ни шаг, то смертельная опасность: узкие тропинки, бездонные пропасти, отвесные скалы, исполинские, в несколько обхватов, деревья, перевитые южными лианами. Нижние склоны хребта покрыты поясом густых девственных лесов, наполненных дикими зверями и ядовитыми змеями. То и дело воздух оглашается какими-то странными и зловещими криками, какой-то подозрительный шорох раздается за непроницаемой сеткой вьющихся растений. То и дело нашей маленькой кавалькаде приходится останавливаться, и проводники начинают прорубать топорами дорогу через чащу кустарников и лиан. Закинув голову, смотришь вверх на деревья — вершины их уходят далеко в небо. Они так высоки и так могуч их ствол, что его не берут ни пилы, ни топоры. Их можно только взрывать. Местные жители именно так и делают, сбрасывая с утеса на утес обломки взорванных деревьев, пока, наконец, израненные и размельченные, они не докатятся силой своей тяжести до расположенных у подножья селений.

Но вот пройдены леса. Пошли альпийские луга с пестрыми, красивыми цветами. Ставим походные палатки и располагаемся на ночлег. Варим на костре чай, жарим баранину и на несколько коротких часов засыпаем до

рассвета. С зарей трогаемся в дальнейший путь. Но теперь мы перестраиваемся. Кони остаются здесь, на высоте шести тысяч футов, и будут дожидаться нашего возвращения. Дальше им нет пути. Мы все нагружаемся «рукзаками» (конечно, местного происхождения), веревками, палками, топориками и всяким иным горным оборудованием. Теперь перед нами самая трудная часть подъема. В течение долгих часов, под руководством двух опытных проводников, мы медленно ползем все вверх и выше. Камни, расщелины, кручи. Кручи, расщелины, камни. Бешено мчатся вспененные горные потоки. Мрачно зияют темные пасти бездонных провалов. Гудит ветер. Клубятся сырые туманы облаков. С каждым шагом вперед все труднее дышать, все больше усталость. Но мы идем, идем, цепляясь за утесы, повисая над пропастями, перепрыгивая через расщелины. Отец подходит ко мне и немножко лукаво спрашивает:

— Ну что, не жалеешь, что пошел?

Я смертельно устал, мне больше всего на свете хочется упасть на землю, не идти, не двигаться и лежать, лежать без конца. Однако я скорее умру, чем покажу это. И потому, слегка пожав плечами, с деланной небрежностью я отвечаю:

— Какие пустяки! Я чувствую себя очень хорошо.

Отец понимает мое состояние и крепко берет меня под руку. Я делаю вид, что сопротивляюсь, но в душе страшно доволен. Так идти легче и меньше чувствуется усталость.

Вторую ночь проводим в глубокой щели скалы, за ветром, у начала ледниковой линии. Комфорта куда меньше, чем накануне. Спим вповалку в одной маленькой палатке. Едим холодное мясо и пьем холодный коричневый чай. Еще до зари поднимаемся и, связавшись веревкой, вступаем на снеговые поля. Идем долго, осторожно, то спускаясь в расщелины, то карабкаясь по ребрам скал. Подмерзший за ночь снег приятно хрустит под ногами. Дыханье выходит паром из ноздрей. Скользко. Жутко. И вместе с тем как-то страшно весело и бодро на душе. Рассвет отражается волшебными переливами по снеговым вершинам. Горят ярко-красным огнем макушки гор, лиловые тени наполняют впадины и провалы. Все выше, все выше. Все ближе, все ближе к цели. И вот, наконец, мы на самой вершине.



Какая величавая, какая изумительная картина!

Перед нами, на север — бесконечная даль широкой разноцветной равнины, которую мы пересекли на пути к Верному: зеленые пятна лугов и лесов, голубые блики озер, желтые заплаты сыпучих песков. Равнину пересекают в разных направлениях темные цепи хребтов, которые мы перевалили. Их остроконечные очертания, их причудливой формы вершины мреют в синеватой дымке утра. Город, из которого мы пришли, кажется с этой высоты маленькой кучкой ласточкиных гнезд, чьей-то озорной рукой брошенных у самого подножья хребта.

Перед нами к югу, глубоко внизу, темные воды Иссык-Куля, а там дальше — синевато-розовые, горящие в утренних лучах цепи, и цепи, и цепи гордых, могучих снеговых гор, постепенно переходящих в исполинско-величавые массивы Тянь-Шаня.

И тишина! Какая тишина! Девственная, предвечная тишина, которая еще не знает шума, создаваемого человеком. Тишина, которая сама звучит и покоряет душу.

В последующей жизни мне не раз приходилось бывать на вершинах гор: в Альпах и на Кавказе, в Японии и на Алтае, в Монголии и Скандинавии. На этих вершинах тоже была тишина. Но никогда больше я не переживал ни той глубокой полноты, ни того несравненного звучания тишины, которые я испытал на вершинах Александровского хребта. Тишина ли тут была другая, я ли сам был другой, — не знаю...

Домой из Верного мы возвращались на лошадях. Все две тысячи верст в обратный путь мы сделали «на перекладных», то есть меняя коней и повозку на каждой почтовой станции. Отец сильно торопился, и потому мы ехали днем и ночью. Я был до такой степени переполнен впечатлениями минувших двух месяцев, что почти ничего уже больше не мог воспринимать. В дороге я очень много спал. Часто ночью бывало я вдруг проснусь на мгновение, проснусь уют какого-либо особенно резкого толчка, приподымусь, открою глаза, прислушаюсь... В небе горят яркие звезды... Колокольчик под дугой равномерно звенит, разбрасывая во мраке мелодичные трели... Отец храпит рядом со мной... Ямщик залиvisto посвистывает на облучке... И снова я проваливаюсь в глубокую тьму: крепкий молодой сон сковывает мои веки...

На десятый день мы, наконец, добрались до Омска.

Когда я переступил порог дома, мать, всплеснув руками, воскликнула:

— Ваничка, как ты изменился! Ты стал совсем другой!

Мать была права. Дело было не только в том, что я вытянулся, похудел и загорел до черноты. Важно было то, что за время путешествия я сильно вырос духовно, я стал больше понимать и глубже чувствовать. Самое же главное состояло в том, что тут я впервые близко столкнулся с народом, с крестьянской массой, с серой солдатской «кобылкой». Это столкновение оставило в моей душе неизгладимый след и заронило в мое сознание семена того уважения и той симпатии к народным низам, которые в последующие годы принесли столь богатые плоды.

#### 7. В ПЕТЕРБУРГЕ

Осенью того же, 1893 года вся наша семья переехала в Петербург. Произошло это таким образом. Отец получил, как гласила в то время официальная формула, «командировку в Военно-медицинскую академию для усовершенствования в науках». Такая командировка продолжалась два года. Не было никакого смысла на столь долгий срок разбивать семью на две части. Поэтому родители мои решили ликвидировать свой омский «очаг» и всем домом переселиться в столицу. Сборы по разным причинам затянулись до глубокой осени, и когда был назначен примерный срок отъезда, оказалось, что река Тура, на которой стояла Тюмень — ближайший к Омску железнодорожный пункт, — сильно обмелела и перестала быть судоходной. Добираться до Тюмени (свыше шестисот верст пути) теперь приходилось уже на лошадях. Предприятие это было не из легких. Стоял конец сентября — время очень позднее по сибирским условиям. Лили осенние дожди, дороги превратились в непролазное болото. По ночам начинались легкие заморозки. Семья наша состояла уже из семи человек, причем самому младшему ее члену, брату Михаилу, едва исполнился год. Вещей и багажа с нами было немало. Собственных экипажей у нас не имелось, поэтому ехать приходилось на перекладных, как незадолго перед тем мы с отцом возвращались из Верного. Это означало, что через каждые тридцать-сорок верст надо было в любую погоду перегружать всю семью, со всеми ее чемоданами и тю-

ками, из одной повозки в другую. Перспектива была не из веселых. Но ехать было надо, и мы поехали.

В нашем распоряжении были две большие крытые повозки, носившие в то время название тарантасов. В переднем тарантасе помещались отец, мать и четверо младших детей — две сестры и два брата. В заднем сложены были все вещи, и на них сидел денщик. Я на правах «большого» тоже был приписан ко второму тарантасу и имел там свою постоянную резиденцию. Однако в пути, когда мне становилось слишком скучно, я нередко отправлялся «в гости» в переднюю повозку. Ехали мы медленно. Скакать так, как мы с отцом скакали по пути от Верного до Омска, делая по двести верст в сутки, теперь не было никакой возможности. Двигались только днем. На станциях подолгу стояли: варили обед, кормили детей, маленькому Мише то и дело давали слабительное. Считалось удачным, если в сутки проезжали семьдесят-восемьдесят верст. К тому же небо все время было хмурое, дождь почти не переставал, и лошади вязли в грязи по колено. Это, конечно, еще больше задерживало наше движение. Только на десятый день наш маленький караван добрался, наконец, до Тюмени, и, подъехав здесь к невзрачному зданию железнодорожного вокзала, мы почувствовали себя точно «в Европе».

От этой поездки глубокой осенью из Омска в Тюмень у меня осталось одно очень яркое воспоминание, точно прямо соскочившее со страниц рассказов Короленко.

Мы уже подъезжали к Тюмени. Оставалось всего лишь два или три перегона. Отец торопился и на каждой остановке подгонял ямщиков и начальников станций. Был почти вечер, когда мы въехали в одно большое село, стоявшее на окраине темного бора. Отсюда начинались дремучие леса, шедшие до самой Тюмени.

— Лошадей! Да поживее! — скомандовал мой отец, входя в здание почтовой станции.

Высокий благообразный старик с длинной седой бородой, оказавшийся начальником станции, стал уговаривать отца остаться до завтра.

— Дело к ночи, барин, — говорил старик, степенно поглаживая бороду рукой, — леса у нас агромадные... Всякий народ шляется... Неровен час, как бы чего не вышло...

Но отец не хотел слушать никаких уговоров и категорически требовал лошадей. Тогда начальник станции

«по секрету» поведал отцу, что, не доезжая семи верст до следующей остановки, есть речка, а через речку мост, — так вот около этого самого моста в последнее время «шашалы»: засела банда и грабит проезжающих. Опомнясь (то есть недавно) убили купца, возвращавшегося из города.

— Ваше благородие!—патетически воскликнул старик, апеллируя к последнему аргументу. — У вас барыня-красавица, детишки мал мала меньше... Прости господи, да ну как что случится?..

Однако отец оставался неумолим. Волей-неволей начальнику станции пришлось подчиниться. Спорить с «светлыми пуговицами» (отец был в военной форме) в то время не полагалось. Ямщики что-то ворчали про себя и собирались медленно. Им, видимо, тоже не хотелось ехать на ночь глядя. Отец дважды подгонял смотрителя. Когда, наконец, тарантасы стояли у крыльца и наши вещи были уже уложены в повозки, старик многозначительно посмотрел на отца и робким голосом пробормотал:

— А може, отдумаете, ваше благородие? Самоварчик вздуем... Матрена шанежки принесет...

Но отец только раздраженно отмахнулся от смотрителя и вслед за матерью сел в тарантас. Ямщики крикнули и, поняв, что «барина» не переспоришь, недовольно полезли на облучки. Через мгновение обе наши повозки потонули в сумерках надвигающейся ночи.

Дорога шла густым лесом. Справа и слева в темноте смутно вырисовывались фантастические силуэты деревьев. Лошади громко хлюпали по глубокой, вязкой грязи. Уныло звенели колокольчики под дугой, и ямщики от времени до времени беспокойно посвистывали. Иногда, вытянув пристяжных кнутом, они покрикивали, точно подбодряя:

— Н-но, милая!.. Не выдай!..

Так мы ехали часа два. Тем временем окончательно стемнело. Небо было мрачное, низкое, покрытое густыми облаками. Пошел дождь. Он равномерно, назойливо стучал в крышу тарантаса. Откуда-то на шею мне потекли мелкие холодные струйки. В двух шагах не видно было ни зги. Лошади шли шагом. Колокольчики звенели неровно, прерывисто, под сурдинку.

Вдруг передний тарантас, где ехал отец, остановился. Остановился и второй, в котором сидел я. Колокольчики внезапно смолкли. Наступила полная тишина, нарушаемая

лишь равномерным шумом осеннего дождя. Сразу стало как-то жутко и напряженно. В чем дело?..

Ямщик переднего тарантаса медленно слез с облучка и с какой-то нарочитой неторопливостью начал обходить повозку. Пощупал под чересседельником потные спины лошадей, ткнул кнутовищем в облепленные грязью колеса, зачем-то попробовал покачнуть кузов. Наш ямщик, следуя его примеру, тоже слез на землю и в нерешительности топтался на месте.

— Чего стали? — спросил отец, высовываясь из-за фартука тарантаса.

Передний ямщик крикнул и как-то неопределенно пустил:

— Того... оно... Кони взопрели маненько...

— То-то, взопрели, — с некоторым раздражением ответил отец. — Едем! Нечего прохладиться!

— Барин! Ваше благородие! — вдруг судорожно заголосил ямщик, решив, очевидно, что пора переходить начистоту. — Вертай назад! Не поедем дальше!

Отец окончательно рассердился и крикнул:

— Молчать, дурак! Вороны испугался?

— Барин!--еще отчаяннее заспешил ямщик. — Не погуби душу! У меня дома баба осталась, ребята пишат... А ну как, неровен час, «он» долбанет?..

И ямщик стал торопливо креститься. Наш ямщик тоже подошел к переднему тарантасу и присоединил свой голос к голосу товарища.

— Марш по местам! — закричал отец таким голосом, что дети, спавшие на коленях у матери, проснулись и маленький Миша громко заплакал.

Ямщики отпрянули, оторопев, и вновь полезли на облучки. Отец же для успокоения их уже более спокойно прибавил:

— У меня есть револьвер.

— Ливольверт? — почесывая в затылке, полувопросительно заметил передний ямщик и затем в раздумьи прибавил: — Аль ехать, что ли? Авось, пресвятая помилует!..

Револьвер отца, как мне было хорошо известно, лежал на дне большого чемодана, на котором сидел я. Чемодан был не только на ключе, но еще сверху крепко перевязан ремнями. Тем не менее револьвер на этот раз сыграл свою психологическую роль: ямщики несколько успокоились, сели на свои места и взяли в руки вожжи. Наши таран-

тасы стояли как раз у начала спуска к речке, пользовавшейся такой плохой репутацией.

— Эх, была—не была!—отчаянно крикнул передний ящик, дико свистнул и во всю руку огрел лошадей кнутом.

Тройка рванулась, вздыбилась и понеслась. Ящик стоя нахлестывал направо и налево, что-то кричал, как-то подзадоривал коней. Наш тарантас летел за передним, не отставая. В темноте мелькнули какие-то столбы, под ногами лошадей вдруг громко затарахтели доски моста, колеса сделали резкий скачок вниз, и тройка тем же бешеным карьером вынесла нас на противоположный пригорок, перейдя постепенно на более нормальный аллюр.

— Мать, царица небесная, вынесла!.. — с облегчением вздохнул наш ящик и истово перекрестился.

И речка и мост были уже позади.

Час спустя мы сидели за горячим самоваром на ближайшей станции и со смехом вспоминали только что пережитые волнения.

Дальнейший путь до Петербурга прошел уже без всяких приключений, но ехали мы медленно и долго. Маршрут был таков: от Тюмени до Перми по железной дороге, от Перми до Нижнего Новгорода по Каме и Волге пароходом, от Нижнего до Петербурга через Москву опять по железной дороге. Поезда в то время тащились черепашьим шагом, и, например, путь от Москвы до Петербурга занимал почти сутки. На Волге было осеннее мелководье. Большой пароход, на котором мы выехали из Перми, не мог подняться до Нижнего Новгорода; в Казани нам пришлось пересесть на другой пароход, поменьше, но и он, в конце концов, застрял на каком-то перекате, с которого его снял подошедший на помощь буксир. В Перми мы прогостили дня три у наших родственников с материнской стороны; в Москве мы провели также несколько дней у Чемодановых. Все это, конечно, не способствовало быстрой передвигания. В общей сложности мы провели в пути около трех недель и приехали в Петербург только к середине октября.

Столица сразу оглушила и закружила меня. После маленького тихого Омска Петербург с его миллионным населением<sup>1</sup>, с его широкими прямыми улицами, с его много-

---

<sup>1</sup> В описываемое время население Петербурга только что перевалило за первый миллион.

этажными каменными домами, с его роскошными витринами, с его прекрасными мостами, с его большим конным и пешим движением (трамваев еще не было) производил на меня потрясающее впечатление. Сильно волновала меня также Нева, где я мог собственными глазами видеть уже наяву всамделишные морские суда, приходившие сюда со всех концов мира. Я часто и подолгу стоял на гранитных набережных этой изумительной реки, наблюдая за сложными маневрами «финских лайв», за погрузкой иностранных пароходов, за торопливой бегом крохотных финляндских парходиков, бороздивших, точно большие темносиние жуки, невские воды в самых различных направлениях.

В сентябре 1893 года, за несколько недель до нашего приезда в Петербург, в Финском заливе бесследно погиб со всем экипажем броненосец русского флота «Русалка». Не спасся ни один человек. Больше того, все попытки разыскать хотя бы самое судно оказались тщетными. Эта непонятная катастрофа в то бедное событиями время явилась первоклассной сенсацией. О ней много говорили, о ней много писали газеты. Я помню, как в нашем доме за чайным столом на все лады обсуждались обстоятельства гибели «Русалки» и строились разнообразные теории для объяснения ее исчезновения. Но ничего объяснить они не могли, и тайна попрежнему оставалась тайной. «Русалка» была найдена только сорок лет спустя, уже в наши, советские, времена, Эпроном, но ее странная судьба оказала сильнейшее влияние на мое детское воображение, еще более обостряя мой интерес и мое увлечение морем и судостроением.

По приезде в Петербург отец стал работать в Институте экспериментальной медицины имени принца Ольденбургского, с которым, между прочим, тесно связан был покойный И. П. Павлов. Помню, как он был тронут, когда, встретившись с ним в 1935 году в Лондоне, я рассказал ему о моей родственной связи с этим научным учреждением. Иногда отец, по старой привычке, брал меня с собой в институт, но здесь мне нравилось меньше, чем в нашей скромной омской лаборатории. Здесь было слишком много людей и слишком узкое поле для моей активности, а потому скоро я прекратил свои визиты в институт.

Наша семья поселилась на Петербургской стороне. Квартира состояла из трех маленьких комнат и кухни, рас-

положенных в третьем этаже промозглого каменного дома. Окна выходили во двор; однако, на наше счастье, этот двор не походил на типичные петербургские дворы-колодцы, а был открыт с двух сторон и даже заканчивался небольшим садом с двумя клумбами и несколькими чахлыми деревьями. В целях экономии мать сама готовила и нанимала одну прислугу, которая и комнаты убирала и за детьми ухаживала.

Сразу же по приезде в Петербург я поступил в Веденскую гимназию, которая находилась в двух шагах от нашей квартиры. Гимназия эта по тем временам была большая, число учащихся в ней достигало пятисот человек, имелся ряд параллельных классов. В моем классе, например, было пятьдесят учеников. Два года, проведенные мной в Веденской гимназии, не оставили в моей памяти сколько-нибудь ярких следов. Учился я в общем легко и хорошо, часто бывал первым учеником и при переходе из первого класса во второй оказался единственным перешедшим без экзаменов и с первой наградой. В эти годы я больше всего увлекался географией и не только знал учебник на-зубок, но и много читал по данному предмету сверх программы. Кроме того, я очень любил рисовать карты, и если по выполнению они часто бывали далеки от совершенства, то зато работа над ними постепенно накапливала в моей голове большое количество точных сведений о конфигурации берегов и морей, о течении рек, о местоположении городов и горных хребтов. Эти подробные географические знания сослужили мне большую службу в моей последующей жизни.

К концу моего пребывания в Петербурге я очень заинтересовался астрономией. Толчком для этого послужила только что вышедшая тогда на русском языке книга немецкого профессора Клейна «Астрономические вечера», которую мне подарил отец. Я даже познакомился с переводчиком этой книги, неким С. Сазоновым, который казался мне тогда полубогом, обитающим на вершинах литературного Олимпа. Однако своей высшей точки моя страсть к астрономии достигла три-четыре года спустя, и я вернулся к этой теме несколько позднее.

Дома по усиленному настоянию матери я брал уроки игры на скрипке, но, как я уже раньше говорил, душа моя не лежала к этому инструменту, и я всячески отлынивал от серьезной учебы. Когда мать упрекала меня в



том, что я играю всего лишь час-полтора в день, в то время как Пичужка проводит за роялем по три часа, я задорно отвечал вычитанной откуда-то сентенцией:

— Шопен не позволял своим взрослым ученикам играть больше трех часов в день, чего же требовать с таких клопов, как мы с Пичужкой?

В Петербурге я впервые познакомился с театром. Помню, с каким необычайным волнением я шел с матерью на утренник, где исполняли «Горе от ума». И пьеса и игра произвели на меня огромное впечатление, и я долго после того не мог успокоиться. Позднее я видел «Миллион терзаний», «Мертвые души», «Плюшкина», «Две сиротки» (Ф. Коппе) и некоторые другие произведения. Чаше всего мать водила меня в театр Кононова — небольшой, бедный театр, где не было даже оркестра, но где тем не менее хорошо играли и хорошо подбирали пьесы. Замечательно, однако, что мои родители ни разу не свели меня ни в оперу, ни в балет. Насколько понимаю, они, следуя ригористическим традициям своей юности, считали эту форму театрального искусства недостаточно серьезной. Данный пробел в своем театральном образовании я с избытком наверстал спустя несколько лет, когда в 1901 году попал в тот же Петербург уже в качестве студента.

К описываемому периоду относится и начало моего более систематического и самостоятельного чтения. Родители нередко дарили мне книжки, по преимуществу научно-популярного характера. Я уже упоминал об «Астрономических вечерах» Клейна; к той же категории произведений надо отнести и ряд биографий крупных деятелей науки и техники, как, например, Галилея, Джордано Бруно, Стефенсона, Фультона и др., из популярной в то время серии «Жизнь замечательных людей» издательства Павленкова, которые мне покупали то отец, то мать. Трудно переоценить значение подобного чтения для свежего, впечатлительного детского ума. Одновременно, однако, я пристрастился к чтению иного рода, восхищавшему всегда мальчишек в возрасте десяти-двенадцати лет, — к чтению романов Майн-Рида, Фенимора Купера, Жюль Верна. В петербургский период меня больше всего увлекал Майн-Рид, и одно время мое воображение до такой степени было насыщено скальпами, томагавками, трубками мира, свистами войны, что даже во сне я воображал себя то «Твердой Рукой», то «Огненным Глазом», ведущим краснокожих

к победам над белыми. Вкус к Жюлю Верну развился у меня несколько позднее. Я перечитал почти все произведения этого изумительного пионера научной фантазии, но самое глубокое и длительное впечатление на меня произвели два его романа — «Таинственный остров» и «Приключения капитана Гаттераса». Чтение дополнялось слушанием публичных лекций на научно-популярные темы в существовавшем тогда в Петербурге так называемом Соляном городке. Это было хорошо организованное просветительное учреждение, около которого группировались крупные научные и литературные силы. Лекции были открыты для всех, вход стоил пять копеек. Отец часто водил меня на лекции, и я не раз сообщал о своих впечатлениях от них в письмах к Пичужке. Помню, что в числе других лекций я прослушал и такие: «Перелетные птицы», «Япония и японцы». «Полтавский бой».

Здесь же, в Петербурге, разыгралась и моя первая детская любовь. Я встретился с моей героиней в чахлом садике нашего дома. Она жила в этом же доме, но в другом крыле. По странной случайности судьбы она оказалась англичанкой, хотя выросла в России и говорила по-русски лучше, чем по-английски. Ей было девять лет, и звали ее Алиса Макферсон, а в детском просторечии: Аля. Чем занимались родители Али, не могу сказать, ибо за год до нашего знакомства они умерли. Аля находилась сейчас у своей тетки, муж которой имел ювелирный магазин на Большом проспекте, и жизнь маленькой девочки была нелегка. Тетка ее не любила, морила голодом и часто колотила. Нередко Аля появлялась в садике то с синяком под глазом, то с ссадиной на плече. Бывали дни, когда она совсем не показывалась во дворе. Это значило, что тетка слишком сильно ее избила и во избежание лишних разговоров заперла в комнате, пока не исчезнут следы колотушек. Алю нельзя было назвать красивой девочкой, но у нее было умненькое, подвижное лицо, живые голубые глаза и тоненький изящный нос, который она умела так забавно морщить, когда говорила о чем-нибудь серьезном. Худенькая, с длинными каштановыми волосами, заплетенными в две косы, она казалась мне верхом очарования.

Наш детский роман сразу же принял какой-то «птичий» характер. Я хорошо лазил по заборам и деревьям. Аля карабкалась, как кошка, по крышам и стволам. Обычно,

когда Аля появлялась в садике, мы оба забирались на сучья двух соседних деревьев и, расположившись там поудобнее, начинали длинные беседы... О чем?

Чаще всего мы отправлялись в совместное путешествие на замечательном корабле, который мной построен и на котором я являюсь капитаном. Мы пересекали моря и океаны и претерпевали тысячи самых изумительных приключений. Мы попадали в плен к краснокожим, которые хотели снять с нас скальпы, но благодаря нашей хитрости и моему красноречию вождь краснокожих, в конце концов, курил с нами трубку мира, и мы расставались лучшими друзьями. Потом мы попадали в Африку и сталкивались со львом, который хотел нас сожрать, однако я во-время попал леву в глаз из револьвера, и мы на память уносили с собой клоч львиной гривы. Потом нас захватывали каннибалы, и под дикие крики и пляски сбежавшегося племени над нашими головами уже заносились роковые ножи, но Алина красота вдруг размягчала сердце вождя людоедов, и он приказывал с почестями проводить нас до берега, где в ожидании уже стоял наш быстроходный корабль. В заключение, совершив чудеса храбрости и находчивости во всех концах мира, мы с торжеством возвращались в Петербург, и здесь злая тетка Катрин, от которой Але так много доставалось, потрясенная и пристыженная, склонялась к ее ногам и с раскаянием молила:

— Не погуби меня, Аличка! Не поминай прошлое лихом! Теперь буду служить тебе, как верная раба.

Однако реальная жизнь—увы!—слишком часто вырывала нас из мира наших фантазий и заставляла опускаться на землю. Это особенно часто случалось тогда, когда Аля выходила в сад со свежими следами теткиных побоев. В такие минуты в ее живых глазах то и дело сверкали с трудом сдерживаемые слезы, а мое десятилетнее сердце переполнялось острым чувством жалости к Але и одновременно чувством смертельной ненависти к ее мучительнице. В такие минуты мы с Алей подолгу и с сладострастием обсуждали планы «мести» Катрин за все ее преступления.

— Хочешь, Аля, я сейчас пойду к вам на квартиру, — грозно заявлял я, — и изобью Катрин? У меня есть хорошая палка.

— Нет, нет! Не надо, — хватала меня за руку Аля,

лучше меня понимавшая реальности жизни.— Катрин и тебя побьет, и мне еще больше достанется.

Но я не сдавался, брал палку и быстро направлялся к лестнице, по которой жила Аля. Аля бежала за мной, повисала у меня на шее и молила таким в душу проникающим голосом, что мое мужество не выдерживало, и я уступал.

— Я обо всем расскажу моему папе, — находил я выход из создавшегося затруднения, — он сильный, он избьет твою Катрин.

Но Але не улыбался и такой вариант: за Катрин заступится дядя, а он тоже сильный, очень сильный. Что тогда будет?.. Аля возлагала все свои надежды на какую-то тетю Мэри, которая жила в Англии, но которая должна приехать и забрать ее с собой. Вот только что-то тетя Мэри все не ехала...

Однажды в яркий весенний день, каких в Петербурге бывает немного, Аля вдруг прибежала в садик возбужденная, веселая, радостная. На ней было белое кружевное платьице с красными лентами, и вся она была точно олицетворение этого светлого весеннего дня.

— Тетя Мэри приехала! — закричала Аля еще издали. — Она подарила мне это платьице.

И Аля с тем инстинктивным, лукавым кокетством, которое является врожденным у каждой представительницы женского пола, стала вертеться предо мной, стараясь шегольнуть своей обновой.

— Мы завтра уезжаем в Англию, — продолжала Аля.

— Завтра? — насторожившись, спросил я. — Значит, ты больше не придешь играть?

Мои слова ошеломили Алю. События сегодняшнего дня, видимо, так ее взволновали, что она еще не успела осознать все их значение.

Она была так счастлива избавлению от злой Катрин, отъезд в Англию под этим углом зрения рисовался ей в таких радужных, только радужных, красках, что теперь мой простой вопрос подействовал на Алю, как струя холодной воды. Оживление ее сразу погасло, на живое личико набежала легкая тень.

— Приезжай ко мне в Англию! — вдруг с облегчением воскликнула Аля, точно найдя решение мучившей ее задачи.

— В Англию?—с недоверием повторил я. — Что мне в Англии делать? Мне и здесь хорошо.

В тот момент я, конечно, не мог предвидеть, что в дальнейшей жизни мне придется иметь немало дел с Англией, а потому с сознанием своей правоты я несколько сурово возразил:

— Нет, лучше ты приезжай к нам в Петербург! Я тебя подожду.

Всякий иной выход казался мне тогда диким. Но Алю не так-то легко было переубедить. Смущенно теребя свое белое платье, она хитро сморщила свой тоненький носик и упрямо повторила:

— Непременно приезжай! Мы будем лазить на деревья.

— А в Англии можно лазить на деревья? — с сомнением спросил я.

— Можно! Можно! Какой ты смешной! — расхохотавшись, откликнулась Аля.

Этот аргумент показался мне заслуживающим внимания.

— Ну, раз на деревья лазить можно, — ответил я, — пожалуй, я приеду.

Гармония вновь была восстановлена.

Через несколько минут Аля убежала домой. Тетя Мэри уезжала на другой день рано утром и пустила Алю в сад только попрощаться с товарищами. Больше я ее не видал. В течение нескольких дней после того, спускаясь в сад поиграть с мальчишками, я испытывал какое-то чувство непонятной пустоты, и мне все казалось, что вот-вот из-за угла появится худенькая фигурка Али. Но потом это прошло. Жизнь заравняла мою первую душевную трещину, как впоследствии она не раз заравнивала другие, гораздо более глубокие провалы.

#### *8. МОЙ ДЯДЯ ЧЕМОДАНОВ*

Мазилово — маленькая, заросшая садами деревушка возле Кунцева, под Москвой. На краю деревни — две большие, вновь срубленные крестьянские избы с некоторыми претензиями, рассчитанными на дачников: ставни с резьбой, небольшие террасы сбоку. Вокруг домов — кудрявые березы, а в домах — две семьи, приехавшие на лето отдохнуть. Это наша семья и семья младшей сестры моей

матери — Чемодановой. Народу много, и притом все очень молодого. В нашей семье пять человек детей, в семье Чемодановых — трое. Итого восемь. Сюда надо прибавить двух матерей, а также живущую с Чемодановыми старшую сестру моей матери, тетю Юлю. Всего, стало быть, одиннадцать. Впрочем, не совсем «всего». Правда, мой отец не в счет — он остался на лето в Петербурге производить опыты над кроликами в Институте экспериментальной медицины. Но зато в нашей дачной колонии есть еще один член, который бывает здесь бурными налетами: целую неделю он сидит в Москве, но зато в субботу вечером, тяжело нагруженный всякими пакетами, свертками, коробками, он бешено врывается в нашу тихую заводь, все здесь сразу закружит, взбудоражит, взволнует, выведет из равновесия, а в понедельник утром вновь исчезает от нас на целых шесть дней. Этот необыкновенный двенадцатый член дачной колонии в Мазилове — муж тети Лили, младшей сестры моей матери, Михаил Михайлович Чемоданов.

В обычные дни на неделе жизнь нашей колонии протекает приятно, но прозаично. Подымаемся в семь часов утра. Долго плещемся и балуемся за умыванием. В восемь часов садимся за стол — внушительное зрелище: три женщины и восемь ребят. Целиком заполняем терраску одного из домов, где обычно завтракаем и ужинаем. Для обеда отведена терраска другого дома. За утренним завтраком взрослые пьют чай с молоком, а мы, ребята, получаем сырое молоко с вкусными филипповскими калачами. Потом тетя Лиля — веселая, добрая, не лишенная юмора женщина — идет заниматься хозяйством. Дает распоряжения кухарке по обеду, прибирает комнаты и постели, чинит платица и штанишки ребят. Тетя Лиля — очаровательное существо, и она мне очень нравится. Я часто ловлю себя на мысли: кого бы я больше хотел иметь в качестве «мамы» — мою мать или тетю Лилю? И, по совести, не могу дать на этот вопрос вполне ясного ответа.

Тетя Юля обычно остается на террасе и начинает читать газету. Потом она присоединяется к тете Лиле и моей матери, которая часто помогает младшей сестре по хозяйству. Вплоть до обеда три сестры не перестают беззастыдливо болтать о городских новостях, о детях, о знакомых, о вздорожании молока, о служебных делах мужей, о новой постановке в театре. При этом тетя Лиля всегда все видит

в более легких, оптимистических тонах, а тетя Юля, наоборот, всегда все видит в более тяжелых, пессимистических тонах. Бедная тетя Юля! В молодости она отличалась изумительной красотой, да и сейчас, в свои сорок лет, она еще очень привлекательна. Ее муж, земский врач, — тот самый веселый мужчина, который купал меня двухлетним мальчишкой в днепровском лимане, — умер от чахотки несколько лет назад. Тетя Юля больше не вышла замуж, отказалась от личной жизни и вплоть до своей смерти, последовавшей уже в наши, советские, времена, она не расставалась с семьей Чемодановых. Эти личные неудачи наложили неизгладимый отпечаток на всю ее психологию. Вот почему и сейчас, в Мазилове, она во всем прежде всего видит темную, отрицательную сторону.

Тем временем мы, дети, развлекаемся, как можем. В нашей восьмерке есть три параллельные по возрасту пары. Я и Пичужка — старшие ровесники: нам по десять с половиной лет. Далее следует вторая пара — моя сестра Юленька и Пичужкин брат Мишук, обоим по восемь лет. Еще далее — мой брат Тося и Пичужкин брат Сергей, в обиходе именуемый Гуней, им по шесть лет. На этом параллелизм прекращается. Затем идут уже двое младших детей нашей семьи — сестра Валя четырех и брат Минька двух лет. Для игр комбинация подходящая. Играем парами, играем группами. Нанятая в деревне нянька лет двенадцати не то возится с младшими детьми, не то сама весело резвится со старшими. Строим крепости из земли, устраиваем запруды на маленьком ручье, играем в лапту, в пятнашки, в «гуси-лебеди, домой». Иногда совершаем небольшие прогулки по полям и лугам, окружающим Мазилово. Хорошо! Солнце, небо, свежий запах травы, легкий свист ветра. Загораем, грубеем, крепнем, растем. Все ноги в синяках и ссадинах, но зато в маленькие организмы наши ведрами вливается трепещущее здоровье.

В полдень обед. С аппетитом едим щи или окрошку, уплетаем за обе щеки на десерт чудно пахнущую лесную землянику. Потом опять поле, опять игры и беготня до вечернего чая, а потом постель и крепкий, непробудный сон детства.

Так проходил день за днем. Я не помню, чтобы в это лето в Мазилове я много читал. Я просто жил растительной жизнью, накапливал здоровье, отдыхал от гимназии...

В субботу вечером все мгновенно переворачивалось. Из

города приезжал дядя Миша, как мы звали Лилиного мужа, и с ним точно буря налетала.

Невысокого роста, коренастый, с блестящими карими глазами, с нечесаной черной бородой и гривой торчащих в разные стороны черных волос, дядя Миша был олицетворением живости, подвижности, энергии. Он сам громко, заразительно смеялся и любил, чтобы и все кругом тоже смеялись. Он всегда был полон страшно интересных мыслей, предложений, планов, проектов. Его голова все время быстро работала, как какой-то умственный мотор. Влетая в дом и наскоро целуясь с взрослыми и ребятами, дядя Миша сразу же кричал:

— Детишки, завтра утром идем на плотину рыбу удить! Я удочки привез.

Мы реагировали, конечно, радостными возгласами. А дядя тут же продолжал:

— Только чур у меня не плакать! Кто заплачет, брошу в пруд, на удочку ловить буду.

Мы отвечали дяде взрывами хохота. Потом дядя начинал всех нас тормошить — в куче или поодиночке. Боролся со мной, носил на шее маленького Миньку, таскал подмышками Юленьку и Гуньку и вообще проделывал бездну всяких шалостей и глупостей, приводивших нас, ребят, в самый дикий восторг.

Рано утром в воскресенье старшие дети действительно отправлялись с дядей Мишей на рыбную ловлю, или на Чортов Мост, или в какую-либо дальнюю прогулку за Москва-реку, или на ярмарку, только что открывшуюся в соседнем селе, где так весело было кружиться на карусели и где продавались такие вкусные пряники. Эти экскурсии с дядей были для нас ни с чем несравнимым наслаждением. Потом мы возвращались домой, после обеда дядя ложился прикорнуть на часок, а дальше... дальше он либо рассказывал нам какие-либо страшно интересные истории, которые мы слушали, затаив дыхание, либо принимался за карандаш. Дядя отличался большим художественным талантом, и под его кистью на наших глазах с необычайной легкостью вырастали дома, поля, горные хребты, морские пейзажи. Все выходило, как живое. Помню, однажды был серый, дождливый день, с хмурым небом и быстро бегущими облаками. Мокрые галки сидели уныло на деревьях. Из окон нашей дачи видна была разбитая деревенская дорога, превратившаяся в сплошное море грязи. За ней



открывалось широкое желтое поле колосющейся ржи. Природа навевала тоску, грусть и скуку. И мне было тоскливо, грустно и скучно. Мы никуда не ходили, и дядя с утра занялся рисованием. Он выглянул в окно и что-то невнятно хмыкнул про себя. Потом взял кусок ватманской бумаги и краски.

— Дядя, неужели тебе интересно рисовать эту грязную дорогу? — изумился я. — Что в ней красивого?

— А почему бы и нет? — откликнулся дядя. — Вот погоди, пока я окончу.

Дядя быстро заработал кисточками, от времени до времени пристально поглядывая в окошко. Через час картина была готова. Я взглянул на нее и ахнул. Предо мной лежал прелестный акварельный пейзаж, и даже эта грязная, разбитая дорога выглядела на нем какой-то глубокой и интересной. Дядя с улыбкой наблюдал эффект, произведенный на меня его работой, и затем прибавил:

— Художник может и из грязи сделать чудо красоты. В живописи важно не только то, что нарисовано, но и как нарисовано. То же и вообще в искусстве.

Тогда я не вполне осознал значение этих слов. Сколько раз позднее я имел случай убедиться в их глубокой правильности!

От того далекого счастливо-детского лета у меня сохранилось одно яркое воспоминание.

Однажды дядя Миша пошел с нами в большую прогулку. Мы долго бродили по полям и лугам, окружавшим Мазилово, долго продирались сквозь чащу густого леса, весело сбегавшего к Москва-реке, долго шли вверх по течению вплоть до села Крылацкого. По дороге мы зашли в сторожку лесника, где выпили по стакану молока с вкусно пахнущим черным хлебом. В Крылацком мы купили в лавочке мятных пряников. Потом двинулись в обратный путь и на полдороге, у реки, решили сделать маленький привал для краткого отдыха. Нас было четверо старших ребят, и мы вволю побродили босыми ногами в воде и насладились вдоволь, швыряя камешки «блинками». Когда мы, наконец, очнулись и подумали о продолжении пути, дяди Миши на месте не оказалось. Вначале мы решили, что он находится где-нибудь за прибрежными кустами и с минуты на минуту вернется. Однако наше ожидание не оправдалось. Прошло минут пятнадцать — дяди Миши не было. Прошло полчаса — дяди Миши не было. Прошел

час — дяди Миши все не было. Мы не знали, что подумать. Уже вечерело, а до дому еще было далеко. Вдобавок, мы толком не знали дороги, да и дорога-то пролегла через большой темный лес, итти по которому сейчас, на закате солнца, было жутковато. Ну куда же все-таки мог деваться дядя? Мы кричали ему, звали его, просили откликнуться — без всякого результата. Мы тревожно обходили близлежащие кусты и полянки — тоже без всякого результата. Дядя точно сквозь землю провалился. Смущенные, встревоженные, с заметно упавшим настроением, мы, четверо клопов, устроили тут же на берегу «военный совет» и подвели итоги.

— Не могли же черти его унести! — полусерьезно, полуиронически воскликнул я.

— Конечно, нет! — откликнулась Пичужка. — Но что же все-таки делать?

— Что делать? — несколько задорно повторил я. — А вот что! Я—самый старший, я и поведу вас домой. А вы слушайте и идите за мной. Только чтобы не отставать и не нюнить! И когда через лес пойдем, чур не бояться!

Все поклялись, что не будут ни отставать, ни нюнить, ни бояться, и затем наша маленькая партия решительно тронулась в путь. Едва, однако, мы успели сделать шагов тридцать, как вдруг на повороте тропинки перед нами предстал... дядя Миша, взъерошенный больше, чем обыкновенно, с какой-то примятой бородой, но сам собой, собственной особой. Мы все с восторгом бросились к нему.

— Где ты пропадал? Куда ты девался?

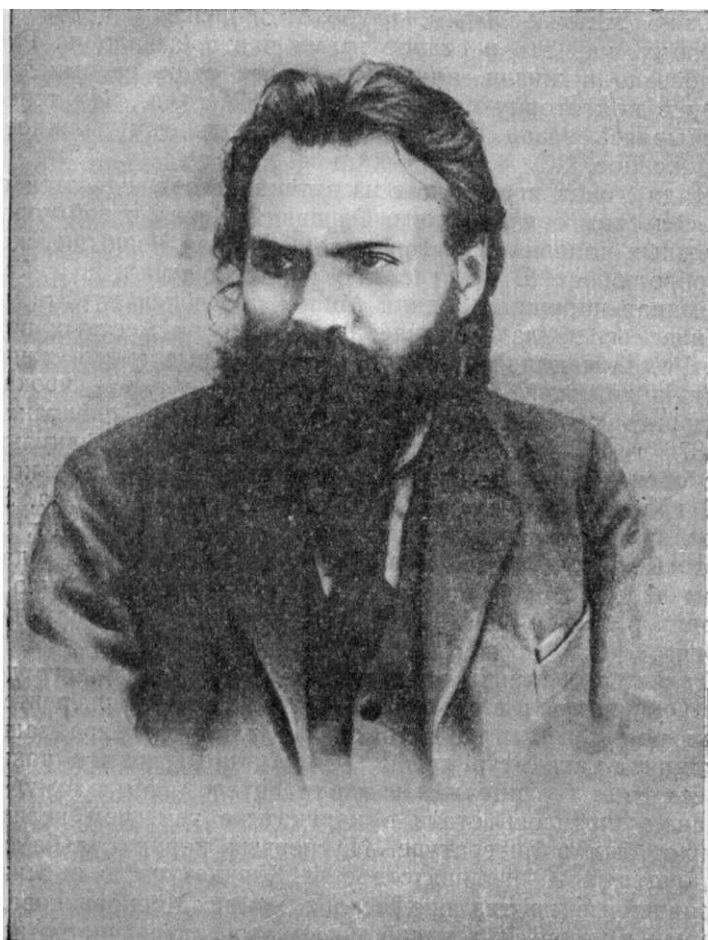
Дядя с улыбкой смотрел на нас.

— Никуда не девался! Я все время тут был.

— Не может быть! Мы все кругом обыскали.

Но дядя был совершенно прав. Оказывается, ему пришла в голову мысль проверить наши детские мужество и находчивость. Пока мы играли в воде, он спрятался за близлежащими кустами и оттуда внимательно следил за всеми нашими действиями и словами. Он слышал все, в том числе и мое восклицание о том, что не могли же унести его черти. Когда мы тронулись в путь, дядя решил, что опыт закончен.

— Выдержали экзамен, ребятки, — как-то особенно мягко проговорил дядя и с непривычной нежностью погладил меня по голове.



*Мой дядя М. Л. Чемоданов.*

Впрочем, дядя Миша был не только чудесный дядя, который вносил столько радости и оживления в дачную жизнь своих детей и племянников. Дядя Миша был действительно замечательным, глубоко одаренным человеком, которому, как это в старое время часто бывало на Руси, не повезло в жизни, но который внес свою несомненную лепту в подготовку революции 1905 года. И теперь, оглядываясь назад, мне хочется воздать ему должное и заслуженное.

Дядя Миша происходил из вятских лесов, где отец его был сельским священником. Он принадлежал к той породе мятежных поповичей, которые дали России Чернышевского и Добролюбова. В детстве я этого не понимал, но сейчас, вспоминая наружность дяди Миши, я склонен думать, что в жилах его была изрядная примесь крови местных вотяков. Родился дядя в 1856 году. На медные гроши кончил вятскую гимназию, пробиваясь главным образом уроками и разрисовкой декораций для любительских спектаклей. В 1876 году дядя поступил на медицинский факультет Московского университета, который кончил только в 1882 году, с запозданием против нормы на два года. Это запоздание проистекало отнюдь не из лени. Наоборот, оно явилось результатом усердия, большого усердия дяди в том деле, которому он отдал лучшее, что в нем было, — усердия в борьбе за освобождение России от ига самодержавия.

Талант художника обнаружился у дяди с раннего детства. Он рисовал в гимназии, он рисовал в университете. От природы он был наделен острым, ядовитым карандашом художника-карикатуриста, и Салтыков-Щедрин с ранней юности стал его идеалом и вдохновителем. Молодому Чемоданову хотелось стать в карикатуре тем, чем великий сатирик был в литературе. На первых порах судьба ему как будто бы благоприятствовала. Карикатуры дяди Миши, направленные против профессора химии Морковникова, с которым в конце 70-х годов московское студенчество вело борьбу, в немалой степени способствовали уходу профессора и вместе с тем создали известность их юному автору. Результатом было приглашение работать в юмористических журналах тогдашней Москвы. В начале 1880 года дядя Миша становится сотрудником сатирического органа «Свет и тени», издававшегося Н. Л. Пушкаревым. Он страшно увлекается этой работой и, наряду с медицинской

учебой, просиживает ночи над бьющими, остро отточенными карикатурами на животрепещущие темы. Тем сколько угодно, а вдохновение молодого художника поистине неиссякаемо. Но чем злее, беспощаднее становится карандаш карикатуриста, тем свирепее делается царская цензура. И, наконец, с высоты бюрократического Олимпа внезапно раздается удар грома.

Вскоре после убийства Александра II, произведенного террористами-народовольцами 1 марта 1881 года, дядя Миша помещает на страницах «Свет и тени» прогремевшую в то время карикатуру. На рисунке изображен большой стол, покрытый зеленым сукном, и стоящий на нем обычный канцелярский прибор с двумя чернильницами. В каждую из чернильниц вертикально воткнуто гусиное перо. Над перьями хитрой вязью сделана надпись: «Наше оружие для разрешения насущных вопросов». На первый взгляд, как будто бы довольно беззубая издевка над бюрократическим бумагомаранием. Но присмотритесь к перьям и надписям внимательно, и вы откроете в их очертаниях что-то совсем иное. Вы увидите виселицу с петлей, и силуэты солдат, бьющих в барабаны, несущих розги, целящихся из ружей. Так вот каково истинное оружие» царского правительства «для разрешения насущных вопросов»!

Старик-цензор, смотревший карикатуру, не заметил ее внутреннего яда и пропустил. Начальство повыше открыло злоумышленный замысел художника и пришло в ярость. Старик-цензор за несколько месяцев до пенсии был отставлен от службы, а журнал «Свет и тени» закрыт. Дяде же Мише пришлось спешно эвакуироваться из Москвы. Он как-то рассказывал об этом эпизоде:

— Условились с Пушкаревым рисовать на животрепещущие темы... вот и доживотрепетался до виселицы!

Однако дядя Миша не угомонился. Из Москвы он попадает в Тифлис, где в то время издавался юмористический журнал «Фаланга», старавшийся насадить в России политическую карикатуру. Чемоданов с бешеной страстью вновь бросается в борьбу. В течение нескольких месяцев он колет, жалит, до крови кусает царскую реакцию на страницах «Фаланги» — и опять внезапный удар грома с бюрократического Олимпа: наместник Кавказа закрывает журнал «за представление цензуре статей и рисунков, неудобных к печатанию и по направлению вредных». Но

«Фаланга» не хочет умирать и спустя короткое время возрождается в форме журнала «Гусли». Однако цензура тоже не хочет умирать, и очень скоро ее дамоклов меч обрушивается и на «Гусли»: в июле 1882 года они замолкли навсегда.

Дядя Миша опять в Москве. Он кончает свой сильно затянувшийся университет, но душой живет теперь в редакции юмористического журнала «Будильник», где в то время собралась совсем не плохая компания: В. Дорошевич, поэт В. Гиляровский («Дядя Гиляй»), юморист П. Сергеевко (впоследствии толстовец), начинающий художник Левитан, начинающий писатель Чехов, выступающий под псевдонимом «Антоша Чехонте». Вплоть до конца 80-х годов дядя Миша, выступающий под псевдонимом М. Лилии (в честь тети Лили), ведет на страницах «Будильника» отчаянную борьбу с надвигающейся беспросветной политической реакцией. Его карикатуры этого периода являются критической летописью тогдашней русской жизни. Расслоение крестьянства, крепнущая буржуазия города и деревни, дикий произвол самодержавия, бессилие земской медицины и учительства в борьбе с темнотой народа, трусость и продажность печати — все это и многое другое остро, реалистически показано в рисунке Чемоданова.

Но тучи на политическом горизонте России становятся все гуще, общественная атмосфера все душнее, цензоры все придирчивее и свирепее. На читательском рынке спрос растет на легкую, обывательскую юмористику с ловлей женихов, травлей злополучной тещи, супружескими изменами и т. п. Дядя Миша не может и не хочет скатиться в это болото пошлости и оскудения, и он решает бросить карандаш карикатуриста. В одной из тетрадей Чемоданова есть такая запись:

«Я хотел быть врачом, но думал врачевать не отдельных индивидуумов, а общественные язвы, и орудием исцеления я избрал не скальпель, а перо и карандаш... Да, орудие сатиры было когда-то заманчиво для меня, я мечтал быть Щедриным в своей карикатурной деятельности. Но беспощадная цензура обрезала крылья, и я, убежденный в бесполезности или, по крайней мере, в ничтожной полезности своей карикатуры при настоящих цензурных условиях, складываю излюбленное оружие и переменяю перо и карандаш на скальпель и стетоскоп».

Это трагический документ. Но он был продиктован чер-

ной реакцией безвременья конца 80-х годов, той самой реакцией, которая окрасила в такие мрачные тона и творчество Чехова.

Дядя Миша покидает Москву и едет на родину, в Вятскую губернию, где работает в глухом селе в качестве земского врача. Потом он опять возвращается в Москву и за двадцать пять рублей в месяц (!) становится ординатором знаменитого в то время профессора Склифасовского. Одновременно он дает блестящие иллюстрации к учебнику анатомии профессора Зернова. Потом он увлекается областью зубо врачевания и становится ее фанатиком. В течение ряда лет он редактирует журнал «Одонтологическое обозрение», работает на Высших зубо врачебных курсах, читает доклады в различных научных обществах и на съездах. Вместе с тем дядя Миша становится одним из самых популярных дантистов в Москве. В его приемной всегда длинная очередь больных — нередко самых именитых граждан города, — которые терпеливо ждут часами. Пациенты, а особенно пациентки, приходят к доктору с работой, с книгами, с вязанием, с вышиванием, приносят бутерброды и фрукты, располагаются по-домашнему, знакомятся, судачат, занимаются сплетнями и флиртом. По Москве в то время ходил рассказ, как двое молодых людей, познакомившись на приеме у дяди Миши, за время лечения зубов пережили страстный роман, закончившийся счастливым браком. Дядя Миша был посаженным отцом у них на свадьбе.

По натуре Чемоданов был человек крайне беспорядочный, но работать любил «на совесть». Поэтому с каждым пациентом он возился долго и обстоятельно. А так как пациентов было много и дядя органически не способен был выдерживать точные сроки, то в его порядке дня получался невероятный хаос. Больных он начинал принимать с семи часов утра, кончал работу поздней ночью. Спал несколько часов, питался урывками и в совершенно неположное время. Сплошь да рядом он до такой степени утомлялся, что, садясь один (вся семья уже спала) часа в два ночи поесть, он засыпал за столом с непережеванной пищей во рту. Тетя Лиля рассказывала, что однажды крыса (которых вообще в доме было много) вскочила на стол и откусила половину котлеты, торчавшей из дядиного рта. Но дядя спал и ничего не заметил.

Так проходят годы, 90-е годы.

Но вот в политической атмосфере России начинают дуть

все усиливающиеся революционные ветры. В темносвинцовом своде неба все чаще образуются прорывы, сквозь которые на землю падают лучи солнца. Почва под ногами царизма колеблется. В народных массах, и прежде всего в рядах пролетариата, нарастают все большие беспокойство, волнение, воля к борьбе за освобождение. Идет 1905 год. И в душе дяди Миши, как в полупотухшем костре под слоем пепла, вновь начинает разгораться тот боевой дух, который согревал его в молодости. Чемоданов никогда не был строго партийным человеком. В дни «Света и тени» он отражал настроения революционного народничества, но и тогда он не был «народником» в тесном смысле этого слова. В годы безвременья он, подобно моим родителям, стал одним из тех левых, прогрессивных, антицаристски настроенных интеллигентов, которые, если можно так выразиться, представляли собой «легальную оппозицию» самодержавию. И теперь, когда первые удары революционной грозы разбудили в дяде Мише его старые боевые инстинкты, он сначала выходит на арену в качестве революционного одиночки. Он ходит на все митинги и собрания, он собирает деньги и подписывает адреса и петиции, он говорит на съездах и требует освобождения арестованных. Но он не записывается ни в одну из партий. Мало-помалу, однако, события и собственные настроения начинают все больше толкать Чемоданова туда, где горячее всего кипит борьба против самодержавия. Дядя Миша сближается с московскими большевиками. Он становится сторонником вооруженного восстания. И тут он вновь возвращается к своему острому и убийственному оружию — карандашу. Он выпускает целую серию талантливо сделанных политических открыток, которые с несравненной силой наносят удары царизму, реакции, генералу Трепову, «реформатору» Булыгину и ядовито высмеивают трусливо-соглашательскую позицию либеральной буржуазии. Заканчивается эта серия замечательной, истинно пророческой карикатурой: царь пляшет на груде черепов, и рядом тот же царь на виселице. Подпись гласит: «Допляшется». Эти революционные открытки тайно печатаются в одной из московских фотографий, распространяются в десятках тысяч экземпляров и приносят значительный доход, который идет в кассу Московского комитета большевиков и в политический Красный крест.

Но вот революция на отливе. Потрясенный царизм вре-



менно возвращает себе власть. Начинается дикая расправа со всеми врагами самодержавия. Ее жертвой становится и дядя Миша. Два обыска. Арест. Бутырская тюрьма. Крупозное воспаление легких, схваченное в сырой, холодной камере. Выпуск на поруки умирающего заключенного. Отчаянные попытки семьи и друзей предотвратить роковой конец. Но уже поздно: царские палачи умеют делать свое дело.

В январе 1907 года дядя Миша умер в возрасте всего лишь пятидесяти двух лет.

Его имя, по справедливости, должно занять одно из видных мест в истории русской политической карикатуры. Издание сборника лучших произведений Чемоданова явилось бы полезным вкладом в библиотеку развития русской общественно-революционной мысли.

Мое первое более близкое знакомство с Чемодановым произошло в Мазилове, когда мне было немногим больше десяти лет. В дальнейшем, вплоть до поступления в университет, я не раз подолгу и часто сталкивался с ним то в Москве, то в Омске. И когда сейчас, вспоминая свои детство и раннюю юность, я стараюсь установить те влияния, которые сделали меня революционером, я с благодарностью думаю о дяде Мише. В моем духовном развитии он сыграл далеко не последнюю роль.

#### **9. НА АРЕСТАНТСКОЙ БАРЖЕ**

Осенью 1895 года наша семья вернулась из Петербурга в Омск (на этот раз мы ехали уже по Сибирской железной дороге, которая в то лето дошла до Омска), а весной следующего, 1896 года мой отец был назначен сопровождать арестантскую баржу, ходившую между Тюменью и Томском, и опять взял меня с собой в командировку.

В те годы транспортировка осужденных из Европейской России в Сибирь несколько видоизменялась в зависимости от времени года. Зимой этапы доставлялись поездами до последнего железнодорожного пункта — Челябинска. Отсюда пешим порядком они шли на восток по маршруту Омск — Томск — Иркутск — Чита и т. д., вплоть до Сахалина. Летом этапы доставлялись поездами до Тюмени, отсюда водой переправлялись в Томск и уже от Томска шли тем же пешим порядком на Иркутск — Читин и т. д. В связи с этим летом между Тюменью и Томском регулярно

курсировали два парохода, которые водили за собой по одной арестантской барже. На такой барже имелись камеры для содержания преступников, забранная железной решеткой открытая палуба, помещение для конвойной команды человек в тридцать пять и две-три каюты для маленького лазарета. Баржу сопровождали начальник конвойной команды и врач для оказания медицинской помощи в пути. Маршрут от Тюмени до Томска шел по рекам Туре, Тоболу, Иртышу, Оби и Томи. Длина его составляла три тысячи верст. Весь путь покрывался в восемь-девять суток. За летний сезон баржа успевала сделать в среднем семь оборотов и перевезти, как я уже упоминал раньше, до тысячи арестантов — в тот период почти исключительно уголовных. Вот на такую-то баржу я и попал в мае 1896 года.

Мне было двенадцать лет. Я только что перешел о четвертый класс гимназии и чувствовал себя почти героем. Жадными, любопытными глазами я смотрел на мир, я жаждал новых мест, новых людей, необыкновенных событий, приключений. Легко себе представить, с какими чувствами я ступил на борт арестантской баржи. Я весь был упоение и ожидание. Я заранее широко открывал свою душу восприятию тех новых, исключительных впечатлений, которые, как мне казалось, должно подарить мне это замечательное лето. Я не ошибся: впечатлений оказалось много, и, как всегда в жизни, приятных и неприятных попеременно.

Начну с неприятных. Прежде всего это был начальник конвойной команды капитан Феокистов. Он не понравился мне с первого взгляда. Феокистов был высокий бравый мужчина с острыми иголочками нафабранных усов, с красивым наглым лицом, на котором всегда лежало выражение петушиного задора и наивной самовлюбленности. Феокистов ловко пристукивал каблуками, крепко выпивал, любил хорошо поесть, поиграть в картишки, смачно рассказать похабный анекдотец. «Дамочки» были его особая слабость, и говорить о них он мог часами. На конечных остановках — в Тюмени и Томске, где наша баржа обычно стояла дня по два, Феокистов всегда пропадал в каких-то подозрительных притонах, откуда его привозили на извозчике, красного и полувменяемого, за несколько минут до отхода парохода. В пути он любил выходить на пристанях, сально балагурить с крестьянами и покровительственно пощипывать смазливых «чалдонок». Подвыпивши, Фе-

окистов появлялся на палубе в расстегнутом кителе и, брэнча на гитаре, распевал:

Выхожу я из палатки,  
Месяц светит во все лопатки  
Ты скажи мне, ветер бурный,  
Скоро ль буду я дежурный?

Это «глубокомысленное» четверостишие повторялось несколько раз подряд. Потом Феоктистов впадал в меланхолическое настроение, принимал томную позу и переходил на элегию:

Вянет лист, проходит лето,  
Иней серебрится, —  
Юнкер Шмидт из пистолета  
Хочет застрелиться.

На первых порах Феоктистов пытался завести со мной дружбу, зазывал к себе в каюту, пробовал подпаивать, но из его усилий ничего не вышло. Отец от Феоктистова тоже сторонился, так что под конец его единственным обществом на барже стал старый ротный фельдшер, горький пьяница и картежник, с которым бравый капитан обычно «резался» в карты до глубокой ночи.

Другим тяжелым впечатлением, но уже несколько иного порядка, были пассажиры нашей баржи — уголовные арестанты. Мужчины и женщины, старые и молодые, наглые и забитые, мрачные и веселые, в кандалах и без кандалов, — все они шумной, серой, беспокойной толпой заполняли трюмные камеры, кричали, ссорились, свистели, плакали, били вшей, валялись на палубе, играли в карты, доходили до поножовщины. Помню, во время одного из рейсов среди осужденных произошла какая-то темная ссора, в результате которой на следующее утро пожилой арестант, шедший на поселение, был найден мертвым, с проломленной головой. Несмотря на все крики и зуботычины Феоктистова, несмотря на карцерный режим, введенный им после этого на барже, виновных так и не удалось обнаружить: «Иваны» крепко держали в своих руках всю арестантскую массу. Отец как раз в это лето производил свои измерения «преступных черепов», о чем я упоминал выше, и я помогал ему в этой работе. Каждый день конвойные солдаты приводили в лазарет по нескольку арестантов для исследования. Взятые в одиночку, они были людьми, индивидуумами. Некоторые из них казались даже приятными

и интересными. Однако в общей массе арестанты производили гнетущее, тоскливое, беспросветное впечатление, и вместе с тем рождали у меня — я тогда никак не мог понять, почему, — ощущение какой-то душевной неловкости, точно я был в какой-то мере ответственен за их горькую судьбу.

Таковы были тени. Но наряду с ними был свет. Много света!

Едва я ступил на баржу, как вновь ожила моя старая страсть к воде, к кораблям, к судоходству. Я сразу же перезнакомился с командой и завел дружбу с водоливом и штурвальными. Всего на барже было человек восемнадцать, и все они происходили из одного и того же места — села Истобенского, Вятской губернии. Не знаю, почему так повелось, но только и те годы все западносибирское пароходство, бороздившее воды бассейна Оби и Иртыша, было укомплектовано выходцами из этого знаменитого села или его окрестностей. Зиму они проводили у себя дома, в Вятской губернии, а с весны направлялись на реки Западной Сибири и плавали здесь до глубокой осени. «Истобенцы» представляли собой своеобразный «клан», крепко держались друг за друга, свято хранили свою «монополию» и дружно сживали со света всякого «чужака», пытавшегося проникнуть в их твердыни. То же самое было и на нашей барже. Водолив (то есть капитан баржи), Михайло Егорович, — коренастый мужчина лет пятидесяти, с заметной полнотой и чисто русским лицом, обрамленным широкой седеющей бородой, — не произвел на меня большого впечатления. В дальнейшем мои отношения с ним все время оставались внешне дружественными, но внутренне формальными. Зато двое штурвальных, стоявших по очереди за рулем, мне очень понравились, и один из них — Василий Горюнов — сразу завоевал мое сердце. Это был уже пожилой человек, с вихрастыми волосами, сумрачным лицом и сеткой глубоких морщин на лбу. На первый взгляд он мог показаться неприятным мизантропом, но достаточно было как-нибудь увидеть его улыбку — детски-ясную, искреннюю, обворожительную, — чтобы сразу почувствовать, что вы имеете дело с натурой редкой доброты и благородства, которой бури жизни нанесли не один тяжелый удар. В Горюнове невольно чувствовалась какая-то невысказанная внутренняя печаль, но я только позднее понял, откуда она происходила. Товарищи с оттенком

сдержанного почтения говорили, что «Васька книжки читает», и часто спрашивали у него совета по разным недомысленным вопросам. Действительно, Горюнов очень любил читать. В его каютке можно было найти много дешевых популярных изданий, все больше по естественной истории, географии, астрономии. Особенно Горюнова увлекали великие мореплаватели, путешественники, открыватели новых земель. Почему-то его воображение особенно воспламенил Васко де-Гама. К случаю и не случаю Горюнов любил повторять это имя, прислушиваясь к звукам его, как к музыке.

— Васко де-Гама! — часто, как бы невзначай, говорил Горюнов, склоняя голову набок. — Вот это да! Настоящий мореплаватель! Что надо!

С молчаливого разрешения водолива я быстро превратился в юнгу-добровольца на барже. Я облазил все углы и закоулки баржи, изучил снасти, овладел секретами сигнализации, знал, как надо бросать «легость», как отдавать и принимать «чалки»<sup>1</sup>, как спускать и поднимать якорь. Но больше всего мне нравилось стоять рядом с Горюновым в штурвальной рубке и, внимательно следя за вечно меняющимся течением реки, помогать ему в работе рулевого. Мало-помалу я так втянулся в эту работу, обнаружил такие успехи в умении быстро и во-время поворачивать штурвальное колесо, что Горюнов стал доверять мне управление баржей. Не то, чтобы он уходил из рубки и оставлял меня за рулем одного, — конечно, нет! Это было бы слишком рискованно. Но все чаще он бросал, обращаясь ко мне:

— На, покрути, Ванюшка!

И затем, когда я, страшно польщенный, становился, как «всамделишный» моряк, за штурвальное колесо, Горюнов отходил в угол рубки, сворачивал козью ножку и, слегка попыхивая цыгаркой, подолгу стоял, задумчиво глядя впе-

<sup>1</sup> В то время на западносибирских пароходах применялась такая система причала: когда пароход приставал к берегу, с борта на берег сначала бросалась длинная тонкая веревка с грузилом на конце, которую там ловил береговой матрос и начинал быстро тянуть ее к себе. Тонкая веревка, в свою очередь, была привязана к тяжелому канату с петлей. Вытянув тонкую веревку, береговой матрос затем вытягивал и тяжелый канат и закидывал его петлю на врытую в землю тумбу или же просто на какой-либо поблизости расположенный пень. После того пароход подтягивался к берегу по канату и закреплялся в определенном положении. Тонкая веревка именовалась «легостью», толстый канат назывался «чалкой».

ред, туда, где, клубясь и туманясь, медленно бежали навстречу темные широкие воды и поросшие лесом обрывистые крутояры.

Кругом была дикая и могучая природа. Гигантские реки, дремучая тайга, бесконечная линия берегов, широкое белесоватое северное небо, которое по ночам так ярко отражалось своими звездами в потемневшей глади воды. И нигде, почти нигде, не было человека! Изредка под крутояром мелькнет маленькая рыбацья деревушка, изредка пробежит группа островерхих остяцких чумов, прилепившихся на плоском берегу песчаного острова, изредка покажется струйка синеватого дыма над какой-либо одинокой хижиной... И опять — вода, лес, небо, острова, стаи птиц, пустынные берега, дикие звери... Я помню случай: медведица с несколькими медвежатами выскочила из тайги к воде, и долгими, удивленными взглядами они провожали бежавший мимо пароход. И так день за днем. Казалось, мы плывем в бесконечность...

В памяти у меня осталось село Самаровское... Здесь два сливающихся могучих потока — Обь и Иртыш — образуют острый гористый мыс, весь заросший диким сосновым лесом. По шаткой деревянной лестнице, специально устроенной для проезжавшего через Самаровское в 1891 году наследника престола — впоследствии Николая II, — мы с отцом поднялись на вершину мыса. Картина, открывшаяся нашему взору, была поразительна. Слева шла широкая, в несколько километров, желто-серая полоса Иртыша, справа катила свои мощные темнобурые воды Обь. Обе гигантские струи сливались, но далеко, насколько хватал глаз, можно было ясно видеть линию водораздела. Как широка была здесь река? Мне она казалась безбрежной. С высоты мыса видна была только вода, вода, вода... Кое-где слегка туманились плоские острова, поросшие ивняком... И дальше, под самым горизонтом, с трудом различалась синеватая линия другого берега. Это было точно море.

— Сколько верст наперерез? — спросил отец, сделав широкий жест в сторону реки.

Сопровождавший нас пожилой крестьянин как-то замысловато сплюнул, потер себе переносицу и, пожав плечами, ответил:

— Верстов восемнадцать будет... В волну и... и... не пробуй! Все одно забьет.

Мы долго не могли оторваться от этого величавого зрелища...

Раз в сутки наш пароход, носивший название «Галкин-Врасский», останавливался где-нибудь около более крупного селения для того, чтобы взять дрова. В течение двух-трех часов матросы торопливо бегали с парохода на берег и обратно, таская на носилках большие охапки этой обязательной для пароходной машины пищи. Пассажиры, которые иногда бывали на пароходе, а также «свободное» население нашей баржи (то есть офицер, врач, фельдшер, матросы, солдаты конвойной команды) пользовались этим временем, чтобы немного «размять ноги», бродили по деревне и ее окрестностям, осматривали местные достопримечательности, покупали на импровизированном базаре у ядреных, толстолицых «чалдонок» молоко, шаньги, ягоду, рыбу, жареную птицу.

Впрочем, у моего отца на пристанях часто оказывалось совсем особое дело. Медицинская помощь населению в то время была поставлена очень плохо. На сотни верст в округности не бывало ни врача, ни больницы. Прибрежные жители знали, что с арестантской баржей всегда плывет «дохтур». И едва мы успевали пристать к берегу, как к отцу устанавливалась длинная очередь пациентов. Конечно, строго формально он не обязан был их лечить. На этом основании некоторые коллеги отца, также плававшие на арестантских баржах, просто «гнали в шею» приходивших на остановках больных. Но отец считал, что медицинские знания ему даны для того, чтобы служить народу, — и потому наша баржа на пристанях превращалась в приемную врача, густо набитую народом. Отец старался делать, что мог. Бывали замечательные случаи.

Помню, в селе Демьянском, на Иртыше, отца позвали на трудные роды. Матери и ребенку грозила смерть. Отец вступил в упорное единоборство с природой. Час проходил за часом. Погрузка дров уже кончилась. Пароход должен был уходить. Капитан посылал к отцу одного гонца за другим, требуя его возвращения на баржу. Но отец отправлял их каждый раз назад с одним и тем же ответом: «Сейчас», а сам продолжал оставаться на месте «боя». В результате пароход опоздал на три часа, но зато мать и ребенок были спасены.

В другой раз дело происходило в Сургуте — крохотном уездном городке, расположенном при впадении реки Вах

в Обь. К отцу привели уже немолодого остяка, которого в тайге, дня за два перед тем, сильно «поцарапал» мишка. Рана была ужасная: вся кожа, с волосами, была содрана с верхней части головы рассвирепевшим медведем, его могучие лапы оставили ясные следы и на черепной коробке охотника. Все это было густо залито запекшейся кровью и замотано какими-то грязными, слипшимися тряпками. Остяк почти лишился чувств, пока отец освобождал его рану от этих тряпок. Потом отец произвел обследование, прочистил, промыл рану, насколько возможно было, привел в порядок черепную коробку, забинтовал голову и, наконец, дал пострадавшему некоторые простейшие указания насчет дальнейшего поведения. Отец был, однако, далек от оптимизма.

— Сомневаюсь, чтобы он выжил, — заметил отец, когда остяка вывели из лазарета.

И, однако, он выжил! Это было настоящее чудо, которому помогла могучая природа охотника. Через два рейса остяк пришел опять на баржу — уже здоровый, веселый — благодарить отца. Он принес с собой в качестве подарка мешок кедровых орехов в шишках. Не принять подарок — значило кровно оскорбить охотника. Отец принял подарок. Орехи оказались прекрасные, и мы без перерыва шелкали их на всем остальном пути до Томска.

В эту же остановку в Сургуте отец имел не совсем обычный визит. К нему пришел местный священник, отец Евлампий, и просил уделить кой-какие медикаменты из аптечных запасов арестантской баржи. Отец, вообще не любивший духовенства, вначале держался сухо и официально. Однако посетитель мало походил на обычный тип «попа», с которым мы привыкли встречаться в Омске, и разговор скоро принял более естественный и даже дружеский характер. Оказалось, что отец Евлампий вот уже свыше пятнадцати лет живет в Сургуте и все свои силы посвящает работе среди остяков. Приход у него гигантский — свыше тысячи верст в поперечнике, и подавляющее большинство населения в этом приходе остяки — маленькое финское племя, с незапамятных времен живущее в бассейне течения Оби. Отец Евлампий хорошо знал остяков, изучил их язык, нравы, быт, религию. Православные миссионеры той эпохи обычно относились к просвещаемым ими «неверным» с высокомерием и презрением. В отце Евлампий, однако, этого совсем не замечалось. Наоборот,



он говорил об осяках с большим сочувствием, почти с нежностью.

— Меня поражает сила прирожденного им инстинкта, — рассказывал Евлампий. — Я часто выхожу побродить в лес в окрестностях Сургута. Беру с собой маленьких остяцких ребятишек. Отойдем две-три версты, а то и больше. Я уже заблудился, не могу найти дороги домой. А ребятам хоть бы что! Я всегда на них полагаюсь: непременно выведут куда надо.

Евлампий много говорил о трудностях своей жизни и работы. Сургут — одно из стариннейших русских поселений в Сибири: оно основано в 1593 году, но это настоящий край земли. В городке тысяча жителей — почти исключительно рыбаки и охотники. Исправник, церковь, приходская школа, казенная винная лавка, тюрьма. Телеграфа нет. Летом связь с внешним миром поддерживается пароходами. В остальное время городок отрезан от всего на свете. По крайней мере, раз в год Евлампий объезжает всю свою паству. Он берет каюк (большая гребная лодка с маленькой каютой без окон) и отправляется в долгий путь — от одного остяцкого поселка до другого. Расстояния между поселками огромные — сто, двести и больше верст. В каждом поселке Евлампий остается по неделе, по две — творит службы, венчает, крестит, хоронит (пост-фактум), проповедует «слово божие», оказывает медицинскую помощь, разрешает споры и конфликты. Остяки формально числятся православными, однако Евлампий не скрывал, что своим языческим богам они больше верят, чем «святой троице».

— Самое трудное, — говорил Евлампий, — это река Вах. Подыматься по ней мне приходится почти тысячу верст. Места дикие, нелюдимые, холодные. Осенью ледоход всегда начинается с Ваха. Коли лед пошел по Ваху — значит кончено: всю Обь льдом запрудит. И люди по Ваху тоже подстать: темные, хмурые, упрямые. Никому не верят. Чуть что, норовят в лес уйти. А в лесу кто же их найдет? Тайга-матушка без конца-краю. От Сургута до Енисея — почитай тысячу верст — одна сплошная тайга без перерыва. Даже остяки бродят лишь по краям тайги. Редко кто заходит глубже ста — ста пятидесяти верст от течения рек. А дальше? Что там дальше? Никто не знает. Там никогда не ступала нога человека.

Мы вышли с отцом на берег проводить отца Евлампия. Уже темнело. Матросы заканчивали погрузку дров, и

пароход готовился к отплытию. В маленьких сургутских домиках один за другим зажигались тусклые керосиновые огоньки. За серо-деревянной панорамой убогого городка неподвижно чернела темная стена беспредельной тайги. В небе загорались первые звезды. Все было тихо, мрачно, могуче, первобытно... И только этот маленький пароход, затерявшийся в безбрежности водной стихии, с его электрическими огнями, с его гулом машин, с его лихорадочно бегающими людьми резко нарушал гармонию общей картины. Он казался здесь дерзким пришельцем из совсем другого мира — мира движения, мысли, борьбы, цивилизации. Он казался здесь вестником совсем другой эпохи — эпохи стали и нефти, железных мостов и паровых молотов. Контраст был поразительный, и я, несмотря на всю мою юность, не мог его не почувствовать.

— А не надоело вам жить в этом мертвом месте? — спросил Евлампия мой отец.

Евлампий вздохнул, бросил взгляд на объемистый сверток, который он держал в левой руке (медикаменты, полученные на барже), и каким-то особенным тоном ответил:

— Что значит «мертвое место»? Это мертвое место для меня полно жизни.

И затем уже более обыкновенным голосом добавил:

— Мне два раза предлагали перевод в Тобольск, но я отказывался... Там все так сложно... Там трудно жить простому человеку... Здесь мне лучше! Я это чувствую...

Мы расстались. Евлампий зашагал по направлению к городу, и скоро его высокая, худощавая фигура скрылась в темноте.

В тот вечер я долго думал об этом странном, необыкновенном священнике. Мой детский ум не мог ясно осознать, что отец Евлампий являлся запоздалым пережитком давно ушедшей исторической эпохи, той эпохи, когда старое православие еще имело своих идейных «подвижников». Теперь подобные «подвижники» оказывались ему совсем не ко двору, и оно ссылало их в такие медвежьи углы, каким был Сургут. Я не мог в тот вечер отчетливо сформулировать свои мысли, но я инстинктивно чувствовал, что стою перед какой-то новой загадкой жизни, на которую у меня нет удовлетворяющего ответа.

## 10. Я ЗНАКОМЛЮСЬ С «ПОЛИТИЧЕСКИМИ»

Однажды ранним августовским утром, когда я, как всегда, прибежал в штурвальную будку, Горюнов с ноткой таинственности в голосе проговорил:

— Политических везем... В седьмой камере.

— Что ты? — воскликнул я, пораженный этой новостью. — Сколько их? Много?

— Быдто немного, — неопределенно отозвался Горюнов. — Вчерась вечером взяли в Тюмени.

Мы действительно только на рассвете вышли из Тюмени и с трудом пробирались между мелей и перекаатов совершенно обезводевшей Туры. Впереди на пароходе носовой матрос то и дело бросал в воду наметку<sup>1</sup> и громко кричал, сигнализируя лоцману:

— Шесть с половиной... Шесть... Пять с половиной... Пять...

Когда глубина доходила до пяти четвертей, капитан кричал в машину: «Самый тихий!», и мы подвигались вперед не быстрее черепахи.

Но все это с получением горюновской новости, мгновенно потеряло для меня всякий интерес. Я слышал уже раньше о «политических арестантах» от родителей, от дяди Чемоданова, но мое представление о них было смутно и неопределенно. Главное же, сам я никогда их не видел. И вот теперь мне представлялся случай встретиться с ними лицом к лицу. Легко понять мое волнение, мое нетерпение завести знакомство со столь необыкновенными людьми.

Все население нашей баржи уже знало о присутствии «политических». Весть об этом разнеслась с быстротой молнии. Я бросился к отцу и поделился с ним своей новостью. Отец приподнял голову от каких-то записей, которые он делал, и спокойно сказал:

— Да, с нами идет партия «политических» в двенадцать человек.

В лице его при этом скользнуло какое-то особое выражение, но он не прибавил ни слова и вновь углубился в свою работу. Тем не менее по жестам, тону и виду отца, когда он говорил, я сразу понял, что отец очень заинтере-

---

<sup>1</sup> Н а м е т к а—длинный и тонкий деревянный шест с отмеченными на нем четвертями или футами, с помощью которого делаются промеры глубины воды на мелких местах.

сован нашими необыкновенными пассажирами, — больше того, что он относится к ним с скрытой симпатией.

В тот же день я увидел «политических». После обеда все они вышли на свою забранную железной решеткой палубу и расположились тут отдыхать. Я прилип к решетке с наружной стороны и старался не пропустить ни одного их жеста или движения. Партия действительно состояла из двенадцати человек, из которых одиннадцать были мужчины и одна женщина. У меня не сохранилось в памяти ни их имен (много позднее отец мне говорил, что некоторые из них были нелегальные, шедшие в ссылку под чужими фамилиями), ни каких-либо иных данных, позволяющих сделать заключение о том, кто были эти «политические». Повидимому, все они являлись эпигонами народничества и несколько критически относились к быстро крепнувшей тогда социал-демократии. По крайней мере, я несколько раз слышал, как, разговаривая между собой, «политические» что-то с усмешкой говорили о «фабричном котле» и «выучке у капитала». Больше всего меня заинтересовали двое — женщина и высокий седой старик, которого я мысленно окрестил именем «дедушка». Женщина, которую звали Зинаидой Павловной, была настоящей «хозяйкой» этой партии. Ей было лет за сорок, она носила арестантский бушлат, говорила резко, четко, точно давала приказания. Красивой назвать ее было нельзя, но в ее смуглом выразительном лице с умными насмешливыми глазами было много силы воли и энергии. «Дедушка» представлял полную противоположность Зинаиде Павловне. Он весь был мягкость и доброта, любил всех мирить и всем говорить что-нибудь приятное. Рассказчик «дедушка» был изумительный — заслушаешься! Память имел он великолепную, прекрасно знал литературу, мог наизусть цитировать длинные стихотворения и даже поэмы. Кроме того, «дедушка» любил пение; сам не плохо пел и искусно дирижировал хором. Все другие «политические» в этом охотно ему подчинялись. Пели они часто, особенно ближе к вечеру, когда заходящее солнце постепенно все ниже падало где-нибудь за дальним мысом, зажигая пожаром полгоризонта. Пели русские и украинские песни: «Дубинушку», «Не осенний мелкий дождичек», «Реве тай стогне Днипр широкий», «Далеко, далеко степь за Волгу ушла». Пели также и революционные песни, которые я тогда впервые слышал и

из которых мне больше всех врезалась в память «Замучен тяжелой неволей».

Хотя все «политические» казались мне совершенно замечательными людьми, но с «дедушкой» у меня скоро установилась самая нежная дружба. Я просто обожал его, и, вероятно, ни один любовник не ждет так свидания со своей милой, как я каждый день ждал момента, когда «политические» по окончании обеда появятся на палубе и я смогу прибежать к решетке, чтобы поговорить с «дедушкой». Повидимому, и «дедушка» платил мне взаимностью, потому что он никогда не уставал беседовать со мной, обмениваться мыслями и впечатлениями, а особенно рассказывать. Рассказывал он много — о своей жизни, о чужих странах, о русской деревне, о тяготах крестьянской доли, о несправедливости начальства, о жестокости помещиков. Все это он умел облекать в такую ясную, простую, понятную форму, что мой детский ум впитывал его слова, как песок воду. Зинаида Павловна, увидя меня у решетки, часто с добродушной усмешкой окликала «дедушку»:

— Ну, пропагандист, твой дружок пришел!

На это «дедушка» в тон отвечал:

— Будет толк, матушка, будет толк!

И мы вступали с «дедушкой» в бесконечные беседы.

Однажды «дедушка» меня спросил:

— Ты слышал про Некрасова?

— Как же, слышал! У вас дома есть полное собрание сочинений Некрасова.

— Какие стихотворения Некрасова ты знаешь?

Я порылся в голове и ответил, что знаю «Крестьянские дети», «Дедушка Мазай и зайцы» и еще некоторые другие.

— А «Железную дорогу» знаешь? — озадачил меня «дедушка».

— Нет, не знаю.

— Вот то-то и оно! — укоризненно промолвил он. — А это одно из самых лучших произведений Некрасова.

И «дедушка» тут же сразу стал его декламировать на память. Читал он хорошо, и «Железная дорога» произвела на меня совершенно потрясающее впечатление. Особенно поразили меня слова:

Труд этот, Ваня, был страшно громаден,  
Не по плечу одному.

В мире есть царь, этот царь беспощаден,  
Голод — название ему.

Правит он в море судами,  
В артели сгоняет людей,  
Водит он армии, стоит за плечами  
Каменотесов, ткачей.

Он-то согнал сюда массы народные.  
Многие, в страшной борьбе,  
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,  
Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька. Насыпи узкие,  
Столбики, рельсы, мосты...  
А по бокам-то все косточки русские.  
Сколько их, Ваничка, знаешь ли ты?

Со слов «дедушки» я записал на бумажке это замечательное стихотворение и в тот же день выучил его наизусть. Весь вечер я только и думал, что о «Железной дороге», и даже во сне мне мерещились толпы согбенных тружеников «с Волхова, с мотушки-Волги, с Оки», которые грозно машут руками и со всех сторон надвигаются на меня, но вдруг откуда-то появляется милый «дедушка», берет меня за руку, поднимает на высоту, и все кругом, точно по мановению волшебного жезла, начинают весело улыбаться и напевать какую-то изумительно красивую песню.

«Железная дорога» сыграла большую роль в моем детском развитии. Она как-то оформила и закрепила многие из тех мыслей и чувств, которые пробудились во мне со времени встречи с «политическими». Она дала «идеологическое обоснование» той инстинктивной тяге к народу, которую я и раньше в себе ощущал.

«Какой великий и прекрасный русский народ! — часто думал теперь я. — Как много он страдал! Как желал бы я помочь ему! Но как это сделать?..»

Ответа на последний вопрос у меня еще не было. Да и могло ли быть иначе?..

Всему приходит конец, — пришел конец и нашему рейсу. Прощался я с «политическими» в Томске с глубокой душевной драмой. Казалось, я расстаюсь с самыми близкими мне на свете людьми. Когда маленькую партию вывели с баржи, я бросился к «дедушке» и повис у него на шее. Слезы выступили у меня на глазах. «Дедушка» тоже был тронут. Присутствовавший при этой сцене томский

конвойный офицер презрительно поморщился и с расстановкой бросил:

— К-ка-к-кая сентиментальность!

«Дедушка» отмахнулся от него, как от назойливой мухи, и, обратившись ко мне, с большой нежностью произнес:

— Ну, Ванюша, прощай! Понравился ты мне. Выйдет из тебя толк. Вот подрастешь и, так же как мы, пойдешь по Владимирке.

Он поцеловал меня и быстро отошел в сторону, где уже строилась вся партия арестантов.

— «Дедушка!» «Дедушка!» — закричал я, бросаясь за ним. — Скажите, как вас звать, как ваша фамилия? Я напишу вам письмо...

— «Что в имени тебе моем?» — полушутливо продекларировал «дедушка».

Должно быть, он намекал на свою «нелегальность», но я тогда этого не понял.

Раздалась команда, и вся партия осужденных, звеня кандалами, серея арестантскими бушлатами с вшитыми в них пестрыми тузами, двинулась по пыльной дороге в город...

Пророчество «дедушки» исполнилось быстрее, чем можно было ожидать: ровно десять лет спустя я плыл на той же барже и по тому же маршруту, но только по другую сторону решетки...

Обратный путь из Томска в Тюмень прошел для меня в хмурых тонах. После разлуки с «политическими» настроение у меня сильно упало. Я испытывал грусть и неудовлетворенность. Ничто больше меня не занимало. Чтобы немножко развлечься, я выпросил у Феокистова комплект издававшегося тогда журнала «Наблюдатель» и запоем читал в нем какой-то фантастический роман из жизни древних обитателей Мексики. Однако это мало мне помогло.

Вдобавок, осень уже начинала вступать в свои права. Лили дожди. Днем небо было покрыто свинцовыми тучами. Ночью царила такая кромешная тьма, что я не понимал, как лоцман может находить фарватер. Иногда дули

резкие ветры, — тогда широкая гладь реки вздувалась пенистыми волнами, и наш «Галкин-Врасский» старался прятаться где-нибудь в узких протоках или за длинными плоскими островами, тянувшимися почти на всем протяжении Оби. На Иртыше пошли густые туманы: с баржи часто не было видно даже пароходных огней. На Тоболе из-за того же тумана чуть не произошло столкновение между нашей баржей и корниловским пароходом «Отец». На Туре, уже под самой Тюменью, поломалась машина «Галкина-Врасского». Мы стояли целые сутки, пока пришла вызванная по телеграфу «Фортуна» и, наконец, с огромным опозданием доставила нас к месту назначения. Все это не могло, конечно, способствовать особому подъему духа.

В те же хмурые дни мне открылась тайна моего друга Горюнова.

Мы только что вышли из Томска. Было тихо, тепло, пароход почти неслышно скользил по кристально-чистым водам Томи. Там, впереди, нас ждали мощные просторы Оби, ветры, бури, туманы, но здесь, на юге, все еще пока говорило о лете, солнце, цветах и ясном голубом небе. Горюнов стоял ночную вахту, и я почти до рассвета просидел в штурвальной рубке. Мы были вдвоем, — вся остальная баржа спала, — и это невольно располагало к откровенности, к воспоминаниям, к глубоким душевным разговорам.

— Вот, говорят, «политические», — точно отвечая на какие-то свои мысли, вдруг начал Горюнов. — Н-да... Хорошие люди... Ничего не скажешь... А мало толку получается!

— А ты знаешь «политических»? — пораженный словами моего друга, быстро спросил я.

До сих пор на протяжении всего рейса, когда с нами шла партия «дедушки», Горюнов ни звуком не обмолвился о «политических», а вот теперь вдруг совсем неожиданно заговорил о них. Это заставило меня насторожиться.

— Приходилось видеть, — точно нехотя, протянул в ответ Горюнов.

— Где? Когда? — заторопился я, чувствуя, что подхожу к какой-то интересной тайне. — Расскажи, Василий, голубчик, пожалуйста.

На мгновение в штурвальной рубке воцарилось молча-



ние. В темноте мне не видно было лица Горюнова. Потом опять раздался голос моего друга:

— Чего говорить-то... Было и былшем поросло.

— Нет, нет, Василий, — не отставал я, — непременно Расскажи. Это очень интересно.

В рубке опять воцарилось молчание. На этот раз оно продолжалось довольно долго. В ночной тишине гулко разносились удары паровых колес. Шумное эхо отвечало им с высоких берегов реки. Горюнов раза два попрыгал козьею ножкой и, наконец, решил:

— Ну, уж коли на то пошло...

Он как-то странно крякнул, точно сворачивал тяжелые камни с дороги, сделал полный оборот штурвальным колесом и затем начал:

— Было это годов двадцать назад... Совсем я был молодой мальчишка. С покрова, значит, меня оженали на Параньке — девка была на селе... Шустрая девка, бедоо-ва... А тут и весна пришла, сеять надо...

Горюнов на мгновение остановился, точно счищая ржавчину с давно забытых воспоминаний, и потом несколько живее продолжал:

— Село наше не то чтобы очень большое, а так, подходяще... Дворов сто будет... Хлеб сеяли, ну а кто по латам и на пароходах служил... Мы недалеко от Истобенского, вот с истобенскими, значит, на Обь да на Иртыш ходили. Семья у нас была огромная: отец, мать, бабушка да детей десять человек. Я вот старшой был. Хлебопашествовал. Жили не важнецки. Земли было мало, ртов много, да тут еще отец стал прихварывать. Когда и просто голодали...

Горюнов опять передохнул, раза два налег на штурвал и вновь вернулся к своему рассказу.

— Вот пришла весна, сеять надо... Опять же скотину в поле выгонять... С версту от нашего села речка протекает... Как скотина в поле, в речке поить ее надо. Другой воды в округности никакой нет. И, видишь ты, как оно вышло. Старики сказывали: как на волю выходили, речка-то эта нашему селу прирезана была. Да барин соседний с начальством стакнулся, — ну, бумаги-то и переделали: земля к нам отошла, а речка да земля перед речкой, так сажень на сто — «Свиная горка» мы место это звали, — у барина остались. Вот и вышла морока: хочешь скот поить — барину плати. Очень роптали наши мужики. Обма-

нули нас, говорят, продали... Да что поделаешь? Так каждый год и платили... Ну, а в эту весну дела не важнецки пошли. Год выдался плохой, хлеба ни у кого нет, оголодали. А старый барин умер, приехал новый, да и говорит: «Шаромыжники, разбойники! Грабили вы моего папашу! Платили за воду по рублю, будете теперь платить по два!» Обидно стало мужикам: «Как это мы его грабили? Он нас грабил! А коли ты измываться над нами приехал, дык ничего платить не будем! Наша земля! Наша речка! Хватит, натерпелись!» Ну, и что ж ты думаешь? Согнали скотину со всего села, да и погнали ее на водопой... Ни копейки не заплатили, — так, нахалом!

— Ну, и что же было дальше? — с замиранием души спросил я.

— Дальше... Ну, известно, что было дальше. Барин в город — жаловаться. Прислали жандармов... Почитай человек тридцать приехало... На конях... Собрали сход, жандармов на улице поставили... Барин кричит: «Выдавай зачинщиков!» Бегаёт, весь покраснел, как рак, глаза на лоб лезут, того и гляди — лопнут. Кричит: «Выдавай! Не выдашь, — стрелять будем!» Ну, наши мужички обробели поначалу быдто... Жмутся к стенке, молчат, в землю смотрят... Ну, только голяк один — «Тихон без штанов» у нас его звали — как взойдет да как заорет: «Ах вы, такие-сякие, шкуру с нас драть приехали?» Да как почнет, да как почнет их лаять... Тут и другие осмелели: «Наша речка! — кричат. — Бумаги украли!.. Продали!..» Что тут пошло! Остервенел народ, на барина стал наступать... Ну, тут жандармы враз... Как были на конях, так на народ и полезли... Нагайками бьют, саблями машут... Бабы визг подняли, ребятишки режут... Уж и не помню, что дальше было-то. Рассказывали потом, я совсем обеспамятовал, на жандарма кинулся, вырвал у него нагайку да давай его самого полосовать...

Словом, в деревне Горюнова произошло то, что на официальном языке того времени носило наименование «аграрных беспорядков». И дальше все пошло, как полагается в таких случаях. Крестьянская масса не выдала «зачинщиков», но жандармы все-таки арестовали десятка полтора случайных людей и увезли их в город. В числе захваченных оказался и Горюнов. Арестованные месяцев восемь просидели в тюрьме, потом их судили, троих оправдали,

а остальных приговорили к различным срокам каторжных работ и к поселению. Горюнов по молодости лет отделался поселением. В глухую зиму вместе с другими сопроцессниками он был отправлен пешим этапом из Вятки в Восточную Сибирь. Перевозки арестантов на барже в то время еще не было. После долгих странствий и мытарств Горюнов прибыл, наконец, на место своего поселения — где-то в дальнем углу Забайкалья. Здесь он провел четыре года, и здесь же он имел случай столкнуться с «политическими». Они научили его грамоте и вложили в его голову первые политические мысли.

— Хороший народ «политические», — как бы подводя итог, еще раз повторил Горюнов, — очень для бедного человека стараются. Только вот что-то все не выходит.

— Ну, а что было потом? — нетерпеливо перебил я.

— Значит, Манифест вышел... Освободили меня... Вернулся я на родину...

Голос Горюнова как-то сорвался, и в штурвальной рубке опять воцарилось молчание. Слышны были только гулкие удары паровых колес.

— Дома все вразвалку пошло, — овладев собой, продолжал Горюнов. — Отец умер вскоре, как меня взяли. Матушка не могла осилить хозяйство, продала лошадь, корову, стала побираться. Трое младших ребят умерли в горячке. Другие пошли по людям.

— Ну, а Паранька?

Горюнов снова замолчал, и молчание его продолжалось так долго, что я уже стал отчаиваться в ответе. Я почувствовал, что затронул какое-то особенно болезненное место, и даже пожалел о своем вопросе. Но Горюнов еще раз преодолел свое волнение и с оттенком горечи в голосе сказал:

— А Паранька, сказывают, спуталась с бариновым сыном... Ну, он, конечно, побаловался с ней, а как Паранька затяжелела, выгнал на все четыре стороны... Она возьми и утопись в речке... Известно — баба!

Родное село стало после этого Горюнову ненавистно. Он ушел в Истобенское и стал ходить матросом на Оби. Вот уже лет пятнадцать занимается этим промыслом. Дома, в Истобенском, у него жена, двое сыновей и одна дочь, он учит их в школе и надеется, что жизнь его детей будет лучше и счастливее, чем его собственная.

В конце августа я стал собираться домой. Отец должен был проплыть на барже еще весь сентябрь, но мне надо было вернуться в Омск к началу учения. Придуман был такой план: на другой арестантской барже, ходившей в течение лета по тому же маршруту, что и наша, врачом был наш омский знакомый Бориславский. С ним на барже плавали два его сына — старший, Коля, только что окончивший гимназию, и младший, Петя, мой одноклассник. Между нашими родителями было договорено, что меня присоединяют к Бориславским, и все мы трое, под руководством семнадцатилетнего Коли, возвращаемся в Омск на пароходе «Сарапулец». В пути между Тюменью и Томском, где-то неподалеку от Самаровского, меня пересадили на баржу Бориславских, шедшую в Тюмень, и в Тобольске трое молодых путешественников были спущены на берег, для того чтобы дождаться здесь «Сарапульца» и двинуться на нем домой вверх по Иртышу. Все было разработано как будто бы точно, ясно, до мельчайших подробностей, и намеченный план казался нашим родителям верхом совершенства. Но...

Гладко сказано в бумаге,  
Да забыли про овраги,  
А по ним ходить.

Едва наша небольшая компания ступила на территорию Тобольска, как начались неожиданности и злоключения. Мы приехали в Тобольск утром и, по расписанию, должны были в тот же вечер отплыть в Омск на «Сарапульце». К обеду, однако, пришло известие, что «Сарапулец» потерпел аварию, стал в ремонт, и его очередной рейс на Омск отменяется. Сильно обескураженные, мы стали обходить тобольские пристани и выяснять, нет ли в ближайшее время какого-нибудь другого парохода в нужном нам направлении. Оказалось, что на следующий день из Тобольска в Омск идет «Федор», принадлежавший компании Злоказова, причем, как нас заверили, он поведет только одну баржу и, стало быть, доберется до Омска в пять-шесть дней. Это было и приятно, и неприятно. Приятно — потому что не приходилось слишком долго ждать парохода, неприятно — потому что новая ситуация ставила нас в очень трудное финансовое положение. Родители снабдили нас билетами второго класса на «Сарапулец» и известной суммой наличными, которой было вполне достаточно для

оплаты питания даже из пароходного буфета. Но «Сарапулец» принадлежал компании Курбатова, и билет на него был недействителен для «Федора», принадлежавшего компании Злоказова. Стало быть, нам надо было покупать новые билеты, а сверх того, еще снимать до завтра номер в гостинице. Молодые путешественники устроили военный совет и, подсчитав свои ресурсы, пришли к выводу, что их хватит лишь на билеты третьего класса. Так и сделали: через полчаса три билета третьего класса до Омска лежали у нас в кармане. В какой-то очень подозрительной гостинице, носившей громкое название «Европа», мы сняли номер на троих и заказали себе две «пары чаю». Потом мы пошли бродить по городу; изучили во всех подробностях базар, поднялись на гору, где был когда-то кремль, а теперь помещались правительственные учреждения, зашли в городской сад, полюбовались на памятник Ермаку и, в конце концов, свели знакомство с группой тобольских гимназистов, с которыми сыграли несколько партий в городки. Спали мы в эту ночь, как убитые, а на следующий день погрузились на только что пришедшего «Федора». При ближайшем рассмотрении оказалось, что «Федор», по существу, пароход грузовой, что пассажирского буфета он вообще не имеет и что третий класс на нем оборудован крайне примитивно. Но делать было нечего: наша компания разместилась в кормовой части парохода, иод «кожухами», причем на Петю, по общему согласию (включая и его собственное), были возложены обязанности «завхоза», как сказали бы мы теперь. Касса находилась на руках у Коли и, проверив ее наличность перед отходом парохода, мы с некоторым беспокойством констатировали, что у нас остается ровно два рубля и восемьдесят три копейки. На трех путешественников с хорошим аппетитом это было совсем не много, но мы не унывали. Мы были твердо уверены, что через пять, самое большее через шесть дней мы вволю отъедемся на домашних хлебах.

С вечера мы все крепко заснули под нашими «кожухами». Рано утром я вскочил первый и пошел умыться на борту. Машинально бросил взгляд на берег... Силы небесные, что это значит?! Мы подвигались вперед черепашьим шагом, не больше четырех-пяти верст в час. Я оглянулся назад — и ахнул: за пароходом тянулись одна за другой три огромные, тяжело нагруженные баржи! Все

наши расчеты сразу опрокидывались. Я бросился под «кожухи» и стал будить своих товарищей:

— Коля! Петя! Вставайте!

Мои спутники были не менее меня потрясены сделанным мной открытием. Для окончательного уточнения ситуации мы поймали помощника капитана и спросили его, когда «Федор» предполагает быть в Омске? Бравый моряк поглядел задумчиво на берег, на воду, на небо и затем ответил:

— Суток через десять-одиннадцать... Если хорошо пойдём.

Итак, положение было совершенно ясно. Нам предстояло провести на пароходе, по крайней мере, десять суток, а в кармане у нас было два рубля и восемьдесят три копейки. Иными словами, мы могли тратить по девять копеек на человека в день.

Мы начали жестоко экономить. Суетливый, хозяйственный Петя напоил нас жиденьким чаем, дал по куску хлеба и изжарил яичницу... на воде (масла не было). Получилась какая-то обуглившаяся гадость. Я не мог взять ее в рот. Но Петя расхваливал свое произведение, хотя и избегал его есть сам. Затем пошла бешеная погоня за дешевым и сытным фуражом. На каждой остановке Петя бегал на берег, носился по избам и ларькам, все вынюхивал, высматривал и в результате приносил то пару пшеничных калачей, то мешок с брусникой, то целую миску крохотных мульков. Возможно, что все это было дешево, но на счет сытности мы имели большие сомнения. Чтобы как-нибудь «обмануть» чувство голода, мы с утра до вечера пили чай — благо, кипяток был бесплатный,—подкрепляя его где ломтем хлеба, где куском тыквы или горстью ягод. Нельзя сказать, чтобы такая диета не отражалась на наших организмах,—к концу пути мы все как-то похудели и почернели. Наши матери прямо ахнули, когда мы, наконец, с парохода явились домой. Но молодость легко перегрызает и не такие узлы, а мы были юны, веселы, бодры, как жеребята, которые так любят носиться по полю с широко развевающимися хвостами.

К голоду скоро присоединился холод. Наш «Федор» не только тащил три баржи, — он еще подолгу стоял на пристанях. В одном месте двое суток выгружалась одна из его барж, в другом месте она сутки опять нагружалась. Из-под «кожухов» мы давно уже перебрались поближе к

машине: тут было шумно, пахло перегорелым маслом, но зато было тепло. На длинных остановках машину гасили, и тогда мы дрогли ночами в наших легких гимназических шинелях. Надвигалась осень, начинались уже заморозки.

Но что все это значит в двенадцать-тринадцать лет? Мы бегали по пароходу, дурачились с командой, купались на пристанях, катались в душегубках на остановках, ходили в лес по грибы во время длительных перегрузок. Иногда на нас находило более задумчивое настроение. Мы читали на память стихи, рассказывали друг другу разные истории. Коля, которого природа наделила несколько мечтательной натурой, любил философствовать.

Накануне того дня, когда «Федор», наконец, должен был бросить якорь в Омске, Коля привел нас на нос парохода и, сделав серьезное лицо в стиле настоящего «гимназического Сократа» заявил:

— Итак, друзья, подведем итоги и сделаем выводы. Каждый из нас за это лето совершил по шесть рейсов на барже. Каждый рейс в оба конца составляет самое меньшее шесть тысяч верст. Стало быть, все шесть рейсов вместе дают минимум тридцать шесть тысяч верст. Окружность земного шара по экватору равняется тридцати шести тысячам верст. Значит, каждый из нас в это лето сделал по одному кругосветному путешествию. Поздравляю вас, товарищи!

Мы с Петей были страшно поражены. Нам до сих пор не приходила в голову такая мысль. Мы с гордостью взглянули друг на друга.

Вот что значили сибирские масштабы!

## *II. В ПОИСКАХ ОГНЕЙ ЖИЗНИ: РЕМЕСЛО И НАУКА*

У Короленко есть прекрасное стихотворение в прозе— «Огоньки». В темную ночь писатель плывет по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами мелькнул огонек. Мелькнул ярко, сильно, совсем близко. На самом деле до огонька еще очень далеко. Но впечатление обманчиво: кажется, вот-вот, еще два-три удара веслом, — и путь кончен... А между тем писатель еще долго плыл по темной, как чернила, реке.

Долго еще ущелья и скалы выплывали, надвигались, уплывали в бесконечную даль, а огонек все стоял впереди, переливаясь и маня, — все так же близко и все так же далеко. Писателю часто вспоминается и эта темная река и этот живой огонек. Много огней, говорит он, и раньше и после манили не одного меня своей близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла... Но все-таки... все-таки впереди — огни!

Когда теперь, много лет спустя, я оглядываюсь на описываемый период моей жизни, мне становится ясно то, чего я тогда не мог как следует осознать, а именно, что лето, проведенное на арестантской барже, явилось важным водоразделом в моем развитии: до него было детство, после него началось отрочество, постепенно перешедшее в юность.

До этого лета я был просто ребенком, у которого не было никаких «проблем» и который жадно, легко и радостно впитывал в себя многообразные впечатления бытия,—именно впитывал, как песок впитывает воду. После этого лета моя духовная жизнь сильно осложнилась. Конечно, процесс стихийно-автоматического восприятия впечатлений остался, но наряду с ним — и чем дальше, тем сильнее — родилось какое-то внутреннее беспокойство. Начались поиски чего-то большого, высшего, стоящего над пестрой сутолокой повседневных событий. Поиски какого-то единого начала, которое вносило бы известные систему и плановность в беспорядочное нагромождение фактов и явлений, именуемых жизнью. Короче — поиски тех огней жизни, о которых так красноречиво говорит Короленко; огней жизни, которые одни только способны осмыслить существование человека и поставить перед ним серьезные цели. На первых порах эти поиски были слабы, смутны, неопределенны. В них было много колебаний и противоречий. Мало-помалу, однако, они делались глубже, сознательнее, зрелее и в конечном счете привели меня к тому, чем я стал уже в более поздние годы, превратившись в взрослого человека. Разумеется, в духовных процессах подобного рода трудно фиксировать совершенно точные даты перехода одной стадии развития в другую: это обычно совершается постепенно и незаметно. Однако если все-таки сделать попытку провести грань, отделяющую в моей жизни детство от отрочества и юности, то



соответственную линию надо проводить через лето 1896 года.

Первый этап в моих поисках огней жизни стоял под знаком «ремесла». В моей натуре есть, очевидно, какая-то врожденная склонность к ручному труду. Я уже рассказывал, с каким увлечением в возрасте семи-восьми лет я занимался игрушечным кораблестроением. Позднее я всегда что-нибудь клеивал, пилил, строгал, вырезывал. Теперь, после возвращения с арестантской баржи, на меня снизошла какая-то стихийная тяга к изучению ремесла. Конечно, я продолжал ходить в гимназию, учить уроки, решать задачи и делать письменные упражнения. Но все это была скучная рутина повседневной жизни. Я следовал ей чисто механически, без всякого интереса или увлечения. Иное дело было ремесло. Я им горел, я к нему стремился. Оно стало центральным пунктом моего существования.

В качестве ученика я поступил сначала в небольшую столярную мастерскую, находившуюся неподалеку от нас, и часа на два ходил туда каждый день по окончании гимназических занятий. Дома, в своей комнате, я поставил столярный станок, завел молотки, рубанки, стамески и прочее оборудование и, к немалому огорчению матери, стал заваливать пол опилками, стружками, обрезками. По-немногу я так «понаторел», что начал делать столики, табуретки, полки, ящики и другие простейшие объекты деревообделочного искусства. Я не успел только овладеть лакировкой.

Это увлечение столярничеством продолжалось несколько месяцев. Потом оно как-то спало, и я перешел на слесарное дело. Точно таким же порядком я стал ежедневно ходить в слесарную мастерскую и обучаться тайнам обработки металла. В моей комнате дополнительно к столярному появился теперь слесарный станок, а за ним — напильники, паяльники, стальные сверла, ножницы для резки железа и другие принадлежности заправского слесаря. Конечно, всякого сору и хламу в нашем доме еще больше прибавилось, но зато я научился паять, лудить, нарезать винты, делать круглые жестяные кастрюльки.

В обеих мастерских — столярной и слесарной — ко мне относились вначале иронически, усмехались, качали головой и говорили:

— Барин чудит:

Но потом это прошло. Ко мне привыкли, я вошел в курс жизни мастерских, принимал близко к сердцу их интересы и однажды даже, пользуясь содействием отца, заставил одного неаккуратного плательщика срочно покрыть свой долг за сделанную ему в мастерской мебель. Это чрезвычайно подняло мой авторитет, и после того меня стали рассматривать как настоящего, и притом весьма полезного, друга. Мне же очень нравилось поддерживать контакт с «рабочими людьми», пить с ними чай, обмениваться новостями и подчас перекидываться крепкими шутками. Никакой «политики» в этом контакте еще не было: места наши были дикие, времена глухие, да и «рабочие люди», с которыми мне приходилось иметь дело, по существу, относились к категории кустарей. Тем не менее соприкосновение с миром труда вносило какую-то совершенно новую, свежую струю в мою жизнь, ставило предо мной целый ряд недоуменных вопросов, которые только усиливали мое тогдашнее беспокойство и на которые надлежащий ответ я нашел уже много позднее.

Но и слесарное дело меня недолго удовлетворяло. Мне вообще в тот период как-то не сиделось на месте, и я часто менял свои увлечения и занятия. Я упоминал выше о нашем омском знакомом Симонове, державшем лавочку письменных принадлежностей на Томской улице. В дополнение ко всем своим прочим достоинствам он еще был самоучкой-переплетчиком. Как-то случайно я застал его за этим делом. Оно меня заинтересовало, и Симонов с большой охотой взялся меня обучить всем тонкостям переплетного искусства. Овладел я им быстро и прикрепился к нему прочнее, чем к моим другим ремесленным увлечениям, — может быть, потому, что дело здесь приходилось иметь с книгами. Теперь в моей комнате в дополнение ко всему прочему прибавились еще переплетные станки, картон, клей, кожа, цветная бумага, тисненый коленкор, — и отчаяние матери от распространяемой мной грязи дошло до высшей точки. Постепенно я достиг в переплетном деле довольно высокого совершенства и стал даже подносить в подарок моим друзьям (например Пичужке) книги в переплетах собственного изделия.

В последующей жизни мне не раз, хотя и с большими интервалами, приходилось возвращаться к переплетному искусству. Последний случай такого рода был зимой 1919/20 года, в Монголии, во время зимовки моей экспе-

диции по экономическому обследованию Монголии в Хан-гельцке, на заимке А. В. Бурдукова. Я нашел там набор переплетных инструментов, и воспоминания детства сразу ожили во мне. В свободное время я сам переплетал, а сверх того, обучал переплетному искусству еще нескольких молодых людей, проживавших в то время на заимке.

Чем объяснялось это мое увлечение ремесленным трудом? Мне кажется, что в основе его лежал полудетский, плохо осознанный протест против окружающей обстановки, протест против того традиционного, твердо установившегося порядка, согласно которому сын врача непременно должен пройти гимназию, окончить университет и стать чиновником или интеллигентом. Мои родители не только не препятствовали, но даже до известной степени поощряли мою тягу к физическому труду: здесь сказывались их старые народнические симпатии и навыки мысли.

Скоро, однако, простое ремесло перестало меня удовлетворять, и я перешел к электротехнике. Отец выписал мне из Москвы «Практический электрик» — толстую книгу с массой рисунков и чертежей, и я стал на все лады пробовать и экспериментировать. Опыты мои были весьма разнообразны, поскольку это позволяли скромные омские возможности. Конечно, я широко эксплуатировал отца и нередко таскал нужные мне материалы и вещества из его госпитальной лаборатории, но многого все-таки просто нельзя было найти в таком захолустье, каким в то время была «столица Западносибирского генерал-губернаторства». Мои письма этого периода к Пичужке пересыпаны настоятельными просьбами «купить у Ферейна» (крупный аптекарский магазин в Москве) и прислать мне то тот, то другой химический или электротехнический препарат, без которого я оказывался не в состоянии вести дальше свою работу. Помню, что труднее всего мне было с каменным углем: в Омске его совершенно не было (здесь доминировало древесное топливо), а по почте из Москвы угля тоже нельзя было получить. Из-за отсутствия угля я должен был отказаться от производства целого ряда опытов. Впрочем, несмотря на все эти препятствия, в течение нескольких месяцев я сделал большие успехи в области электротехники: провел по дому электрические звонки (что в то время в Омске было большой редкостью), установил в своей комнате крохотную электрическую лампоч-

ку, питавшуюся от сделанного мной аккумулятора, и даже занялся гальванопластикой. Когда однажды, на глазах нашей кухарки, я превратил медный пятак в блестящую никелированную монету, бедная чалдонка была совершенно потрясена и с большой тревогой стала спрашивать:

— А в тюрьму не заберут?.. Сказывают, за фальшивые монеты по головке-то не гладят.

Однако на «ремесле» я слишком долго не задержался. От столярничества и слесарничества, через электротехнику, я проделал быструю эволюцию к науке вообще и к астрономии в особенности. Именно астрономия явилась наиболее сильным и глубоким увлечением этой полосы моей жизни. Я уже (рассказывал, как еще в Петербурге я заинтересовался книгой Клейна «Астрономические вечера», но только теперь, в Омске, этот интерес постепенно превратился у меня в настоящую страсть. Я собрал у себя сравнительно большую астрономическую библиотеку, в которой можно было найти лучшие русские и переводные работы популярного характера, вроде «Мироздания» Мейера, «Астрономии» Ньюкомба, произведений К. Фламариона и др., и, погружаясь в нее, уносился в бесконечные пространства вселенной. Мне очень нравилось стихотворение Шиллера «Беспредельность»:

Над бездной из мрака возникших миров  
Несется челнок мой на крыльях ветров.

    Проплывши пучину  
    Свой якорь закину,  
Где жизни дыханье спит,  
Где грань мирозданья стоит.

Я видел, звезда за звездой встает  
Свершать вековечный, размеренный ход...

    Вот к цели, играя,  
    Несутся... Блуждая,  
Окрест обращается взор  
И видит беззвездный простор...

И вихря, и света быстрее мой полет...  
Отважнее! В область хаоса!.. Вперед!..

    Но тучей туманной  
    По тверди пространной,  
Ладье дерзновенной вослед,  
Клубятся системы планет.

И, вижу, пловец мне навстречу спешит.  
«О странник, куда ты, откуда?» — кричит.

— Проплывши пучину,  
Свой якорь закину,  
Где жизни дыханье спит,  
Где грань мирозданья стоит.

«Вотще! Беспредельны пути пред тобой!»  
— Межи не оставил и я за собой.  
Напрасны усилья!  
Орлиные крылья,  
Пытливая мысль, опускай  
И якорь смиренно бросай!..

Я выучил это стихотворение наизусть и даже до сих пор его помню. Оно так хорошо передавало мои тогдашние настроения. Правда, конец стихотворения как-то разочаровывал: опускать крылья и бросать якорь моей мысли совсем не хотелось. Но безграничность вселенной была запечатлена в такой мощной, такой потрясающей форме!

Впрочем, дело не ограничивалось одними лишь размышлениями о величии мироздания. Я не только читал книги по астрономии, — я решил сам стать астрономом. С этой целью я заставил себя полюбить математику, хотя с детства никогда не питал к ней дружеских чувств, и стал ею специально заниматься. Я выписал себе «Путеводитель по небу» и каждый вечер тщательно изучал небесный свод по приложенным к нему картам. Я вычислял путь Земли вокруг Солнца и составлял таблицы времени, потребного для прохождения луча света от Солнца до каждой из планет солнечной системы. Я написал краткое «Руководство к изучению планет», в котором подробно охарактеризовал каждую планету и каждого из известных тогда спутников планет. Я, наконец, и сам перешел к наблюдениям над небесными светилами. С большим трудом и разными ухищрениями я раздобыл себе маленький рефрактор, или, точнее, большую подзорную трубу с объективом в полтора дюйма, дававшую увеличение раз в двадцать пять. К трубе я пристроил самодельный штатив и после того почувствовал себя почти «астрономом-любителем». Вечерами я вытаскивал свои инструменты на чердак нашего дома и до глубокой ночи путешествовал, или, вернее, ползал, с ними по мерцающим просторам звездного неба. Летом, когда мы переезжали за город, обстановка для наблюдений становилась еще более благоприятной. Труба устанавливалась где-нибудь в

саду или на полянке, и я имел возможность вращать ее во всех направлениях и устанавливать под любым наклоном. Всякая неудача в наблюдениях — облачное небо, сильное дрожание атмосферы и т. п. — приводила меня в уныние и раздражение. Наоборот, всякая удача вызвала прилив радости и удовлетворения. Так, в одном из моих детских дневников я читаю под датой 14 июля 1899 года:

«Сегодня я очень хорошо настроен: наблюдал Луну и рассмотрел много подробностей, которых раньше не видел. Мне кажется, что кратер Феофил глубже кратеров Кирилла и Катерины, но Катерина глубже Кирилла. Буду продолжать наблюдения».

Подобные записи встречаются в моих дневниках того времени довольно часто. Пичужка, которая всегда любила поддразнивать меня, в этот период часто, смеясь, говорила:

— Ты так погрузился в астрономию и электротехнику, что можешь прожить сто дней без пищи и питья.

Скоро, однако, меня перестал удовлетворять мой домашний рефрактор, и я стал мечтать о покупке настоящего, хорошего инструмента — небольшого рефрактора в три-четыре дюйма, который обеспечивал бы возможность уже более серьезных наблюдений и вместе с тем давал бы мне право присвоить себе звание «астронома-любителя» — титул, являвшийся в то время предметом моих самых горячих мечтаний. По рекомендации переводчика «Астрономических вечеров» С. Сазонова, я вступил в переписку с Л. Г. Малисом, астрономом университетской обсерватории в Петербурге, и просил его покровительства и совета в этом столь волнующем меня предприятии. Малис оказался очень внимательным человеком и слал мне, в мою омскую глушь, длинные письма, которые приводили меня в восторг. Еще бы! В этих письмах он величал меня, четырнадцатилетнего мальчишку: «Многоуважаемый Иван Михайлович» (совсем как «большого!»), а сверх того, сообщал мне много интересных сведений по занимавшему меня вопросу. Трубу Малис советовал выпилить из Мюнхена, от фирмы «Рейнфельдер и Гершель», а штатив с часовым механизмом получить из Лондона, от фирмы «Хорн и Торнуайт». «Тогда, — заканчивал Малис свое письмо, — при мюнхенской трубе и таком штативе у вас будет образцовый инструмент (и всего за 280 руб.

приблизительно), который возведет вас в ранг астронома-наблюдателя».

Я был в восторге. Иметь прекрасный инструмент, стать астрономом-наблюдателем, — да разве могло быть что-либо более чудесное и привлекательное? Мечты о мюнхенской трубе заполнили мое воображение. Я уже видел ее перед своим умственным взором, я устанавливал ее на штативе, я заводил ее часовой механизм, я производил с ней замечательные наблюдения и, конечно, делал какие-то необыкновенные открытия... Я не только мечтал. Я вступил уже по этому поводу в «дипломатические переговоры» с моими родителями. И переговоры были далеко не безуспешны...

И все-таки мюнхенской трубы я так-таки и не получил! Почему?

Известную роль тут, разумеется, сыграли соображения материального порядка: 280 рублей для моих родителей представляли крупную сумму, которую найти им было нелегко. Однако я уверен, что, в конце концов, они нашли бы ее, ибо мой отец очень поощрял мои научные склонности, да и мать относилась к ним довольно сочувственно. Главное было не в деньгах. Главное было в моих собственных настроениях.

Жизненный путь каждого человека определяется двумя основными моментами: врожденными качествами его натуры и той обстановкой, в которой он складывается и живет. Мои врожденные качества, поскольку, по крайней мере, я могу судить о них на основании более чем полувекового опыта, как будто бы предопределяли меня к деятельности ученого. Возможно, ученого и популяризатора науки, ибо я с детства обладал умением ясно излагать различные сложные вопросы. И, доведись мне жить в какую-либо спокойную, «органическую» эпоху, весьма вероятно, что вся моя работа прошла бы между кабинетом ученого и университетской аудиторией. Весьма вероятно также, что я смог бы тогда осуществить мечту моего детства и сделаться настоящим, профессиональным астрономом. Однако обстоятельства сложились так, что моя жизнь пришлось на исключительно бурную, «динамическую» эпоху, на эпоху величайшего исторического перелома, на эпоху заката капитализма и восхода социализма. И это сыграло решающую роль в определении моего жизненного пути: накаленная атмосфера революционной эпохи легко превра-

щает потенциальных ученых в воинствующих носителей новой общественной идеи. Именно так случилось и со мной.

Пока я вел «дипломатические переговоры» с моими родителями, пока я списывался с иностранными фирмами о получении желанного рефрактора, пока я изыскивал пути к покрытию необходимых для этого расходов, — кривая моего духовного развития сделала довольно крутой поворот. С шестого класса гимназии, то есть с зимы 1898/99 года, — подробнее я буду говорить об этом ниже, — мое умственное внимание от вопросов научных стало все больше переходить к вопросам общественно-политическим. Не то, чтобы я совсем забросил науку, — нет! Астрономия продолжала меня интересовать и позднее, вплоть до самого окончания гимназии, но постепенно наука отодвигалась все дальше назад, на второй план, авансцену же моей духовной жизни все нераздельнее занимали проблемы борьбы с господствовавшим в стране царским режимом. Неудивительно при таких условиях, что проект приобретения мюнхенской трубы, для реализации которого нужно было максимально мобилизовать всю доступную мне энергию, так, в конце концов, и остался только проектом.

Да, ученого из меня не вышло. Вместо этого я пошел по другому пути — по пути революционера. И теперь, оглядываясь на пройденную дорогу, я несколько не жалею о совершившемся. Наоборот, мне было бы до боли жаль, если бы в такую эпоху, как наша, я остался в стороне от великих боев за социализм.

Однако мое раннее увлечение наукой, в частности астрономией, не прошло бесследно для моего духовного развития. Дело не только в том, что на всю последующую жизнь я сохранил глубокие любовь и уважение к знанию и что до сегодняшнего дня я не могу без известного волнения смотреть на рефрактор или спектроскоп. Гораздо важнее то, что это полудетское соприкосновение с величественными проблемами мироздания, с загадками вселенной, с судьбами солнечной системы и Земли окрылило мою мысль, подковало мое воображение. Оно дало смелость и дерзновенность полету моей научной фантазии. А ведь хорошо оседланная научная фантазия, крепко стоящее на почве фактов научное воображение являются необходимейшим элементом действительного научного творчества. Без них не было бы ни открытий, ни изобретений.



Я не хочу сказать, что я на протяжении своей жизни обогатил человечество какими-либо новыми завоеваниями в области науки или техники, — конечно, ничего этого не было. Дело, однако, в том, что развитие научного воображения полезно всякому человеку и в любой сфере деятельности. Я сам не раз испытывал это в жизни — как в годы революционного подполья, так и в годы путешествий и дипломатической работы.

Помню, в 1919—1920 годах мне пришлось, по поручению Центросоюза, провести экономическое обследование Внешней Монголии, ныне Монгольской Народной Республики. Исколесив в очень трудных условиях почти всю страну, территория которой превышает Англию, Францию и Германию, вместе взятые, я собрал ценный по тому времени материал по интересовавшим меня вопросам. При этом я выяснил, что, несмотря на свою обширную площадь и на значительные минеральные богатства, Внешняя Монголия была и, вероятно, надолго еще останется страной, мало пригодной для массового заселения. Почему? Ответ на этот вопрос давала естественно-историческая конфигурация Внешней Монголии. По характеру своего рельефа Внешняя Монголия представляет собой высокое плоскогорье (до 1 500 метров над уровнем моря), расположенное в центре гигантского материка и окруженное почти со всех сторон высокими горными хребтами. Эти хребты систематически задерживают влажные ветры с океанов, — в результате климат Внешней Монголии отличается сухостью и суровостью, препятствующими, например, широкому развитию земледелия. В своем отчете об экспедиции я добросовестно суммировал все только что отмеченные факты и сделал из них соответственные практические выводы.

На этом, собственно, я мог бы поставить точку. Так я и сделал в своем отчете. Однако мысль моя, оплодотворенная в далекие дни детства и отрочества соприкосновением с миром космических проблем, не могла удовлетвориться одной констатацией фактов. Она бежала дальше и вперед, она старалась заглянуть в будущее.

«Прекрасно, — часто думал я, пересекая верхом на коне монгольские степи, — сейчас Внешняя Монголия, в силу своих климатических условий, представляет собой полупустыню. Но от чего зависят ее климатические условия? От двух моментов: от большой высоты над уровнем?

моря и от наличия горных хребтов по границам страны. С первым ничего поделать нельзя. А со вторым? Тут положение несколько иное. Правда, в настоящее время горные хребты препятствуют проникновению достаточных количеств океанской влаги внутрь Внешней Монголии. Но что, если бы в этих хребтах были пробиты достаточно широкие и глубокие «окна», через которые влажные океанские ветры могли бы врыватья внутрь страны? Разве это не способствовало бы изменению ее климата? Конечно, способствовало бы. Разве это не открыло бы возможности широкого развития в ней земледелия? Конечно, открыло бы. Стало быть, теоретическое решение проблемы монгольского климата есть. Дело лишь за его практическим осуществлением. Разумеется, в условиях капитализма и даже в условиях эпохи, переходной от капитализма к социализму, всякая мысль о возможности подобного рода гигантских работ является утопией. Но позднее, в условиях развитого коммунистического общества, разве это было бы уже так неосуществимо? И разве не в праве мы поэтому рассматривать Внешнюю Монголию как один из резервов человечества, который через несколько поколений сможет полностью развернуть таящиеся в нем богатые потенции?»

Мысль, возбужденная этим полетом во мглу грядущего, не успокаивалась. Точно на крыльях, она неслась все выше и вперед.

«Или взять, например, — продолжал я думать, — северные пространства Сибири, составляющие четверть всей территории нашей страны. Что они сейчас? Ледяные пустыни, почти не пригодные для жизни и, во всяком случае, исключающие возможность всякого массового заселения. Разве так должно быть всегда? Конечно, нет. Почему бы под замерзшей поверхностью арктических тундр не прорыть мощной сети тепловых каналов? Почему бы не использовать для приведения в действие этой тигантской системы «центрального отопления» солнечную энергию или тепловую энергию расплавленных масс в недрах земли? Ведь если бы удалось осуществить что-либо подобное, тундры растаяли бы, и в Якутске можно было бы разводить апельсины и виноград! Колоссальные территории благодаря искусственному изменению климата были бы открыты для использования человечеством. Опять-таки в условиях капитализма или переходной эпохи смешно

говорить о возможности столь грандиозного предприятия. Но позднее, в условиях развитого коммунистического общества, — почему бы и нет? Стало быть, и тундры можно рассматривать как потенциальный резерв человечества».

Мысль, однако, и на этом не успокаивалась:

«В отроческие годы я читал, что рано или поздно — через сотни тысяч и миллионы лет — Солнце должно потухнуть и на Земле должна прекратиться всякая жизнь. Теоретически это несомненно так. И сейчас, с нашими нынешними навыками мысли, нашими нынешними техникой и наукой, мы даже и подумать не можем, что в указанных условиях человечеству не останется ничего больше, как только умереть. Но так ли это? Разве не возможна борьба против угрожающей человечеству гибели? Разве так уж невероятно, что человеческий разум, прошедший школу бесчисленных поколений коммунистического общества, сумеет найти пути и средства для сохранения жизни на земле даже после угасания Солнца?..»

Там же, в Монголии, вернувшись к поэтическим увлечениям детства (о чем речь будет ниже), я написал драматическую поэму «Вершины». Не мне судить о художественных достоинствах этого произведения, — весьма вероятно, что таких достоинств у него даже совсем нет, — однако, независимо от этого, оно является прекрасной иллюстрацией к только что высказанной мной мысли. Один из героев этой поэмы, между прочим, говорит:

Я верю в человека! Мать Природа  
Его в порыве страсти вдохновенной,  
Как дивный перл творенья, родила,  
Ему бессмертный Разум подарила  
И над собою власть ему дала.  
С тех пор сквозь даль и мрак тысячелетий  
Шел человек, чело поднявши гордо,  
Все выше и вперед. Одна победа  
Сменялася другой, другая — третьей,  
И не было, и нет, не может быть  
Конца его триумфам дерзновенным!  
Он покорил огонь, заставил землю  
Родить плоды, деревья же давать  
Ему приют от бурь и непогоды.  
Он возложил покорности ярмо  
На птиц, животных, превратил пустыни  
В цветущий сад, из темных недр земли  
Металлы добыл, корабли построил,  
Избороздил из края в край моря,

Прошел пески, снега, равнины ледяные  
И лентами железными путей  
Весь шар земной, как сеткой, опоясал.  
В стремленье вечном к власти и господству  
Он победил могучие стихии,  
Как птица легкокрылая, прорезал  
В стремительном полете глубь небес.  
Как рыба, опустился дерзновенно  
В таинственные бездны океана.  
Рукою властной молнию смирил,  
Ей повелев слова его и мысли  
По миру разносить, давать тепло и свет.  
В ничем неутолимой жажде знания  
Он облетел на легких крыльях духа  
Пространства бесконечные вселенной,  
Измерил солнце, звезды сосчитал,  
Познал движенья вечного законы  
И в капле вод пытливо подсмотрел  
Рожденья жизни тайну роковую.  
Исполненный святого недовольства,  
Всегда мятежно нового взыскуя,  
Оковы прошлого он смело разрывал  
И разбивал, не ведая пощады,  
Вчерашние кумиры. Он творил,  
И низвергал, и вновь творил богов!  
И с этой долгой битве с Неизвестным  
Он закалил свой дух, я, как орел,  
Смотреть он научился, не мигая,  
Великому Неведомому в очи!  
Я верю: нет, не может быть границ  
Могуществу и власти человека!  
Нет воле его царственной преград!

И вы могли подумать, что земля  
Останется всегда юдолью скорби?  
Что солнце не взойдет над ней вовек?  
Как? Человек, сумевший в быстром беге  
Тысячелетий кратких покорить  
Своей могучей воле землю, воду,  
И воздух, и огонь, и глубь морей,  
Сумевший потрясти престолы неба,  
Разбить оковы духа, без числа  
Свершить чудес, проникнуть в тайны мира,  
Ужели он не сможет, не сумеет  
Изгнать из жизни властною рукою  
Нужду, печаль, лачуги бедняков,  
И тяжкий труд, и слезы, и проклятья?  
Ужель он не сумеет превратить  
Долину мрака, полную страданий,  
В горящее огнями царство света,  
Свободы, счастья, красоты?..

Нет, нет! Я верю в человека! Верю  
В его могучий Разум! Он все может!  
Он победит!

Когда теперь я пытаюсь анализировать, откуда пришло ко мне все это: и безграничная вера в человеческий разум, и мысли о перестройке земли и изменении климата, и твердое убеждение в осуществимости царства радости и счастья на нашей планете, и многое другое, — для меня становится совершенно ясным одно: все это берет свое начало в тех полудетских увлечениях наукой, и прежде всего астрономией, которые так ярко окрасили мое отрочество и раннюю юность.

## **12. В ПОИСКАХ ОГНЕЙ ЖИЗНИ: ПОВОРОТ К ОБЩЕСТВЕННОСТИ**

Лето 1898 года овеяно в моей памяти какими-то особенными ароматами теплоты и задушевности. Вместе с тем это было важное и знаменательное лето в моей жизни. В нем отсутствовали крупные события или яркие впечатления, как в годы моих поездок в Верный или на арестантской барже. На поверхности все было тихо, спокойно, почти однообразно. Но зато в глубине шла неустанная, интенсивная работа. Рождались новые мысли. Пробуждались новые чувства. Намечались новые пути развития. Огни жизни постепенно подымались над моим умственным горизонтом...

В это лето я совершил свою первую большую поездку один. Еще зимой Пичужка усиленно звала меня на каникулы в Москву. Мне тоже очень хотелось ее повидать. Решено было, что с окончанием ученья в гимназии я поеду к родственникам, — и поеду самостоятельно! Эта мысль заранее приводила меня в состояние особого подъема, почти восторга. И когда, наконец, в одно ясное солнечное утро, тяжело нагруженный всякими «подорожниками», я торопливо вскочил в ярко-зеленый вагон третьего класса, когда свистнул паровоз и мимо меня, все ускоряя свой бег, поплыли белые стены вокзала, — я вдруг почувствовал себя «взрослым». По платформе торопливо семенила ногами моя мать в сопровождении всего нашего многочисленного семейства. Она приветливо махала рукой и кричала в открытое окно вагона:

— Берегись, Ваничка! Не попади под поезд!..

И затем добавила:

— В большом свертке пирожки, а в маленьком — чай с сахаром.

Но мне было не до пирожков и не до сахара.

В то время путь от Омска до Москвы занимал шесть суток. В Челябинске была пересадка, и поезда на Самару надо было ожидать двенадцать часов. Я воспользовался перерывом и, выпивши в станционном буфете «пару чаю» с вывезенным из Омска продовольствием, пошел бродить по окрестностям. Челябинск был расположен тогда в нескольких верстах от вокзала. Повидимому, челябинцы, как и омичи, не сумели во-время дать хорошую взятку строителям железной дороги и вынуждены были платить за это необходимостью ездить на станцию по длинной, невероятно пыльной дороге. Сам Челябинск в конце прошлого века представлял жалкую картину: маленькие подслеповатые домишки, пара церквей, две-три изрытые ямами улицы, грязная базарная площадь и облезлое здание тюрьмы на выезде. Ровно восемь лет спустя я провел два кошмарных дня в этой тюрьме, когда после 1905 года шел этапом в сибирскую ссылку. Но тогда это еще было скрыто в тумане грядущего.

От Челябинска наш полупустой поезд стал понемногу наполняться. В мое купе сели трое: молодой чиновник акцизного ведомства с женой и грузный, пожилой поп, ехавший в Москву в командировку. Поп был самый настоящий, ядреный поп — в темносерой рясе, в круглой с поднятыми полями шляпе, с большой окладистой бородой и огромной бородавкой под носом. Говорил поп басом. На каждой станции выходил и всегда возвращался то с жирной курицей, то с бараньей ножкой или крынкой топленого молока. В отношении меня поп сразу взял отечески-покровительственный тон и любил говорить:

— Ну-с, молодой человек, так как же? Покушаем?

Это, однако, отнюдь не означало, что отец Феофил (так звали попа) приглашает меня разделить с ним трапезу. Ничего подобного! Отец Феофил вытаскивал из саквояжа салфетку, аппетитно раскладывал на ней мясо, хлеб, огурцы и всякую прочую снедь, потом брал складной карманный нож и приступал к одинокому пиршеству. Ел он прожорливо, с икотой, громко чавкая и размазывая жир по губам. Мне всегда становилось противно. Когда же, нако-

нец, все продовольственные запасы отца Феофила оказывались ликвидированными, он утирал салфеткой рот и, вновь обращаясь ко мне, произносил:

— Ну-с, а теперь, молодой человек, не попить ли чайку? э?.. Древние мудрецы-то не зря говорили: в здоровом теле здоровый дух... Так-то!

Чтобы поменьше встречаться с моим спутником в рясе, я большую часть времени проводил на площадке вагона. Я любил часами стоять там, смотреть в окно, следить за вечно меняющейся панорамой гор, лесов, полей, рек, долин и думать... Думать не о чем-либо одном, ясном, определенном, а думать вообще, думать о многих вещах сразу, думать, точно плыть По широкой реке мыслей, без руля, без ветрил, отдаваясь на волю волн и течения. Это приносило мне какое-то глубокое успокоение, давало какую-то тихую все существо переполняющую радость.

Однажды, вернувшись в вагон с площадки, я застал в моем купе горячий спор. Отец Феофил, пересыпая свою речь церковными изречениями, жестоко поносил Л. Н. Толстого. Особенно возмущался он взглядами великого писателя на брак. Акцизный чиновник пытался слабо возражать попу, а пришедшие на спор из соседних купе пассажиры что-то мычали себе под нос и то крякали, то красноречиво вздыхали. Во мне точно бес проснулся. Я любил Толстого, но еще больше я не любил отца Феофила. Перебив разошедшего попу, я с авторитетным видом заявил:

— И ничего-то вы не понимаете в этом вопросе!

— Как не понимаю? — взревел поп.

— Да так, не понимаете! — дерзко ответил я. — Еы вот все насчет божьей благодати и прочее разоряетесь. А по-моему, так незаконный брак гораздо нравственнее законного.

— Что? — весь покраснев, как рак, закричал отец Феофил. — Как ты смеешь? Молокосос!

В страшном негодовании он совершенно забылся и перешел со мной на «ты».

— Во-первых, прошу меня не «тыкать», — отпарировал я. — А во-вторых, я прав. Разве вы не знаете, какие гадости прикрывает законный брак? Разве невеста часто не идет насильно под венец? Разве мужчины не женятся на деньгах?

Спор принимал характер скандала. Публика всегда охоча до подобных вещей. Моментально сбежались пас-

сажиры со всего вагона, сгрудились около нашего купе и заволновались. Стали образовываться партии — за меня и за попа. Я же продолжал:

— Если люди сходятся в незаконном браке и готовы выдерживать косые взгляды, сплетни, клевету, кривотолки, — значит, они действительно любят друг друга. Значит, такой брак хорош. А без любви брак безнравствен.

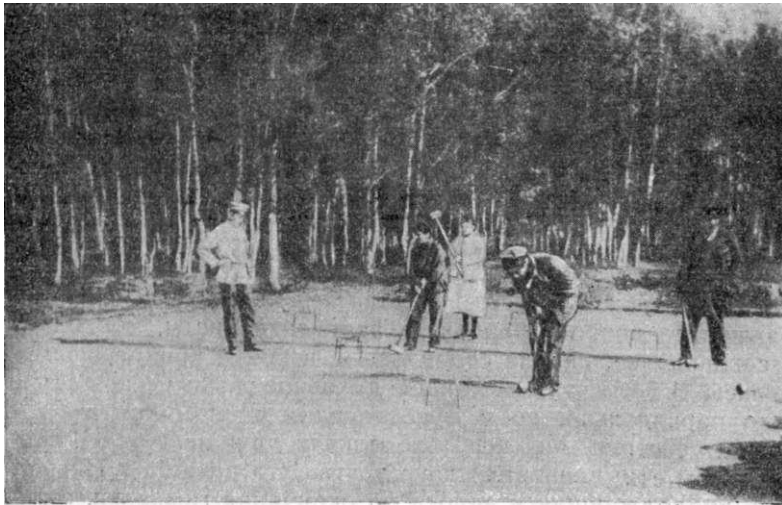
Отец Феофил был до такой степени потрясен моей дерзостью, что у него в горле дыхание сперло. Он только краснел, синел и что-то хрипел сквозь зубы, поминая «ехидну», вскормленную на груди. Среди собравшихся пассажиров пошел шум. На попа стали бросать иронические взгляды. Настроение «масс» явно поворачивалось в мою сторону. Отец Феофил, наконец, не выдержал, порывисто взбросил свое грузное тело с лавки и, хлопнув дверью, вышел на площадку. Постепенно все успокоились и разбрелись по своим местам.

После этого случая «дипломатические отношения» между мной и отцом Феофилом были прерваны, и мы расстались в Москве, даже не попрощавшись.

Семья Чемодановых проводила лето в деревне Кирилловке, верстах в сорока от Москвы. Место было типично среднерусское, тихое и красивое: лес, поля, луга, узкая извилистая речка, масса ягод, грибов и цветов. Снимали простенькую деревянную дачку с террасой. Тетя Лиля хозяйничала, тетя Юля философствовала о жизни и резонерствовала. По утрам пили молоко, в полдень обедали, часто ходили в лес или валялись на соседней полянке. Дети бегали, возились, играли, разбивали колени, резали пальцы. На воскресенье приезжал из города дядя Миша, тяжело нагруженный всякими свертками и заказами. Словом, внешне все было примерно так же, как в Мазилове, но только все мы, дети, стали на четыре года старше, и это накладывало новый отпечаток на всю нашу жизнь.

В один из своих приездов дядя Миша привез нам крокет. Мы стали играть на открытой полянке за дачей. Скоро увлечение крокетом превратилось в повальную эпидемию. Играли все (кроме теток), и играли с бешенством, с ожесточением. Начинали сразу же после утреннего завтрака и продолжали весь день до глубокого вечера. За обедом или чаем говорили только о партиях, о «мышеловке», о крокировании, о «разбойниках». Увлечение постепенно переходило в какое-то сумасшествие. Когда приез-





*Увлечение крокетом.*

жал дядя, азарт становился еще большим. Чемоданов играл в крокет превосходно — у него был точный взгляд и крепкий удар. Если он выходил в разбойники, противная партия могла считать себя погибшей. Как и во все, что он делал, дядя Миша в крокет тоже вносил массу страсти и энергии. В воскресенье нам уже не хватало для игры дня. Дядя приносил на поле свечи, и мы нередко доигрывали партию в полной темноте, при их колеблющихся отсветах. Тетки смеялись и издевались над нами, но это не помогало. Особенно нападали они на дядю Мишу.

— Ну, что ты, старый дурак, с ума сходишь? — часто добродушно-ворчливо останавливала его тетя Лиля.

Дядя Миша делал самый галантный жест рукой и задорно отвечал:

— По-римски — я еще юноша! У римлян мужчина до сорока лет считался юношей.

Спустя некоторое время крокет мне надоел, но Мишук и Гунька, Пичужкины братья, остались верны ему до самого конца дачного сезона.

Впрочем, главная прелесть лета в Кирилловке состояла не в этом. Главная прелесть состояла в моих отношениях

с Пичужкой. Мы были ровесники и с раннего детства росли и развивались вместе. Правда, жили мы в разных местах: Пичужка — в Москве, я — в Омске; однако каждое лето мы проводили вместе два-три месяца, а в остальное время вели обширную переписку, в которой обменивались мыслями и чувствами обо всем, что нас интересовало: о гимназических событиях, о прочитанных книгах, о друзьях и знакомых, о домашних неурядицах, о театральные представлениях, о личных настроениях, о планах на будущее и о многом другом. Вся наша жизнь находила свое повседневное отражение в этой переписке. Мы обсуждали в ней различные вопросы, спорили, аргументировали, приходили к соглашению, иногда ссорились и, в конце концов, примирялись. В результате все наше духовное развитие не только шло параллельно, но и в постоянном тесном контакте и взаимодействии. Мы невольно влияли друг на друга и вместе с тем стимулировали друг друга. Эта дружба с Пичужкой, продолжавшаяся вплоть до окончания гимназии, являлась основным стержнем моей внутренней жизни в годы детства, отрочества и ранней юности и составляет одну из самых лучших страниц в книге моего прошлого.

В дальнейшем пути наши несколько разошлись: я пошел дорогой революции; Пичужка пошла дорогой передового, радикального культурничества. Она кончила Высшие женские курсы в Москве, работала сначала в воскресной школе для рабочих, потом на Пречистенских рабочих курсах, читала лекции, писала статьи и брошюры. Жизнь не очень баловала Пичужку. Ранний брак, семейные неудачи, необходимость самой содержать и воспитывать детей наложили свой отпечаток на ее натуру. Однако эта изящная, миниатюрная женщина с черными, как смоль, волосами оказалась сделанной из крепкого металла. Она бодро выносила удары капризной судьбы, неутомимо работала, систематически расширяла свой кругозор и образование. В советские времена Пичужка связала свою судьбу с рабфаками, а позднее, после ликвидации рабфаков, перешла на лекторско-литературную работу. Никогда не принадлежала ни к какой партии, она тем не менее всю жизнь отдала на службу трудящимся массам и внесла свою лепту в дело их культурного подъема и просвещения.

Расхождение путей отразилось и на наших отношениях с Пичужкой. Прежняя дружеская гармония исчезла. Появились известные трещины и диссонансы. К тому же рево-

люционная борьба бросала меня из одного места в другое и делала поддержание систематических связей очень затруднительным. Я годами не видал Пичужки. Переписка наша то вспыхивала, то угасала. Жизнь и работа в разных условиях, в разной обстановке, в разных странах (я провел много лет за границей, сначала в эмиграции, а потом, в советские времена, на дипломатической работе), естественно, создавала известное взаимное отчуждение. Однако я навсегда сохранил и до сих пор сохраняю теплое чувство к ближайшему духовному спутнику раннего периода моей жизни, — самого важного периода в жизни каждого человека, когда закладываются основы его ума и характера, когда формируется его духовное «я».

Впрочем, я далеко забежал вперед. В то памятное лето в Кирилловне Пичужке шел пятнадцатый год. Она находилась в том переходном состоянии полудевочки-полуженщины, когда все мысли и чувства так полны резкими колебаниями и противоречиями. Как живая, встает она в моей памяти: миниатюрно-худенькая, слегка угловатая, с смуглым лицом и шапкой ярко-черных, как вороново крыло, волос. Карие глаза смеются и дразнят. Пестрое ситцевое платье ловко обтягивает ее начинающую формироваться фигурку. От всего ее существа веет ароматом весны и очарованием начинающей пробуждаться юности.

Мы большую часть времени проводили вместе. Ходили гулять, собирали ягоды и грибы, играли в крокет, читали, разговаривали. Особенно я любил, когда в сумерки или вечером Пичужка играла на рояли. Не в пример мне, она много и систематически занималась музыкой и к этому времени уже стала хорошей пианисткой. Пичужка садилась за клавиши, а я примащивался где-нибудь поблизости, в деревянной качалке или на полинявшем, выцветшем диванчике. Пичужка играла, а я слушал и думал. О чем? Я не всегда мог проконтролировать свои собственные мысли. Музыка вызывает у меня какое-то особое ощущение: точно я плавно и ровно плыву по широкому поющему морю. Без всяких усилий я двигаюсь вперед. Волны звуков катятся, набегают на меня, отбегают, снова набегают, а я плыву, плыву, и в голове моей в ответ этим волнам рождаются и вибрируют мысли-звуки, мысли-образы, которые не зависят от моей воли, которые живут сами по себе. Вот такие ощущения я часто испытывал в те вечера, когда Пичужка подходила к инструменту. Играла она Баха, Бетхо-

вена, Шопена, Рубинштейна, Мендельсона и многих других композиторов. Когда она кончала какую-либо вещь, я останавливал ее и говорил:

— Ну, давай теперь осмыслим ее. Что хотел сказать композитор?

И мы начинали «осмысливать». Наше воображение рисовало одну картину за другой. Часто мы расходились в толковании. То, что мне казалось свистом осеннего ветра. Пичужке напоминало заунывную песню пьяного гуляки. Там, где мне слышались звуки колоколов, Пичужка улавливала ярмарочную музыку. Иногда мы спорили до хрипоты, роясь в поисках доказательств в биографиях композиторов. В это лето, однако, Бетховен не завоевал меня, — любовь к Бетховену пришла позднее; но Бах произвел на меня огромное впечатление. Его фуги казались мне вершиной музыкального творчества. Когда Пичужка играла первую фугу, я почти видел перед собой высокие своды сурового готического храма и маленького органиста, несущегося на крыльях извлекаемых им из своего инструмента звуков в бесконечные пространства вселенной. Еще больше мне нравился Мендельсон. Его «Песни без слов» приводили меня в совершенный восторг. «Весенняя песня» и «Похоронный марш» трогали меня — каждое произведение по-своему — до глубины души. Я мог слушать их без конца.

Больше всего, однако, мы разговаривали. Оба мы зимой вели дневники. Теперь Пичужка читала мой, а я читал ее дневник, и страница за страницей вызывали у нас взаимный обмен мнений, споры, рассуждения, наплыв новых мыслей. Очень любили мы также «рецензировать» прочитанные нами произведения. Читали мы в те годы страшно много — и русских и иностранных писателей. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Некрасов, Лев Толстой, Короленко, Мельшин, Диккенс, Войнич, Шиллер, Ожешко, Бичер Стоу, Шекспир, Гёте, Гюго и другие мастера слова были нашими постоянными духовными спутниками. И хотя в письмах друг к другу мы обычно делились впечатлениями от прочитанных книг, но сейчас, летом, на свободе, так интересно и приятно было поговорить поподробнее о том или ином произведении, почему-либо оставившем особенно сильное впечатление. Помню, однажды речь у нас зашла о Тургеневе вообще и об «Отцах и детях» в частности.

— Мне страшно нравится Базаров, — восторженно гово-

рил я. — Это мой идеал! Я так хочу походить на Базарова... И, знаешь, Пичужка, нынешней зимой я старался подражать Базарову и всем резать правду в глаза.

— Даже учителям? — перебив меня, быстро спросила Пичужка.

Ее вопрос привел меня в некоторое замешательство, ибо я все-таки не рисковал применять «базаровские методы» в моих отношениях с гимназическими педагогами.

— Учителям? — несколько смущенно переспросил я. — Нет, какие же разговоры могут быть с учителями? Но с товарищами я всегда откровенен: что думаю, то я говорю... И уж, во всяком случае, товарища я никогда не выдам. Это мое убеждение.

Пичужка заметила мое смущение и, лукаво посмотрев на меня, ответила:

— Вот видишь, твой Базаров не всегда годится... И потом он так резок и груб. Иногда он меня просто раздражает. Мне нравится Инсаров из «Накануне». В нем меньше рисовки и больше искренности.

Мы вступили в длинный спор. У Пичужки был острый ум и умение находить аргументы. В конце концов, каждый остался при своем, но должен сознаться, что после этого разговора мое отношение к Базарову несколько изменилось: он попрежнему очень нравился мне, однако образ тургеневского героя как-то слегка потускнел в моем воображении, и слишком прямолинейно подражать ему я перестал.

В другой раз я спросил Пичужку, читала ли она только что появившийся тогда роман Г. Уэлса «Борьба миров»? Она ответила отрицательно. Тогда я с большим увлечением и различными подробностями рассказал ей содержание этого знаменитого произведения. В связи с моими астрономическими планами и занятиями оно меня сильно волновало. Пичужка тоже очень заинтересовалась фантазией английского писателя. Сидя на берегу тихой подмосковной речки, мы долго обсуждали вопрос о возможности межпланетных сообщений. Я рассказал Пичужке в этой связи все, что знал о Марсе и его «каналах», лет за двадцать перед тем зарисованных итальянским астрономом Скиапарелли. Теперь эти каналы совершенно развенчаны и признаны чуть ли не продуктом слишком живого воображения их «автора». Но тогда в них верили серьезные ученые, усматривая в наличии каналов доказательство существования на Марсе

высших форм жизни, подобных тем, какие существуют на Земле. Многие при этом полагали, что марсиане должны стоять по уровню культуры значительно выше земного человека. Закончив свое изложение, я прибавил, что больше всего на свете хотел бы побывать на Марсе.

— Ну, а если бы ты погиб при этом? — с некоторым раздумьем спросила Пичужка.

— Я готов рискнуть! — горячо ответил я. — Я отдал бы жизнь за такой полет.

Пичужка казалась заинтересованной и долго расспрашивала меня о технических возможностях столь смелого предприятия. Я выложил перед ней весь тот научно-фантастический материал, который ранее почерпнул у Жюль Верна и Уэлса. Пичужка слушала очень внимательно, и у меня было такое впечатление, что она «благословляет» меня на отважную попытку. Вдруг какая-то тень прошла по лицу Пичужки, она круто повернулась ко мне и голосом, в котором слышалось скрытое раздражение, неожиданно выпалила:

— Тетя все-таки права: ты—ужасный эгоист, Ванюшка! Я был поражен до глубины души.

— Эгоист? — в недоумении спросил я.

— Ну, подумай, — с горячностью отвечала Пичужка, — тебя здесь все любят, о тебе заботятся, тебя воспитывают, стараются удовлетворить каждое твоё желание, а ты что? Ты готов наплевать на всех ради своего удовольствия лететь на этот проклятый Марс и неизвестно зачем ломать себе голову. А ты подумал о своих родителях, обо всех нас?

Я стал энергично возражать и апеллировать к толстой книге о «Мучениках науки», которую мы с Пичужкой читали за несколько лет перед тем. Но Пичужка ничего не хотела слушать.

— Нет, ты просто черствый, бессердечный человек... Вместо сердца у тебя электрический прибор!

Мне стало грустно. Мать уже давно обвиняет меня в сухости и черствости. Тетки при каждом удобном и неудобном случае твердят, что у меня «нет сердца». И вот теперь Пичужка, мой лучший друг, говорит об «электрическом приборе»... Неужели я уж так плох? В душе моей подымался глубокий внутренний протест, но я не был вполне уверен в своей правоте. Я подумал немного и сказал:

— Видишь ли, Пичужка, мне кажется, что я принадлежу к той породе людей, у которых разум преобладает над сердцем... Я — человек не сердечных, а головных страстей.

Эти случайно вырвавшиеся у четырнадцатилетнего мальчика слова оказались пророческими. Правильность их была подтверждена опытом всей моей последующей жизни.

В памяти у меня встает и еще один случай. Сидя на лавочке, неподалеку от нашей дачи, мы с Пичужкой «рецензировали» гётевекого «Фауста». Нам обоим очень нравилось это великое произведение, хотя всей глубины его мы тогда, конечно, не понимали. Это сказывалось, между прочим, и в том, что особенное наше внимание привлекали не Фауст и Мефистофель, а Гретхен. Мы горячо обсуждали ее трогательно-нежный, наивный образ, причем я с несколько показной развязностью заявил:

— Нет, Гретхен — героиня не моего романа!

Пичужка возражала и при этом пустилась в длинные рассуждения о философии, морали и вечной женственности. Она, между прочим, в этот период почему-то была убеждена, что «полная жизнь» женщины кончается в семнадцать лет! Поэтому не было, пожалуй, оснований сожалеть о «преждевременной смерти» Гретхен. Пичужка впала почти в пессимизм, говорила грустно-пониженным тоном, так что и я невольно поддался ее настроению.

Потом она оторвалась взглядом от земли, на которую упорно смотрела во время своих «размышлений вслух», как-то изящно, по-кошачьи, повернулась и подняла голову вверх. Был яркий летний день. По глубокому синему небу медленно ползли блестящие белые облака. Солнечные лучи заливали деревушку, луга, невдалеке темневший лес. Пичужка вдруг вскочила с своего места и, совсем преобразившись, воскликнула:

— Как тебе нравится мое новое платье?

Она закружилась на месте так, что ее синяя сатиновая юбочка стала широко раздуваться по ветру. Я похвалил платье, которое действительно было прелестно, и видел, что это доставляет Пичужке большое удовлетворение. Потом она потрянула своими густыми черными волосами, схватила меня под руку и потащила к речке крича:

— Пойдем на берег. Там я видела вчера чудесные цве-

ты. Я буду венки плести, а ты будешь декламировать мне стихи.

Я не сопротивлялся.

Да, в этой очаровательной смуглянке, несмотря на всю ее серьезность и начитанность, было, несомненно, то «вечно женственное», которому так поклонялись поэты...

Однако самое важное событие этого лета — событие, сыгравшее громадную роль в моем духовном развитии описываемого периода, — произошло перед самым концом моего пребывания в Кирилловке. Как-то тетя Лиля, обычно мало вмешивавшаяся в наши дела с Пичужкой, порекомендовала нам прочесть роман немецкого писателя Шпильгагена «Один в поле не воин». Она сама читала этот роман в молодости, и он тогда ей очень понравился. В ближайший приезд из города дядя Миша привез нам произведение Шпильгагена, толстый том страниц на шестьсот, и мы с Пичужкой приступили к его чтению. Иногда читали вслух, но большей частью читали в одиночку, по очереди, догоняя и перегоняя друг друга. Начали мы без большого энтузиазма, даже с известной прохладцей: несколько устрашали размеры книги и длиннотно-мешковатая манера изложения. Отталкивала также книжность и высокопарность, разговоров главных героев. Но с каждой новой страницей наше настроение все больше менялось. На половине романа мы целиком были захвачены его событиями, а к концу не могли думать ни о чем, кроме разыгрывавшейся на его страницах драмы. Когда была дочитана последняя строчка, мы долго сидели молча. Наконец Пичужка сказала:

— Это все надо обдумать... У меня голова кругом идет.

Роман Шпильгагена представлял собой широкое и пестрое полотно. Действие его начиналось перед германской революцией 1848 года в феодальных владениях барона Тухгейма — мякотелого, либеральствующего помещика, в глубине души, однако, переполненного традициями и предрассудками своего класса. В его доме вместе с сыном барона, Генри, воспитываются Вальтер, сын лесничего Тухгейма, и его двоюродный брат Лео, сын рано умершего крестьянина, который надорвался на работе для Тухгейма. Вальтер — мягкий, добродушный, романтический юноша — прекрасно уживается в баронской обстановке, впоследствии влюбляется и, в конце концов, женится на дочери Тухгейма, Амелии. Лео представляет ему полную противо-



положность. Мрачный, замкнутый, озлобленный вечной нуждой и побоями в доме отца, он ненавидит барона и презирает Вальтера и его семью. Некоторое уважение он чувствует только к сестре Вальтера, Сильвии, — гордой и сильной девушке, по и с ней Лео большей частью лишь соперничает и ссорится. Неудовлетворенный своим положением и жизнью, Лео ищет выхода в религиозном энтузиазме, но скоро разочаровывается в боге: этому сильно помогает общение Лео с священником Урбансом, для которого религия — лишь «узда для народа» и хорошее средство для собственного возвышения. Тогда Лео подпадает под влияние местного учителя естествознания Туски — революционера-демократа, ставящего своей задачей ниспровержение господства феодализма. Приходит революция 1843 года. Крестьяне Тухгейма устраивают восстание. Туски стоит во главе крестьян, Лео ему помогает. Восстание кончается неудачей, и Туски, а вместе с ним и семнадцатилетний Лео бегут за границу.

Проходит много лет. В Пруссии наступает эпоха гнилого компромисса между феодализмом и поднимающей голову буржуазией. Феодалы во главе с королем правят страной, а буржуазия, в лице «партии прогрессистов», играет в оппозицию в стенах бессильного и безвольного прусского ландтага. На горизонте начинает вырисовываться фигура Бисмарка. Барон Тухгейм, в соответствии с веяниями нового времени, уже не живет больше в своем имении. Он переселился в Берлин и породнился с еврейским банкиром фон-Зонненштейном, который теперь строит фабрики и заводы во владениях Тухгейма. Голодные крестьяне Тухгейма превращаются в голодных рабочих, ибо Зонненштейн знает, как выколачивается прибавочная стоимость. Вальтер тоже живет в Берлине. Он стал либеральным педагогом, писателем и за один из своих романов даже попал в тюрьму. Неожиданно на сцене вновь появляется Лео, но это уже совсем не тот человек, который когда-то бежал из имения Тухгейма. Годы, проведенные за границей, не прошли для него без следа. Теперь он — врач, образованный политик, блестящий оратор, светский человек с прекрасными манерами и умением очаровывать людей. Прimitивный революционный демократизм Туски его больше не удовлетворяет. Он попрежнему глубоко предан делу народа, но он хочет идти к своей цели иным путем. Он бесконечно верит в свои силы и готов принести на алтарь

борьбы величайшие жертвы, покой, комфорт, успех, любовь, самую жизнь. Лео в одном месте говорит:

«Вы, мирные добродетельные люди, свивайте себе теплые гнездышки на безопасных утесах на берегу океана, а мне оставьте океан, который, к сожалению, не безграничен».

Лео опять встречается с Сильвией. На этот раз между ними загорается сильная любовь. Сильвия верит в Лео и оказывает ему всяческую поддержку. План Лео сначала состоит в том, чтобы убедить «прогрессистскую» буржуазию в необходимости опереться на рабочих в борьбе против феодализма, но это ему не удается. Тогда Лео круто поворачивает фронт и пытается убедить короля в важности привлечь на свою сторону рабочих для борьбы с буржуазной оппозицией. Используя красоту Сильвии, через тетушку Сарру, состоявшую при дворе, Лео проникает к королю и развивает пред ним свои идеи. Король играет с Лео, дает ему денег для выкупа тухгеймских фабрик у Зонненштейна, дарит ему роскошную виллу, но отказывается назначить новое правительство, готовое проводить социальные реформы. Лео создает на тухгеймских фабриках ассоциацию рабочих, дело не клеится, ассоциация не в состоянии конкурировать с капиталистическими предприятиями и стоит накануне краха. Лео пытается спасти ассоциацию, заложив подаренную ему королем виллу ростовщику. Жертвуя любовью Сильвии, он хочет жениться на дочери одного генерала, для того чтобы укрепить свои связи с придворной средой и усилить свое влияние на короля. Но все вокруг начинает рушиться. Ассоциация рабочих окончательно вылетает в трубу, ее члены в отчаянии сжигают фабрику, король умирает, Сильвия топится, а упавший духом, разочарованный Лео кончает жизнь на услужливо подстроенной автором дуэли.

Не подлежит сомнению, что роман Шпильгагена, который сам был прусским прогрессистом, является либерально-обывательской карикатурой на Лассаля. Он был опубликован в Германии вскоре после смерти последнего, в конце 60-х годов прошлого века. И когда лет десять спустя после Кирилловки, уже будучи сознательным марксистом, я перечитал «Один в поле не воин» еще раз, он поразил меня глубоко проникающим его духом мешанства. Мне было скучно и нудно пробегать длиннейшие рассуждения

его героев и патетические списания их, не понятных мне, страданий.

Но тогда, в то памятное лето в Кирилловне, все было совсем иначе. Пичужка не зря сказала, что у нее «голова идет кругом». Наплыв новых образов, мыслей, впечатлений, вызванный романом Шпильгагена, был так велик, что мы несколько дней не могли притти в себя. Точно пред нашими глазами поднялась какая-то завеса и пред нашим взором открылись какие-то дальние, широкие горизонты—еще не ясные, туманные, но бесконечно заманчивые и интересные. Впервые я читал картины революции, впервые я видел механизм западноевропейской политики (хотя бы и в плохоньком прусском издании), впервые я узнавал о наличии партий, парламента, министерств, впервые я слышал о рабочем вопросе и рабочих ассоциациях. Отрицательные черты романа—его прогрессистский дух, его полное извращение учения Лассалья — мне тогда не были заметны. Зато широкое полотно европейской жизни — такой свежей, свободной, сознательной по сравнению с условиями царской России—очаровывало меня, будило в моем сознании новые мысли, новые чувства. Лео сделался моим героем. Я стал говорить его словами и афоризмами. Я избрал его имя своим литературным псевдонимом. Я часто начинал теперь свои письма к Пичужке словами: «Моя дорогая Сильвия» и заканчивал их подписью: «Твой Лео». Я старался подражать своему идеалу в поведении, внешности, манерах. Прочитав «Войну и мир», я сообщал Пичужке, что роман произвел на меня очень сильное впечатление и что я, пожалуй, готов признать за Л. Толстым талант, несколько, напоминающий (но не достигающий) Шпильгагена! Это непомерное увлечение ныне совершенно забытым немецким писателем продолжалось у меня года два, и только в последнем классе гимназии оно было вытеснено уже более зрелыми и сознательными политическими настроениями.

Как бы то ни было, но роман Шпильгагена явился одной из важнейших вех в истории моего раннего духовного развития. До того в поисках огней жизни я шел по путям науки. Теперь начался постепенный поворот на путь ответственности. Этот поворот совершился не сразу и прошел через ряд этапов, но в конечном счете он привел меня на ту дорогу, которая стала столбовой дорогой моей жизни.

### 13. ГИМНАЗИЯ

По возвращении в Омск я стал по-новому присматриваться к окружающей обстановке. Не то, чтобы во мне произошел какой-либо внезапный, крутой сдвиг, — нет, этого не было. Основные линии моего духовного развития оставались те же, что и раньше, однако лето в Кирилловне и особенно роман Шпильгагена не прошли для меня бесследно. Я сделал несколько шагов вперед по пути, которым шел, и теперь многие вещи стали мне представляться в ином свете, чем до того. Главная перемена состояла в том, что во мне проснулось чувство критики существующего порядка. А отсюда, уже в дальнейшем, пришли протест против этого порядка и участие в революционной борьбе за его разрушение.

Впрочем, осенью 1898 года первое проявление моих новых настроений носило несколько пестрый и хаотический характер. Я всегда много читал, но теперь я стал поглощать книги и журналы целыми грудями. Никто не руководил моим чтением, и я спешно, упорно, в состоянии какого-то перманентного умственного возбуждения, всасывал в себя самые разнообразные мысли, чувства, образы, сведения, факты из всех областей человеческого бытия. Происхождение вселенной, проблемы нравственности, вопросы социальной борьбы, планетная система, молекулярное строение тел, философия Сократа, искания Фауста, открытия Пастера, религия Магомета, симфонии Бетховена — все это и многое другое совершало бешеный хоровод в моей голове. У меня все время было такое ощущение, точно меня привели к богатому столу, который ломится иод тяжестью самых великолепных и изысканных яств, и сказали: «Ну, насыщайся!» Я страшно голоден и с жадностью набрасываюсь на кушанья. Ем все, что попадает под руку, без ножа и вилки, в диком беспорядке, побольше напихивая в рот, с одной мыслью в голове: «Лишь бы поскорее насытиться, а там все как-нибудь переварится».

Мало-помалу, однако, из этого хаоса стали вырисовываться очертания какого-то смутного, постепенно складывающегося порядка. Мое чтение все больше стало концентрироваться на таких именах, как Писарев, Добролюбов. Некрасов, Щедрин, Герцен, Гейне, Шиллер, Байрон. А мои мысли стали все больше кристаллизоваться на выводе, что

самым большим грехом человека является умственная трусость, что величайшей добродетелью является умственная смелость и что лучшее средство для борьбы с умственной трусостью есть оружие критики, которое я тогда почему-то именовал «скептицизмом».

Но на что я мог в первую очередь направить острие своей критики? Очевидно, на то, что в ту пору больше всего составляло окружающий меня мир, чем я больше всего болел, что доставляло мне больше всего неприятностей и огорчений, — короче говоря, на гимназию. Одно случайное обстоятельство в сильной степени способствовало такому выбору. Я прочитал у Писарева, которым в то время очень увлекался, блестящую критику постановки высшего образования в России 60-х годов прошлого века в статье, озаглавленной «Наша университетская наука». Эта статья произвела на меня огромное впечатление. И сразу же в моей голове встал вопрос:

— Ну, а как обстоит дело с нашей гимназической наукой?

Итак, мишень была найдена. Материала же для стрельбы по мишени было сколько угодно.

Гимназия! Когда я сейчас произношу это слово, в моей памяти невольно встает целая галерея давно забытых картин и образов...

Желтое двухэтажное каменное здание, с большой иконой над входной дверью. Длинные полутемные коридоры, в которых даже в самый жаркий летний день почему-то холодно. Выкрашенные в серую краску классы с рядами желто-грязных, изрезанных ножами, забрызганных чернильными пятнами парт. В каждом классе такая же, пострадавшая от времени и «бурь» кафедра, а по обе стороны ее — черные доски с губками и мелками. Большой актовый зал в конце нижнего коридора, где нас, гимназистов, изредка собирают по торжественным дням и где в промежутки между ними мы занимаемся гимнастикой. Широкий двор с несколькими тощими деревьями, где с шумом и гамом в теплые дни мы проводим большую перемену. Здесь можно побегать, покричать, поиграть в пятнашки, покрутиться на гигантских шагах или подняться на руках по лестнице или канату. В конце двора низкий, точно приплюснутый деревянный дом — квартира директора. Это особый мир, отделенный



*Омская гимназия тех времен.*

от гимназии невысоким почерневшим забором, откуда часто доносятся вкусные запахи и аппетитный стук ножей по тарелкам. Там иногда смутно мелькают женские силуэты, возбуждающие любопытство гимназистов. Но туда нам доступа нет. Оттуда нами только правят...

Хмуро, неуютно, холодно, неприветливо в этом двухэтажном желтом здании. Оно не привлекает, а отталкивает. Каждый лишний час, проведенный здесь, кажется потерянным.

Но дело не только в здании.

Вот наш «гимназический Олимп», как иронически зовут гимназисты учительский персонал. Какие люди! Какие типы!

Директор гимназии — «русский чех» Мудрох. Не знаю, какой ветер занес его из родной Чехии в Россию, но знаю, что он прочно окопался и пустил крепкие корни в бюрократической машине своего нового отечества. Высокий, толстый, с гладко причесанными на пробор седыми волосами, он редко показывается гимназистам. Он вообще не любит двигаться, а сверх того, считает, что того требуют

интересы субординации и дисциплины. «Народ» не должен слишком часто и близко видеть своего «властителя»—нет, не должен. Иначе исчезнет «расстояние», потеряется «уважение», начнется «анархия». Мудрох сидит у себя в директорском кабинете, подписывает бумаги, вызывает к себе учителей. Говорит Мудрох сухим, скрипучим голосом, с сильно выраженным иностранным акцентом, брызжет при этом слюной и в такт словам делает равномерные движения рукой. Кажется, будто он заколачивает мысли в голову своего слушателя, как молоток заколачивает гвозди. Учителя не любят Мудроха и с удовольствием рассказывают о нем всякие сплетни и анекдоты. Гимназисты Мудроха просто ненавидят — за его высокомерие, за его бездушный формализм, за его мертвенный, но весьма эффективный бюрократизм...

Инспектор гимназии — Соловьев. Полная противоположность директору по внешности и характеру: маленький, кругленький, необычайно подвижный, он, точно шарик, целый день катается по коридорам, классам, уборным, совершенно не давая жить гимназистам. Лысина Соловьева блестит издали, на маленьком носу потешно торчат стальные очки, на висках забавно топорщатся клочья нечесаных седоватых волос. Соловьев — гроза гимназии. Он везде и нигде. Он внезапно вырастает пред каждой собравшейся группой учащихся, неожиданно ловит каждого преступившего правила гимназиста и тут же, на месте, творит суд и расправу. То и дело слышится:

— Почему у тебя расстегнута пуговица?.. Стань столбом!

— В чем это ты перемазал руки? В чернилах?.. Стань столбом!

— Что это у тебя там, в рукаве? Покажи, покажи! Не бойся!.. Эхе! Папироса!.. Стань столбом!

Таких «столбов» Соловьев натворит десятка два и затем на четверть часа убегает в учительскую. Но ему там не сидится. Он вновь появляется в коридоре и начинает опять творить. Почему-то гимназисты окрестили Соловьева именем «Чиж». И как только он показывается на одном конце коридора, так по всей его длине, точно какой-то лесной разбойный клич, несется предостерегающе:

— Чи-и-ж! Чи-и-ж!

Соловьев приходит в ярость, кидается на первого попавшегося, хватая его за шиворот и, тыкая носом в стену, бешено кричит:

— Ты кричал! Ты кричал! Стань столбом! Стань столбом!..

Учитель латинского языка — Михновский. Высокий, рыжий, с круглыми золотыми очками, сквозь которые он любит смотреть на ученика «пронзительным» взглядом. Он знает свой предмет и считает, что это — «пуп» гимназической науки. Он так именно и выражается: «пуп». Все преподавание Михневского построено на системе жестокой зубрежки. Никакого другого метода он не признает. Мы читаем с ним Цезаря, Вергилия, Горация, но мы не имеем ни малейшего представления ни об этих авторах, ни об их эпохе, ни об условиях их творчества и развития. Мы знаем лишь отдельные строчки и стихи. На сегодня нам задано выучить пятнадцать строчек из «Галльской войны» Цезаря, завтра нам задано выучить двенадцать стихов из «Метаморфоз» Овидия, на послезавтра нам задано выучить «Оду» Горация и т. д. Мы выучиваем, но не понимаем, почему Цезарь так интересовался войной с галлами, а Овидий писал о превращениях. Однако если ученик бойко произносит и переводит отрывок, Михновский доволен. Если же нет...

— Никуда не годится! — гремит его голос.

И затем в классном журнале против соответственной фамилии каллиграфическим почерком с сладострастной медлительностью выводится «двойка». Но это было бы еще полбеда. Самое худшее начинается после того. Михновский возводит очи к грязному потолку и, сделав благочестивый вид, приступает к «словосечению» своей жертвы. Он долго, нудно, противно измывается над гимназистом, то и дело показывая классу свои черные гнилые зубы. Кажется, будто Михновский бесконечно жует этими зубами длинную, тоскливую резинку. «Всю душу изматает», говорят о нем ученики и при этом раздраженно плюются.

А вечером Михновский бродит, как тень, по Любинскому проспекту, ловит и записывает в книжку гимназистов, оказавшихся на улице позже восьми часов...



Учитель русского языка—Воронин. Мрачный, сосредоточенный, с шатеновой козлиной бородкой и ярко-красным носом, выдающим его пристрастие к алкоголю. Про него рассказывают, что, приехав в Омск лет десять назад, он был полон либеральных стремлений и добрых намерений. Однако жизнь очень скоро показала ему свои шипы. Начальство преследовало Воронина, семья быстро росла, положение становилось безвыходным. Воронин не сумел «приспособиться» к окружающей среде и просто «сломался». Его надлом принял слишком частую в те времена форму: он стал пить. Воронин — прекрасный преподаватель; он хорошо знает предмет, он умеет понятно изложить самое трудное правило, он идеально справедлив, у него нет «любимчиков» и «пасынков». Но Воронин пьет, жутко пьет. Иногда он является в класс с красным, возбужденным лицом, с горячечными глазами и запахом перегара изо рта. Иногда он вдруг совсем исчезает на два-три дня,—тогда все знают: Воронин запил. Потом он приходит в гимназию бледный, сердитый, бешено раздражительный. В такие минуты каждый из учеников трепещет, как бы на него не обрушился страшный гнев учителя. Но в общем все-таки гимназисты относятся к Воронину хорошо: они уважают его за знание дела и справедливость. И, кроме того, они смутно понимают внутреннюю трагедию этого человека и сочувствуют ему...

Учитель истории — Борткевич. Человек округлых форм и сибаритских наклонностей. Большой говорун и остролов. Когда он садится на кафедру и каким-то игриво-небрежным жестом вскидывает на свой плоский нос пенсне, весь класс замирает в ожидании чего-нибудь «интересного». И Борткевич редко обманывает эти ожидания. Сегодняшний урок—об Александре Македонском (конечно, в глубокомысленной интерпретации знаменитого Иловайского), но для Борткевича это не имеет ни малейшего значения. Он подходит к доске и мелом быстро рисует две линии — острый угол и полуокружность. Затем, сделав хитрое лицо и раздвинув почти до ушей узенькие щелочки своих глаз, он обращается к великовозрастному ученику, сидящему на второй парте:

— Киселев, скажи, что тебе кажется более красивым: угол или полуокружность?

Киселев в недоумении смотрит на Борткевича, потом на класс, потом опять на Борткевича и, в конце концов, нерешительно отвечает:

— Ну, допустим, полуокружность, хотя...

— Вот то-то же, — в восхищении перебивает его Борткевич. — Конечно, полуокружность! А почему?

На это Киселев уже совершенно не знает, что сказать. Тогда Борткевич вновь подымается на кафедру и с торжеством провозглашает:

— А потому, что человеческому глазу округлость легче воспринимать, чем углы... Оттого-то женская фигура считается более красивой, чем мужская.

Класс громко ржет в ответ на последнее замечание учителя.

Борткевич оправдал возлагавшиеся на него надежды.

Потом мы переходим к учебе. Борткевич спрашивает, Борткевич говорит, Борткевич комментирует события прошлого. Но если вы послушаете его в течение нескольких месяцев, то должны будете прийти к выводу, что вся история есть, в сущности, лишь история царей и сальных анекдотов. Не вполне ясно, любит ли Борткевич царей, но зато в сальных анекдотах он понимает толк. Ого! Еще как понимает! Он знает их сотни и всегда рассказывает их смачно, захлебываясь от удовольствия, с энтузиазмом.

Еще бы! Борткевич имеет репутацию первого ловеласа в городе. Об его любовных похождениях рассказывают самые невероятные истории. Рассказывают и при этом, покачивая головой, недоуменно прибавляют:

— И чем только берет, подлец?! Добро бы, красавец был, а то ведь, прости господи, смотреть не на что: ни кожи, ни рожи...

Учитель словесности — Петров. Молодой, белобрысый, с лихо закрученными усами и наглыми голубыми глазами. Вид такой, что невольно хочется сказать: «Из молодых, да ранний». Способен, недурно знает русскую литературу, понимает в ней толк. Но прежде всего и раньше всего — карьерист. Прекрасно гнет шею перед начальством и потрафляет ему антисемитизмом. Однако не хочет ссориться с гимназистами и шеголяет перед ними либеральной демагогией. Непрочь иной раз, особенно подвыпивши, поплясать без мундира, в рубашке, с учениками, но еще более скло-

нен доносить директору «на крамольное вольномыслие» своих питомцев. О Петрове говорят: «Он далеко пойдет». Но именно поэтому гимназисты, несмотря на все усилия Петрова, не чувствуют к нему доверия. Они отдают должное его уму и знаниям, но общее мнение гласит: «Скользко, как угорь, — продаст ни за грош...»

Учитель французского языка — Гален. Красивый брюнет лет под пятьдесят. Черные волосы с яркой проседью. Говорят, в прошлом был парикмахером, и действительно от него и сейчас несет запахом фиксажура и душистого мыла. Учебой занимается мало, а больше все строит страшные рожи и рассказывает о постановках в парижских театрах. Никто у него ничего не делает и, конечно, ничего не знает. Изредка Гален вызывает кого-нибудь и спрашивает урок. Результат обычно оказывается плачевный. Тогда Гален сердится и скороговоркой кричит:

— Скверно, скверно! Сесть на место! Надо получиться.

Затем делает очередную рожу и переходит к очередному сообщению о французском театре...

Учитель немецкого языка — Берг. Он оправдывает свою фамилию (по-немецки «Berg» означает «гора»). Это не человек, а какая-то огромная мясная туша, три аршина в объёме. Весит Берг десять пудов, съедает за обедом пять тарелок супу и десяток котлет. Рассказывает всем и каждому, что он «кончил на Дерптский университет» и является «специалист» по немецкой литературе. Может быть, это и так, но за тяжеловесностью особы Берга ничего такого не заметно. Берг, конечно, больной человек, и ему следовало бы заняться своим здоровьем. Вместо этого, он занимается с нами немецким языком, или, точнее, тихо похрапывает на уроках. Придет, сядет на кафедру, которая начинает трещать под его могучей фигурой, вызовет одного-двух учеников и вдруг... голова Берга уютно склонилась на подставленную правую руку, глаза закрылись, и из громадного мясистого носа торопливо понеслись легкие подозрительные звуки. Проходит несколько минут. Кто-нибудь из учеников из озорства громко хлопнет верхней крышкой парты. Берг внезапно дернется, вздрогнет, откроет глаза и, как будто ни в чем не бывало, спросит:

— Николаев, ты почему замолчал?

— Да вы меня не вызывали,—с удивлением отвечает Николаев.

— Как не вызывал?—начинает кипятиться Берг.—Что ты выдумываешь? Отвечай, отвечай!

И когда ошеломленный Николаев встает, для того чтобы отвечать сегодняшний урок, голова Берга вдруг опять уютно склоняется на руку, и по классу начинается его сладкий храп.

В одном из классов был такой случай: когда Берг, то обычаю, задремал, все ученики, один за другим, потихоньку вышли. Случайно забежавший Чиж был потрясен открывшейся его взору картиной: пустой класс, а на кафедре громко храпящая гигантская груда костей, жира и мяса, именуемая учителем немецкого языка Бергом...

Надо ли продолжать зарисовку портретов этой педагогической галереи? Не думаю. Сказанного выше совершенно достаточно.

Таков был наш омский «гимназический Олимп» времен моего детства и отрочества. Правда, позднее, к концу моего пребывания в гимназии, когда из отрока я стал превращаться в юношу, картина начала несколько меняться. Среди Чижей, Борткевичей и Михновских появилась новая учительская поросль, более свежая и прогрессивная. Об этом я расскажу в свое время. Однако вплоть до шестого класса мне все время приходилось иметь дело с теми «олимпийцами», которых я только что изобразил, и потому именно против них я направил нож моего критического анализа по возвращении из Кирилловки. Особенно резко при этом мне бросались в глаза два момента.

Во-первых, мертвенно-бездушный формализм, проникавший нашу учебную систему и определявший собой отношение учительского персонала к учащимся. Все преподавание было построено на бессмысленной зубрежке, а все воспитание состояло в последовательном проведении принципа «тащи и не пушай». Гимназист был связан по рукам и ногам десятками нелепых, стеснительных правил: он должен был обязательно посещать церковь, он должен был обязательно носить ранец, он не должен был ходить в театр, он не должен был позже восьми часов вечера появляться на улице и т. д. Все внимание гимназической администрации было обращено на то, чтобы непременно уложить моло-

дежь в эти тугие рамки. Я уже говорил, что латинист Михновский ловил по вечерам запоздавших учеников. Но он был не один. Директор Мудрох систематически посылал классных наставников и их помощников на розыски «неподобных поступков» (как он выражался) со стороны гимназистов и требовал от них обязательного представления компрометирующего материала. Кто подобного материала не приносил, получал реприманд в таком виде:

— Дурак! Деньги получаешь, ходишь, ничего не видишь! Дурак!

А инспектор Соловьев нередко прятался у подъезда и записывал учеников, которые не носили ранца за плечами. Да, наши учителя были настоящие «человеки в футляре», которые прекрасно выполняли задание царского режима — душить мысль и парализовать волю подрастающего поколения.

Во-вторых, меня глубоко возмущало бесстыдное подхалимство, которое стало второй натурой педагогического персонала. Была целая лестница: инспектор ходил на задних лапках пред директором, преподаватель — пред инспектором, классный наставник — пред преподавателем и т. д. Начальству кланялись, пред начальством лебезили, у начальства лизали пятки. Я помню один замечательный случай. Приехавший из Томска попечитель учебного округа Флоринский посетил нашу гимназию. Еще за два дня до его визита все классы и коридоры мыли, скребли, начищали, приостановив обычные занятия. Накануне дня посещения Михновский, придя в класс, весь свой час убил на «подготовку» учеников к «счастливному событию». Куда девалось его олимпийское величие! На глазах у всех гимназистов он показывал в лицах, что надо делать, если попечитель зайдет к нам в класс, как выходить из-за парты, как кланяться, как улыбаться, как выражать восторг пред мудростью начальства. На следующий день попечитель, как на грех, миновал наш класс, и Михновский был страшно разочарован. Зато в коридоре гимназии разыгралась изумительная сцена: когда в нем появился попечитель в сопровождении директора Мудроха, Чиж побежал петушком впереди и полушопотом, в котором слышались злость и раздражение, зашипел, обращаясь к толпившимся ученикам:

— Кланяйтесь! Кланяйтесь! Что же это вы, батеньки, стоите, как чурбаны?

А в это же время сзади попечителя и директора семенил высокий учитель гимнастики и, жестикулируя и свирепо вращая глазами, из-за спины «олимпийцев» сигнализировал гимназистам:

— Руки по швам! Кланяться!

Глядя на эту картину, мне было тошно и противно.

#### 14. ГИМНАЗИЧЕСКИЙ БУНТ

Вскоре я сделал дальнейший шаг вперед в моем критическом походе против гимназии. Подражая Писареву, я начал писать большую статью под заглавием «Наша гимназическая наука». Я не знаю, почему я собственно стал писать. Опубликовать подобного рода работу в то время нельзя было по цензурным условиям, да к тому же у меня не было еще никаких связей и знакомств в литературных кругах. Тем не менее я стал писать... просто потому, что хотелось писать, потому, что наполнявшие голову новые мысли и запросы властно искали выхода наружу. Возможно также, в этом сказывались заложенные во мне литературные склонности. Работа моя была написана горячо, но наивно, сумбурно и свыше меры цветисто. Она имела, однако, один полезный для меня результат: в процессе писания я поневоле должен был привести свои мысли в известный порядок, суммировать свои наблюдения, точнее формулировать свои выводы и заключения.

Этот опыт не прошел для меня даром. В последующей жизни всякий раз, когда мне приходилось разбираться и находить путеводную линию в хаосе внезапно нахлынувших новых мыслей, чувств, фактов, соображений, я брался за перо. Часто я писал при этом только для самого себя, но игра, несомненно, стоила свечей. Такая работа всегда сильно просветляла голову и помогала найти точку опоры в пестрых и противоречивых явлениях действительности.

Когда я закончил свою статью о гимназической науке, то выводы, к которым я пришел, четко формулировались в двух лозунгах:

Долой классицизм!

Да здравствуют естественные науки!

Конечно, в моих выводах не было ничего оригинального. Они носились тогда в воздухе, их делали тысячи людей во всех концах России, о них кое-что писалось в журналах

и газетах. Но лично для меня эти выводы были почти что откровением. Я поспешил поделиться ими с более близкими мне товарищами по классу. Мои идеи им очень понравились: все ненавидели латинский и греческий языки, по крайней мере, в той форме, в какой они у нас преподавались. И все чувствовали большой пробел в своем образовании от отсутствия естественных наук в программе мужских гимназий (в женских гимназиях естествознание преподавалось). В классе пошли толки и обсуждение поставленного мной вопроса, причем особенно горячо мою точку зрения отстаивал один белокурый, голубоглазый гимназист с забавно коротеньким носом, который он постоянно утирал пальцем, — по имени Николай Олигер. Мы учились с ним вместе уже несколько лет, но до сих пор как-то далеко стояли друг от друга. Теперь, в процессе пережевывания новых мыслей о классицизме и естественных науках, мы сблизились и подружились с ним. Это, как увидим ниже, сыграло большую роль в моем дальнейшем развитии.

Брожение, вызванное в классе моими «еретическими» мыслями о гимназической науке, очень скоро бурно прорвалось наружу и породило крупный скандал в жизни гимназии — первый скандал в истории этой беспокойной зимы 1898/99 года.

Как-то латинист Михновский пришел в класс в очень плохом настроении. Он вызвал одного за другим пять учеников, к каждому страшно придирался, каждому «выматывал душу» грозными нотациями и в результате украсил классный журнал пятью каллиграфически выведенными «двойками». Это сразу накалило атмосферу. Шестым он вызвал сына военного топографа Гоголева — мальчика шустрого и развитого. Гоголев совсем не плохо ответил урок, — как сейчас помню, небольшой отрывок из Горация, — и в нормальных условиях ему была бы обеспечена четверка. Но сейчас Михновский набросился на Гоголева и закричал:

— Никуда не годится!

— Как никуда не годится? — возмутился Гоголев. — Гораций очень трудный автор, и я вчера долго учил урок.

— Молчать! — проревел Михновский. — Я не нуждаюсь в вашем мнении о Горации.

Напряжение в классе становилось все выше. Бедный оголев то краснел, то бледнел. Поведение Михновского

возмутило меня до глубины души, и в ответ на последние слова латиниста я громко, с расстановкой, на весь класс сказал:

— Век живи — век учись.

Михновский вскочил с места, как ужаленный, и бешено заорал:

— Встать на ножки!

Я неохотно поднялся с своего стула и затем демонстративно сел на парту. Я чувствовал, что в меня вселился бес, и знал, что теперь я пойду напролом. Михновский был до такой степени потрясен моей дерзостью, что почти лишился дара слова и только бессмысленно бормотал:

— Это... это... это...

Гоголев был забыт. События принимали гораздо более сенсационный оборот.

— Я давно хотел вас спросить, Александр Игнатьевич, — продолжал я, — зачем мы изучаем древние языки? Мы тратим на них десять-одиннадцать часов в неделю, то есть больше трети всего нашего учебного времени. А для чего?

Я остановился и с самым невинным лицом ожидал ответа от Михновского, но тому было не до ответа. Зато по классу прокатилась настоящая волна. Со всех сторон слышалось:

— Правильно, зачем нам забивают голову этой дребеденью?

— Нас душат глаголами и грамматикой!

— Мы ничего не понимаем в Вергилии и Горации!

— Мы зря тратим время на пустяки!

Вмешался Олигер и саркастически добавил:

— Мы полгода потратили на «Воспоминания о Сократе» Ксенофонта, а запомнили только то, что все справедливое Сократ относит к букве «А», а все несправедливое — к букве «Б». Кому это нужно? И стоит ли овчинка выделки?

Михновский был совершенно ошеломлен этим неожиданно прорвавшимся бунтом. Он сразу потерял всю свою самоуверенность и в растерянности смотрел на возбужденные лица своих питомцев. Потом он как-то обмяк и заговорил уже более человеческим тоном. Михновский снизошел до того, что вступил с нами в спор.

— Как же можно отрицать значение древних языков? — говорил он, с недоумением разводя руками. — Ка-



кая у древних авторов глубина мысли! Какое совершенство формы! «Одиссея» Гомера, «Энеида» Вергилия — это же что-то несравненное... Это сокровищница красоты и поэзии.

Мы бешено возражали. В сущности, никто из нас тогда толком ничего не знал о древней литературе, ибо изучали в гимназии мы не писателей, а строчки и предлоги. Но классицизм был для нас символом всего того гнусного, ненавистного, реакционного, с чем мы каждодневно сталкивались в опостылевшей нам учебе, и потому мы били по Михновскому из наших самых тяжелых орудий.

— Почему такое предпочтение писателям древности? — возмущался я. — Чем Софокл лучше Шекспира, а Ювенал лучше Гейне? Чем Эврипид выше Гёте, а Вергилий выше Шиллера? Писатели нового времени нам ближе, понятнее, а насчет глубины мысли или совершенства формы они ничем не уступят корифеям античного мира.

— Все лучшие мысли древних давно уже восприняты и развиты новейшими европейскими авторами, — вторил мне Олигер. — Надо изучать новые языки, на которых они писали! Теперь не пятнадцатый век. Вы сами нас учили, что «Тетрога mutantur et nos mutamur in illis»<sup>1</sup>.

Оправившийся от испуга Гоголев тоже перешел в наступление и своим звенящим, металлическим голосом кричал:

— Зачем нам классические дряхлости? Лучше изучать естественные науки!

Все остальные ученики, каждый по-своему, энергично поддерживали нас — кто метким словом, кто шумно выраженным одобрением. Михновский оказался атакованным со всех сторон и не знал, куда деваться. На его счастье, прозвучал звонок, урок кончился, и наш рыжеголовый латинист, точно ошпаренный, выскочил из класса. По бледному лицу его ходили красные пятна. А все ученики шумной, возбужденной толпой высыпали за Михновским в коридор, вихрем разнося по гимназии волнующие новости о событиях, только что разыгравшихся в шестом классе.

Весть о скандале на уроке Михновского очень скоро вышла за стены гимназии и стала самой сенсационной городской новостью. И вот что было замечательно: хотя кое-кто из людей «с положением» резко осуждал гим-

---

<sup>1</sup> Известное латинское изречение: «Времена изменяются, и мы изменяемся с ними».

назистов, большинство «общественного мнения» Омска, включая многих представителей губернской и военной бюрократии, явно сочувствовало «бунтовщикам». Разложение царского режима на рубеже XX века зашло уже так далеко, что всякий протест против этого режима или против того или иного проявления этого режима находил больший или меньший резонанс в самых разнообразных, подчас совершенно неожиданных кругах. Именно сочувствие «общественного мнения» вынудило Мудроха, который первоначально собирался «примерно наказать зачинщиков», отказаться от своего намерения и вообще постараться замять всю эту неприятную для него историю.

#### 15. КРУЖОК

Однажды в конце ноября мы возвращались домой из гимназии вместе с Олигером. Мы жили поблизости и часто шли пешком, ведя по дороге разговоры и дискуссии «а самые разнообразные темы. Вдруг Олигер неожиданно выпалил:

— Знаешь, Иван, давай устроим кружок!

— Какой кружок? — с удивлением спросил я.

Я был в то время еще так наивен, а Омск в то время был еще таким медвежьим углом, что до того я никогда не слышал ни о каких кружках.

-- Как какой кружок? — в свою очередь, изумился Олигер.

Олигер был года на полтора старше меня и больше слышан о различных явлениях жизни.

— Мы устроим кружок, — все больше увлекаясь своей идеей, продолжал Олигер. — Привлечем самых развитых из наших гимназистов, будем вместе читать и обсуждать книги, журналы... Потом, что еще мы сможем сделать?.. Ну, конечно, вырабатывать взгляды, учиться... Но не так, как в гимназии, а для себя... Понимаешь ли, для себя!

Идея Олигера мне тоже начинала нравиться. Скоро мы обнаружили в этом отношении полное единство мнений. Вместо того чтобы идти домой, мы пошли гулять на Иртыш и по дороге стали обсуждать детали заманчивого предприятия. Мы знали, что родители ждут нас к обеду и что наше отсутствие в положенный час вызовет с их стороны беспокойство, а позднее—громы и молнии на нашу голову.

Но что все это значило в сравнении с теми изумительными перспективами, которые теперь перед нами открывались? Радостно возбужденные, с беспечно расстегнутыми шубами, несмотря на мороз, противозаконно сбросив с плеч ранцы и неся их подмышками, мы долго ходили по запорошенному снегом льду широкой реки. Ходили и разговаривали, разговаривали и ходили.

Прежде всего надо было определить цель кружка. Это не заняло у нас много времени. По существу цель кружка уже была сформулирована Олигером, и с маленькими дополнениями с моей стороны она была утверждена нами обоими.

Без труда был разрешен также вопрос о месте собраний кружка. Большинство «радикалов» нашего класса жило с семьями, семьи были по преимуществу чиновничьи, военные, среднекупеческие, — стало быть, квартиры имелись. Правда, со стороны некоторых родителей можно было ждать оппозиции к нашей затее, но все-таки несколько домов, где кружок мог бы собираться, сразу же намечалось.

Гораздо сложнее оказался вопрос о составе кружка. Кого пригласить в кружок? Горячая дискуссия на льду Иртыша концентрировалась главным образом около этой темы.

Класс наш состоял из двадцати трех человек. Дух в нем господствовал «радикальный», и число «развитых гимназистов» было сравнительно велико. Все крепко стояли друг за друга, фискалов не было, и потому начальство смотрело на наш класс очень косо, а инспектор Соловьев даже считал, что подобный класс не может быть терпим в гимназии. Мы с Олигером стали перебирать всех наших товарищей и, в конце концов, остановились на пяти-шести, которые вместе с нами двоими должны были составить ядро кружка.

Здесь на первом месте стояли два брата Марковичи — старший, Михаил, и младший, Натан. Они происходили из довольно зажиточной еврейской семьи, связанной с местным торговым миром. У них был двухэтажный дом в Омске и большая заимка верстах в ста от города. Отец Марковичей давно умер. Детей воспитывала мать — красивая и изящная женщина большой интеллигентности, но мало практичная и болезненная. Около нее постоянно вертелись какие-то дяди и кузены, которые «помогали ей в делах». Мне всегда казалось, что эта помощь обходилась вдове

Маркович в копеечку и оставляла звонкий металлический след в карманах ее благодетелей. Дом Марковичей был большой, уютный, хлебосольный, с большим количеством мужской и женской молодежи разного возраста. В этот дом можно было прийти в любое время дня и ночи и быть вполне уверенным, что тебя ласково встретят, обогреют, напоят чаем, покормят, а если хочешь, то и дадут интересную книжку для чтения, ибо вдова Маркович любила литературу и имела обширную, культурно подобранную библиотеку. Вдобавок, дом Марковичей стоял у самого Иртыша, — это так ловко вязалось с катаньем на лодке, с купаньем и другими развлечениями, естественно вырастающими на берегах большой реки. Старший из братьев Марковичей, Михаил, был несколько неподвижный, философствующий еврейский мальчик, много читавший, развитой, любивший смотреть «в глубь вещей». Младший, Натан, был живее, практичнее, действеннее, но меньше читал и еще меньше философствовал. В гимназии я был ближе с Михаилом, который впоследствии стал адвокатом. В дальнейшей жизни мне чаще пришлось сталкиваться с Натаном, ставшим доктором. В тот памятный день, когда мы с Олигером на льду Иртыша набрасывали организационную схему нашего кружка, братья Марковичи и их дом занимали почетное место в наших соображениях. Этот дом должен был стать главной штаб-квартирой кружка.

Далее, мы решили включить в кружок того самого Гоголева, который явился исходным пунктом скандала на уроке Михновского; Сорокина — несколько медлительного, но развитого гимназиста из Семипалатинска, в дальнейшем ставшего профессором медицины; Петросова — бойкого и способного сына омского адвоката, и, наконец, Веселова — крестьянского парня (теперь мы сказали бы «из кулацких слоев»), обнаруживавшего редкие способности и резкую оппозиционность. Мы долго обсуждали с Олигером еще две кандидатуры — Михаила Усова и Коли Понягина. Усов был первый ученик, много знал, много работал. Он пользовался большим престижем в классе, но стоял как-то в стороне от общественных интересов. Впоследствии из Усова вышел крупный ученый-геолог, ставший одним из корифеев сибирской науки. Понягин был сын преподавателя естествознания в женской гимназии, умный, симпатичный мальчик, страстно увлекавшийся ловлей бабочек, сбором растений и т. п. Однако за гербариями и коллекциями

насекомых Понягин мало замечал окружающий мир со всеми его неустройствами и противоречиями. По зрелом размышлении мы с Олигером решили, что ни Усов, ни Понягин не подходят к задачам нашего кружка, и оставили их в стороне.

Вскоре наш кружок заработал полным ходом. Это было так ново, так увлекательно, так непохоже на все, что мы знали и делали до тех пор. Собирались мы большей частью у Марковичей, иногда у меня, иногда у Олигера или Петросова. Никакой строго определенной программы работ у кружка не было. Не было также и какого-либо руководителя из старших. Наоборот, мы скрывали свою затею не только от гимназических преподавателей, но и от родителей, ибо далеко не были уверены в их отношении к нашему предприятию. Как я писал около того времени Пичужке, у нас в кружке процветала «буйная демократия», и все были равны. Фактически наиболее активную роль в кружке играли Олигер и я, нам секундировали прочие члены. Однако между Олигером и мной была большая разница в темпераменте, умонастроении, вкусах, подходе к вещам. Несмотря на то, что Олигер был сыном военного аптекаря из прибалтийских немцев, натура у него была художественная, эмоциональная, порывистая, с резкими сменами настроений и необычайной впечатлительностью. Строгий порядок был ему глубоко враждебен, его стихийно тянуло к анархизму. Он увлекался романтизмом, любил красивую фразу, пышный образ, охотно уносился в облака, теряя почву под ногами. Я по сравнению с ним (но только по сравнению с ним!) являл образец трезвости и рационалистичности, стоял ногами на земле, поклонялся науке и имел тенденцию к известной организованности. Мы часто с Олигером сталкивались, вели полемику, спорили до изнеможения. Остальные кружковцы делились в своих симпатиях и, смотря по обстоятельствам, примыкали то ко мне, то к Олигеру.

В результате жизнь кружка шла шумно, сумбурно, беспорядочно, но страшно весело, с подъемом и с огромной пользой для нашего развития. Предоставленные самим себе, мы экспериментировали, делали петли и зигзаги, открывали давно открытые истины, но все время кипели в интенсивной работе мысли, в искании и нахождении правильного пути.

Мы начали с коллективного чтения Писарева и Добро-

любоба. Особенно сильное впечатление на нас произвела знаменитая статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» Мы долго обсуждали ее, сравнивали «темное царство» середины прошлого века с «темным царством» наших дней и единодушно приходили к выводу, что до «настоящего дня» не близко и сейчас. Очень много споров вызвала также статья Писарева «Пушкин и Белинский». Я целиком поддерживал «развенчание» Пушкина и точку зрения утилитаризма, развиваемую Писаревым; Олигер, наоборот, отстаивал великого поэта. Это повело к оживленной дискуссии о задачах литературы и искусства вообще, о реализме и эстетизме, о «чистой поэзии» и «поэзии гражданской». Уже тогда, в этих полудетских спорах, я твердо стал на сторону реализма и «гражданской поэзии», — этим установкам я остался верен и в последующей жизни. В том, что мы в те дни думали и говорили, несомненно, было много наивного, мальчишеского, смешного, но одновременно в этих спорах и обсуждениях оттачивалась мысль, зрело сознание, накапливались знания.

Большую роль в работе кружка играли проблемы науки, в особенности проблемы астрономии. Об этом больше всего позаботился я. Мое увлечение астрономией еще стояло на очень высоком уровне, и «звездные влияния» постепенно покоряли всех членов кружка, включая Олигера. Я принес и прочитал модную в то время книжку французского астронома К. Фламариона «Конец мира», в легкой и увлекательной форме трактующую вопрос о гибели Земли, — это дало толчок горячей дискуссии, продолжавшейся несколько вечеров, о происхождении солнечной системы, о рождении и угасании звезд, о жизни на других планетах, о бесконечности вселенной. В ходе нашей дискуссии мы камня на камне не оставили от религиозного учения о сотворении мира.

Мало-помалу мы перешли к чтению собственных произведений в кружке. Я ознакомил кружок со своей статьей «Наша гимназическая наука», о которой упоминал раньше. Она нашла горячий отклик в сердцах всех членов кружка, и мы долго и страстно обсуждали те «реформы», которые следовало бы внести в систему средних учебных заведений. Потом — это было уже в начале 1899 года — Олигер прочитал нам только что написанную им повесть «Друг», которая произвела на нас тогда сильнейшее впечатление. Повесть была выдержана в стиле полудетской трагической

романтики, но от этого она только еще больше нам нравилась. Содержание ее вкратце сводилось к следующему.

Герой повести Николай, от чьего имени ведется рассказ, имеет друга Петра Дартани, которого считает гением и на которого почти молится. Петр — сын итальянского анархиста и белокурой русской красавицы — молод, умен, энциклопедически образован, но безнадежно болен туберкулезом. Мать Петра умерла, когда он был маленьким мальчиком, отец после того с отчаянья покончил с собой. Сирота Петр остался без призора и средств, и ему пришлось бы совсем плохо, если бы какая-то бабушка во время не умерла, оставив внуку порядочное состояние. В минуту растроганности и откровенности Петр рассказывает Николаю самый замечательный эпизод своей жизни — встречу с знаменитым чудаком-астрономом Стеклевым, устроившим свою собственную обсерваторию на вершине горы в юго-западной части России. Петру тогда было шестнадцать лет, и он явился к Стеклеву с просьбой взять его к себе в учебу. Услышав фамилию Петра, Стеклевыч пришел в сильное волнение: оказывается, он был другом его отца. Петр поселился у Стеклевого и начал обучаться у него астрономическому делу.

Спустя некоторое время Стеклевыч серьезно заболел и перед смертью открыл свою тайну Петру: в молодости Стеклевыч был польским революционером-националистом и участвовал в подготовке восстания 1863 года. Он уже тогда поселился на горе, но сделал это из соображений конспирации; в уединении он писал пламенные обращения к польскому народу, которые потом печатались в соседнем городе. Скоро, однако, Стеклевыч, столкнувшись в среде революционеров с одним предателем, разочаровался в революционерах вообще и решил посвятить себя астрономии. Он уехал за границу, где, между прочим, впервые встретился с отцом Петра, и спустя три года вернулся опять на свою гору, привезя с собой полное оборудование обсерватории и, в первую очередь, ее гордость и красу — знаменитый рефрактор, изготовленный по его собственным указаниям, рефрактор, дававший при шестнадцати дюймах в диаметре изумительно ясное изображение с увеличением в пять с половиной тысяч раз! С тех пор Стеклевыч превратился в ученого-отшельника, зарылся в книги и астрономические наблюдения, изучил астрономию, химию, физику, геологию, ботанику, зоологию, даже теологию и ис-

торию, сделал массу важных открытий и изобретений. И вот теперь он безвременно умирал на руках Петра. И когда, наконец, знаменитый ученый испустил дух, Петр решил, что тот заслуживает совсем исключительной могилы: он вложил тело Стеклевского в трубу его шестнадцатидюймового рефрактора, а трубу эту замуровал в каменном склепе в толще горы. Так навсегда исчезли и Стеклевский и его ни с чем не сравнимый инструмент.

Закончив свой рассказ, Петр хватая в руки скрипку (вдобавок ко всему прочему, он был еще замечательным виртуозом-композитором) и импровизирует величественную «Песнь солнца», которая в потрясающих звуках воспроизводит трагическую историю могучего светила — его зарождение, его развитие, его буйный расцвет, его угасание, его смерть...

Легко себе представить, как должно было действовать подобное произведение на разгоряченное воображение пятнадцатилетних мальчишек. Олигер сразу, одним ударом, был вознесен в наших глазах на пьедестал «настоящего писателя» (каковым он впоследствии и стал).

Но кружок не только имел для нас огромное воспитательное значение, — он мобилизовал также нашу общественную энергию, и нужен был только известный толчок со стороны, для того чтобы эта энергия сразу же отлилась в форму практических действий. Такой случай очень скоро представился.

Россия в то время уже была беременна революцией 1905 года. Уже по промышленным центрам прокатилась волна широких экономических стачек рабочих. Уже в Минске состоялся Первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии. Уже либеральная буржуазия крупных городов громко заговорила о необходимости конституции. Уже радикальствующая интеллигенция стала усердно перекрашиваться в розоватые тона легального марксизма. Уже в темной глубине крестьянских масс началась медленная, но грозная раскочка, несколько лет спустя приведшая к мощному «аграрному движению». Правда, все это происходило где-то там, далеко, в большом и широком мире, от которого до нашего Омска «три года скачи — не доскачешь». Но все-таки глубокое волнение, охватившее страну, какими-то неведомыми, подпочвенными путями проникало и в наш медвежий угол, находя здесь различные, подчас довольно неожиданные отклики.



В феврале 1899 года в Петербурге произошла первая большая студенческая демонстрация, во время которой казаки избили нагайками сотни представителей учащейся молодежи. По тем временам это было событием перво-классного значения. Весть о студенческой демонстрации очень быстро разнеслась по всей стране, и даже царское правительство вынуждено было опубликовать «официальное сообщение» о ней в печати. Высланные из Петербурга студенты приехали в Омск с целой кучей самых сенсационных рассказов и привезли с собой вновь сочиненную в столице песенку, припев которой гласил:

Нагаечка, нагаечка,  
Нагаечка моя!  
А помнишь ли, нагаечка,  
Восьмое февраля?

Петербургская демонстрация, конечно, стала предметом горячего обсуждения в нашем кружке, причем особенно волновался по этому поводу Олигер. Разумеется, все мы сочувствовали студентам и возмущались поведением царского правительства, однако никаких продуманных политических выводов мы еще не в состоянии были сделать. Мы чувствовали только, что откуда-то издалека, из столицы, на нас пахнуло струей свежего воздуха и что это должно иметь какое-то практическое отражение и в нашей привычной омской жизни.

Однажды в начале марта, после очередного собрания нашего кружка, мы возвращались втроем — я, Олигер и Гоголев. Олигер был в каком-то особенно приподнятом настроении и вдруг ни с того, ни с сего воскликнул:

— Непременно нужно выпустить прокламацию!

Я не знал, что значит прокламация, но считал неловким обнаруживать свое невежество. Поэтому я сделал умный вид и ответил:

— Что ж, давай выпустим!

Гоголев знал еще меньше меня, но, конечно, поспешил присоединиться к большинству.

Олигер пришел в чрезвычайный восторг и предложил не откладывать дела в долгий ящик. Он зазвал нас с Гоголевым к себе домой, и все мы трое спешно приступили к «выпуску прокламации», или, точнее, Олигер командовал, а мы с Гоголевым исполняли его приказания. С необычайной быстротой сам Олигер набросал текст «прокламации». Я сейчас не могу восстановить ее точного содер-

жания, но помню, что выдержана она была в довольно высокопарных выражениях, грозила «страшной расправой» всем «кровавым собакам, пьющим народную кровь» и призывала граждан г. Омска «проснуться и взять в руки дубину покрепче». Мы с Гоголевым не знали, что сказать по поводу произведения Олигера, но, в конце концов, решили, что возражать нечего: очевидно, все «прокламации» так пишутся. Олигер должен это лучше знать. Автор же «прокламации», составив текст, долго мусолил карандаш во рту и все придумывал, как бы подписать свое произведение. Не найдя, видимо, ничего более подходящего, он вдруг выхватил карандаш изо рта и размашистым почерком поставил под текстом «прокламации» коротенькое слово: «Мы».

Теперь надо было «прокламацию» размножить. Олигер сбегал в военную аптеку, которой управлял его отец, и тайком притащил оттуда небольшой гектограф с чернилами. «Прокламация» была быстро переписана печатными буквами (чтобы не узнали почерка) при помощи гектографических чернил и затем отпечатана в количестве полусотни экземпляров. Я в первый раз в жизни имел дело с гектографом, и работа на нем мне очень понравилась. В дальнейшей жизни эта гимназическая учеба мне весьма пригодилась. Затем был сварен мучной клейстер, и мы стали обсуждать, как лучше организовать расклейку нашего произведения. Решено было так: каждый берет с собой стакан клейстеру с кисточкой и пачку «прокламаций», и все мы отправляемся в различные части города для расклейки. По окончании своей миссии вся тройка вновь собирается у Олигера для обмена сообщениями о результатах.

Признаюсь, у меня сильно билось сердце, когда я, распрощавшись на углу улицы с Олигером и Гоголевым, отправился в свое первое нелегальное приключение. Было уже поздно — около часу ночи. Омск спал глубоким сном. Фонарей в городе в то время не было, и на улицах царил кромешная тьма. Только в высоте сверкали звезды. Снег крепко хрустел под моими ногами, а под шубой о колени бился подвязанный к поясу стакан с клейстером. Я быстро побежал по своему участку, выбирая дома и наклеивая на них прокламации. От времени до времени я останавливался и прислушивался: не идет ли кто? Но везде царил мертвая тишина. Только на базаре я услышал издали рав-

номерный стук колотушника<sup>1</sup> и поспешно притаился за одной из лавок. Последний листок я наклеил на парадные двери жандармского управления, и, чрезвычайно довольный удачным выполнением своей миссии, я быстрым шагом направился к дому Олигера, по дороге глотая свежий морозный воздух. К двум часам ночи весь наш «триумvirат» вновь собрался: дело было сделано, полсотни ребяческих «проclamаций» белели на домах и заборах омских улиц. Мы были страшно взволнованы и стали ждать последствий своего выступления.

На следующий день город был полон шопотов, слухов, толков о «подметных письмах» (слова «проclamация» не существовало в лексиконе тогдашних омичей), а жандармский полковник Розов находился в состоянии полного остолбенения. Обленившийся и обрюзгший от полного безделья, ибо до того в Омске не было никакой «крамолы»; Розов ездил к генерал-губернатору с докладом, нарядил следствие для поимки «злоумышленников» и бестолково метался по своему кабинету в ожидании его результатов. О «проclamации» стало известно в гимназии, и все — ученики и преподаватели — терялись в догадках о том, кто бы мог это сделать. Мы же, трое мальчишек, крепко держали язык за зубами (ничего не знали даже другие члены нашего кружка) и с смешанным чувством гордости и трепета наблюдали вызванную нашими действиями суматоху. Через неделю стало ясно, что Розов не сумеет открыть «злоумышленников», а еще через неделю шум, порожденный «проclamацией», стал стихать, тем более, что на горизонте нашей гимназической жизни внезапно обнаружились новые крупные события.

В конце марта учитель словесности Петров задал нам для домашнего сочинения тему: «Литература екатерининской эпохи». Тема имела весьма отдаленное отношение к современности, но такова уже атмосфера предреволюционной эпохи, что любая, даже самая маленькая искра способна вызвать сильный электрический разряд. Мы обсуждали заданную тему на нашем кружке и решили разработать ее так, чтобы «небу было жарко». Как всегда, Олигер со своим горячим темпераментом вынесся вперед и задал тон всему нашему выступлению. Щеголяя цитатами и словечками, Олигер в своем сочинении писал, что «Екате-

<sup>1</sup> В Омске в то время ночные сторожа на главных улицах ходили с деревянными колотушками.

рина столкнула с престола своего слабоумного мужа», что, будучи очень капризной женщиной, она «раздаривала сотни тысяч крепостных своим многочисленным любовникам», что, ведя просвещенную переписку с Вольтером и Дидро, царица в то же время не терпела критики своих действий со стороны русских писателей и что все эти и многие другие обстоятельства наложили свой отпечаток на «литературу екатерининской эпохи». Все изложение Олигера было красочно, бойко, складно, но несколько беспорядочно, а главное — недопустимо дерзко по условиям того времени. В таком же духе, хотя несколько скромнее по форме, написал сочинение я. И так же поступили Гоголев, Марковичи, Веселов и прочие члены нашего кружка. Не все обладали литературными данными Олигера, не все шли так далеко, как он, в «политическом освещении» темы, но основное настроение у всех было одинаково. В назначенный срок мы сдали свои тетрадки Петрову, а три дня спустя в гимназии разразилась еще никогда небывавая гроза.

Когда Петров с целой кипой просмотренных сочинений вошел в класс и грузно опустился на кафедру, мы сразу по выражению его лица поняли, что предстоит буря. Действительно, раздав почти все тетрадки их владельцам, Петров отложил в сторону три-четыре (в их числе я узнал и свою) и затем, метнув грозный взгляд в мою сторону, он громко крикнул:

— Олигер!

Олигер медленно поднялся со своей парты.

— Я поставил вам, Олигер, за ваше сочинение два балла, — продолжал зловещим тоном Петров: — пять и единицу. Как вы думаете, почему?

— Не знаю, — недоумевающе подняв плечи, ответил Олигер.

— Не знаете? Не знаете? — вдруг, точно сорвавшись, закричал Петров. — Так знайте! Пять вам поставлено за литературную форму, а единица — за содержание. Да-с, содержание у вас возмутительное! Вы осмеливаетесь нападать на наши государственные законы и учреждения. Это неслыханно! Это потрясение основ!

Олигер молчал, угрюмо смотря вниз на свою парту, а Петров, взяв в руки мое сочинение, грозно продолжал:

— А вы что тут понаписали? Вы изобразили великую императрицу какой-то жалкой плагиаторшей у француз-

ских энциклопедистов? Вы осмеливаетесь утверждать, что Екатерина писала свои либеральные послания западным философам под вопли крепостных, которых пороли на конюшне по приказу самой императрицы? Это же возмутительно!

И, заметив, что я, как ни в чем не бывало, спокойно сижу на парте, Петров вдруг дико заорал:

— Встать! Встать, когда я говорю!

Я неохотно поднялся и бросил вызывающий взгляд на учителя.

Петров взялся за третью тетрадку и возмущенно обрушился на Гоголева. Особое преступление Гоголева состояло в том, что он рассказал в своем сочинении знаменитую историю о «потемкинских деревнях». Далее атаке, хотя уже в более мягких тонах, подверглись сочинения Михаила Марковича и Петросова. Теперь в классе стояло у своих парт уже пять человек, а грозное красноречие Петрова лилось попрежнему неудержимой рекой. Мне это надоело, и я, воспользовавшись первым перерывом в его потоке, сказал:

— Не понимаю, Николай Иванович, чего вы возмущаетесь? Каждый имеет право высказывать свое мнение.

— Что? Что вы сказали? — возопил Петров. — Вы хотите, чтобы каждый негодяй мог пачкать бумагу своей вонючей жидкостью?.. Слава богу, у нас есть цензура!

Тут вмешался Гоголев и бросил:

— А зачем цензура? Она не нужна.

Бешенство Петрова дошло до точки кипения. Он громко застучал кулаками по кафедре и стал кричать, что ученики, подобные Гоголеву, недостойны пребывания в стенах гимназии и что он поставит вопрос об его исключении пред педагогическим советом. Эта угроза разъярила весь класс: мы стали оглушительно хлопать крышками наших парт и создали такой шум, что побледневший от испуга Петров поспешил выскочить в коридор, не дождавись конца урока. В страшном волнении и предчувствии «больших» событий в дальнейшем мы разошлись в тот день по домам.

Наши ожидания сбылись. На следующее утро нам было объявлено, что урока словесности не будет, а вместо него к нам придет... сам Мудрох! Мы сразу поняли, что это неспроста. Действительно, в одиннадцать часов утра в класс ввалилась грузная, большая фигура директора в со-

проведении нашего классного наставника. Мудрох не взошел на кафедру, а остановился около нее и уставился пристальным взглядом на вставших при его появлении учеников. Так, молча, переводя взор с одного гимназиста на другого, он простоял несколько минут. Не думал ли он нас этим путем гипнотизировать? Затем директор откинулся назад, отставил одну ногу вперед и, засунув два пальца правой руки между жилетными пуговицами, начал своим противным скрипучим голосом:

— Я хочу с вами поговорить. У вас неправильные мысли в голове. Вы будете иметь неприятности. Но я еще вас спасу.

Убежденный в магической силе своих слов, Мудрох стал длинно, нудно доказывать, каким счастьем для нас является быть «верными подданными его величества государя императора». Ссылаясь на собственный опыт, Мудрох рисовал самую мрачную картину политического хаоса, слабости, продажности, преступления, господствующих в странах с конституционным образом правления, и при этом все время повторял:

— Так есть в Австро-Венгерской империи.

И затем, в виде противопоставления, Мудрох широкими мазками набрасывал порядок, мощь, благополучие, неподкупность, процветание, господствующие в Российской империи, где нет никакой конституции, а есть только царь, считающий всех своих подданных своими «детьми». Он подымал при этом глаза к потолку и почти молитвенно складывал руки. Закончил Мудрох так:

— Я вам сказал, и вы должны меня слушать. А не слушаете — худо будет.

И затем, круто повернувшись, директор, не глядя ни на кого, величественно вышел из класса.

Как ни были мы тогда политически-наивны, но эффект от речи Мудроха получился совсем не тот, на который он, очевидно, рассчитывал. Нам трудно, конечно, было судить, насколько правильна нарисованная им картина австро-венгерских порядков, но зато порядки российские мы знали очень хорошо. И потому Олигер довольно правильно отразил общее настроение (у одних более, у других менее осознанное), когда после ухода директора смачно плюнул на пол и с расстановкой бросил:

— У-у! Продажная шкура!

Рассказанная история имела своим последствием до-

вольно чувствительные оргвыводы: половине класса была поставлена за год тройка за поведение (взыскание очень суровое по тем временам). В эту половину попал и я, а Олигера решено было исключить из гимназии. Отец Олигера, понимая, что это означало бы волчий билет для Николая, пустил в ход все свои связи и добился того, что Олигеру предоставлено было уйти из гимназии «по собственному желанию». Весной перед экзаменами он исчез из нашего класса, а осенью уехал в Саратов, где поступил в химико-техническое училище. Около того же времени Гоголев перевелся в Петрозаводск, а Петросов — в Екатеринбург. Наш кружок расстроился, но память о событиях минувшей зимы осталась. В своем дневнике 18 сентября 1899 года я в несколько высокопарно-романтических тонах писал:

«А какова была прошлая зима! Она явилась бурной, боевой эпохой в моей жизни, но сколько счастья в этих бурях и боях! Борьба мне доставляет огромное наслаждение».

#### 16. ПОЭЗИЯ

4 сентября 1899 года в моей жизни произошло важное событие: на уроке латинского языка я написал свое первое стихотворение. Начиналось оно словами:

Лети, лети скорее, время,  
На всех парах и парусах!—

и как по форме, так и по содержанию было крайне неудовлетворительно. Но это не имело никакого значения. Важно было то, что внезапно, стихийно, точно по какому-то наитию, я заговорил рифмованными строками. Литературные склонности у меня были от рождения. Сколько я помню себя, я всегда что-нибудь сочинял, что-нибудь описывал — лес после дождя, «Санитарную станцию», поездку в сосновый бор и т. п. Несколько подростки, я пробовал свои силы на дневниках, гимназических сочинениях, статьях на текущие темы. В пятом и шестом классах я мечтал о славе публициста, идущего по стопам Писарева и Добролюбова. Но раньше мне не приходило в голову вторгаться в сферу беллетристики, а тем более поэзии. Я не считал

себя призванным к чисто художественному творчеству. И вдруг такой неожиданный оборот!

Я был потрясен и увлечен. За первым опытом последовали другие. Я стал писать стихи чуть не каждый день. Давались они мне легко. Слова ловко укладывались в размеры, рифмы бежали одна за другой. Особенно часто вдохновение приходило ко мне во время уроков латинского и греческого языков. Тогда я становился глух и слеп ко всему окружающему и уходил в свое творчество. За час я иногда успевал написать стихотворение в 20—25 строчек. Я был в состоянии какого-то постоянного духовного опьянения. Я чувствовал, что в мою жизнь вошло что-то новое, яркое, жгучее, что-то такое, что открывает предо мной какие-то заманчивые, неизведанно прекрасные дали. И, полный подъема и восторга, я стремительно бросился вперед по новому пути.

Это было очень кстати, ибо мое душевное состояние с переходом в седьмой класс вступило в полосу кризиса. Причин тому было несколько.

Лето 1899 года я проводил в Омске на «Санитарной станции» для выздоравливающих военных, куда мой отец был отправлен в качестве заведующего. «Станция» была расположена в нескольких верстах от города в небольшом лесу. Больные помещались в палатках, а врач имел в своем распоряжении деревянный дом барачного типа, стоявший в середине большого сада. Вся наша семья переселилась на «Станцию» вместе с отцом. Чемодановы приехали к нам в гости из Москвы. Мы жили лето вместе, и наши отношения с Пичужкой стали еще более тесными, чем раньше. Нам было уже по пятнадцать с половиной лет. За год Пичужка сильно повзрослела и начала превращаться в женщину. В ней развились болезненное самолюбие и чрезвычайная мнительность. Она стала ревнивой. Как-то раз в то лето я знакомил ее с картой звездного неба и потом попросил ее выбрать ту звезду, которая понравилась ей больше всего. Пичужка оглядела небосвод и указала пальцем на Капеллу в созвездии Возничего. Я засмеялся и сказал:

— По Сеньке и шапка. Знаешь ли, какую звезду ты выбрала? Капелла — звезда ревности.

На Пичужку это произвело сильное впечатление. На протяжении лета мы вместе много думали, читали, пере-





*Автор в 16 лет.*

живали, а также — чего не было раньше — много ссорились. Впрочем, за это последнее я должен принять значительную долю вины на себя. Девизом моим в то лето было: «Хочу и буду!», и этот принцип я проводил в жизнь круто, прямолинейно, не всегда считаясь с чужими чувствами, даже с чувствами столь близкого мне человека, как Пичужка. Однако, когда лето кончилось и Пичужка уехала в Москву, я остро почувствовал всю глубину своей потери. В своем дневнике я патетически записывал: «Маленький желтый вагон второго класса унес все, что у меня есть дорогого на свете». А вместе с тем я чувствовал, что лишился редкого друга, — может быть, даже больше, чем друга, — с которым привык делиться всеми своими мыслями, переживаниями, намерениями. С этого времени и вплоть до окончания гимназии моя переписка с Пичужкой стала особенно частой, обширной, многогранной. Но она все-таки не могла полностью заменить личное общение. И это невольно рождало в моей душе чувство неудовлетворенности и грусти.

Другим обстоятельством, действовавшим разъедающим образом на мою психологию, был сильно обострившийся как раз в это время разлад между мной и моими родителями, в особенности между мной и матерью. В сущности, ничего серьезного не было. Просто в нашем доме разыгрывалась еще одна вариация на старую, как мир, тему об «отцах и детях». Но мне тогда она казалась событием исключительного значения, и я глубоко переживал ее. Мои родители, как и все родители вообще, считали, что именно они держат в руках «истину», и, естественно, старались вложить свою «истину» в мою голову, причем мать благодаря своему горячему, вспыльчивому темпераменту не всегда делала это с учетом моего самолюбия. А ведь мальчишки в пятнадцать-шестнадцать лет дьявольски самолюбивы! К тому же я от природы отличался упрямством и самостоятельностью.

— Ну, на что это похоже? — часто бывало говорит мать. — Ты — эгоист, ты сух и бессердечен, ты ни с кем не уживаешься, ты всем норовишь сказать что-нибудь грубое и неприятное... Разве так поступают хорошие сыновья?

— А зачем мне быть «хорошим сыном»? — саркастически отвечаю я. — И где доказательства, что так называемые «хорошие сыновья» действительно являются хорошими?

— Ты молод и ничего не понимаешь! — начинает горячиться мать. — Ведь я стараюсь для твоей же пользы. Вырастешь — сам благодарить будешь.

— Что ты все о моей пользе печешься? — возражаю я. — Я сам о себе позабочусь. Есть голова на плечах. Просто ты хочешь подогнать меня под известные рамки, которые тебе привычны. Но я этого не желаю. Я не позволю родительскому деспотизму насильно связывать мою волю.

Мать приходит в раж, краснеет, начинает кричать, что я «дерзкий мальчишка», что она готова «отказаться от меня», что в сорок лет я пожалею о своем теперешнем поведении, и затем, хлопнув дверью, уходит в свою комнату. А вечером я беру за свой дневник и вывожу в нем строки вроде следующих:

«Моя личность — корабль, рассудок — мой руль, которого корабль слушается. Поверните руль — корабль повернется. Но сначала сумеете повернуть руль».

Так как мать мало заботилась о том, чтобы повернуть руль, стычки продолжались, разлад углублялся, — и так продолжалось до самого окончания гимназии. Только летом 1901 года, перед моим отъездом в университет, когда мать осознала и примирилась с тем, что я уже перестал быть ребенком и превратился в взрослого человека, в семье наступил мир, и мы опять стали добрыми друзьями. Однако осенью 1899 года война «отцов и детей» была в полном разгаре. Я вел ее упорно и настойчиво, но она все-таки тяготила меня и до известной степени нарушала мое душевное спокойствие.

Еще одним — и очень важным — обстоятельством, отражавшимся на моем состоянии, была гимназия. После того, что было пережито зимой 1898/99 года, гимназия теперь вызывала во мне лишь одно чувство — глубочайшего отвращения, лишь одно желание — бежать подальше от ее стен. Всякие фиговые листочки были окончательно сдернуты в ходе событий прошлого года. Директор, инспектор, учителя, программа занятий, система воспитания, даже самое здание гимназии стали мне ненавистны и противны. В полном отчаянии я писал Пичужке: «Я положительно с ужасом думаю о том, что мне еще два года предстоит оставаться в гимназии». К тому же наш дружный и боевой класс теперь как-то «размагнитился» и осиротел: Олигера не было, Гоголев и Петросов перевелись в другие города, наш старый кружок распался, а для нового кружка

среди наличного состава учеников подходящего материала как-то не находилось. Я оказался в состоянии известной духовной изоляции, которую лишь отчасти смягчала дружба с Михаилом Марковичем, сидевшим в седьмом классе на одной со мной парте.

И все это вместе взятое — разлука с Пичужкой, домашний разлад, враждебность к гимназии, распад кружка, отъезд Олигера — создавало у меня чувство одиночества, тоски, беспокойства. Я не находил себе места, я о чем-то жалел, чего-то хотел, к чему-то стремился. Поэзия сразу дала выход и вместе с тем перебила все эти настроения и понесла меня на крыльях творческого увлечения куда-то вперед, в неведомую даль...

Скоро одно случайное обстоятельство сразу создало мне репутацию «поэта», по крайней мере, в стенах нашей гимназии. Случилось это так. В Южной Африке началась англо-бурская война. Она сильно всколыхнула тогдашний политический мир. Россия сразу заняла позицию против Англии и за буров. При этом произошло любопытное пересечение двух совершенно противоположных политических линий. Царское правительство и связанные с ним официальные круги сочувствовали бурам, потому что «императорская Россия» враждовала с Великобританией, особенно в Азии. Либеральные, радикальные и вообще прогрессивные слои, в вопросах внутренней политики стоявшие в оппозиции к царизму, в данном случае также сочувствовали бурам, потому что они были возмущены, как тогда говорили, «нападением сильного на слабого». В результате вся Россия, как официальная, так и оппозиционная, оказалась на стороне буров, и это нашло свое отражение даже в Омске. В то время во всех домах распевали бурский гимн и развешивали на стенах портреты бурских вождей, а в военных, административных и учебных заведениях с разрешения начальства производились денежные сборы «на буров». Такой сбор был объявлен и у нас, в гимназии. Я был горячий «пробур» и повел энергичную агитацию в пользу сбора. В нашем классе мои усилия увенчались успехом — было собрано двадцать рублей, но зато в восьмом классе все, за исключением двоих, отказались что-либо пожертвовать. Я был глубоко возмущен, и на ближайшей большой перемене между седьмым и восьмым классами произошла крупная стычка, едва не закончившаяся кулачным боем. С каждым новым месяцем войны

моя симпатия к бурам все больше возрастала. Я радовался их победам, огорчался их неудачами. Я жил душой в Южной Африке, я мечтал о том, чтобы сражаться за буров. Мое поэтическое воображение было целиком захвачено драматическими событиями в Трансваале и Оранжевой республике.

Однажды учитель словесности Петров коснулся на своем уроке англо-бурской войны и при этом произнес большую политическую речь.

Класс был очень доволен его неожиданным экскурсом в современность и сразу же загудел вопросами и комментариями. Вдруг Михаил Маркович, не предупредив меня, брякнул:

— А вы знаете, Николай Иванович, мой сосед написал стихотворение о бурах.

— Какое стихотворение? — быстро спросил Петров.

Я был застигнут врасплох и в ответ на требование Петрова должен был дать ему написанное мной накануне стихотворение «Св. Елена», мотивом для которого послужил тот факт, что захваченный англичанами в плен бурский генерал Кронье был интернирован на острове св. Елены. Петров взял в руки листочек бумаги и начал читать вслух:

На бурном, косматом просторе  
Скала одиноко стоит.  
Кругом неприятное море  
С утра и до ночи шумит.

— Недурно, недурно! — проговорил Петров. — Хотя чувствуется влияние Лермонтова.

Дальше в стихотворении в весьма патетических тонах рассказывалось, как на этой скале все время стоит человек, вперивший в горизонт свои очи, как «тяжелые думы мелькают» за его гордым челом, как этот человек, подобно льву, томится в своей каменной клетке и как он всей душой рвется туда, на родину, «где гибнут друзья за свободу, где пули и ядра свистят». Но — увы! — кругом лишь пустынное море, которое держит узника крепче всяких цепей. Стихотворение заканчивалось словами:

И с бешеной злобой он ходит  
По краю пустынной скалы  
И мрачного взора не сводит  
С глубокой, таинственной мглы.

Кругом — бесконечное море,  
Угрюмые волны шумят,  
Гудит ураган на просторе  
Да чайки тоскливо кричат...

Петров закончил чтение, разгладил листок и резюмировал:

— Заслуживает внимания.

По окончании урока Петров взял стихотворение с собой в учительскую, а на другой день вся гимназия уже знала о рождении нового, собственного, доморощенного «поэта». Мое стихотворение ходило по рукам, его переписывали, читали и даже заучивали наизусть. Моя репутация, как «служителя муз», сразу была установлена.

Несколько времени спустя мне удалось еще больше ее поднять и укрепить. Как-то раз Михновский задал нам на уроке перевести пятнадцать стихов из «Энеиды» Вергилия. Вдруг Маркович шепнул мне на ухо:

— А почему бы тебе не перевести в стихах?

— В самом деле! — воскликнул я, ударив себя по лбу. — Это прекрасная идея!

И я принялся за работу. Перевод пошел легко, и минут через сорок я подал Михневскому свою тетрадку, в которой оказались переведенными не пятнадцать, а двадцать пять стихов. Михновский, по своему обычаю, стал просматривать поданные ему работы тут же, в классе. Когда он дошел до моей работы, на лице его выразилось удивление. Это удивление еще больше возросло после того, как чтение было закончено. Михновский подозрительно посмотрел на меня и спросил:

— Это кто писал? Вы сами?

— Конечно, сам, — несколько обидевшись, ответил я.

— Хорошо, очень хорошо, — продолжал Михновский. — Я очень сочувствую переводу Вергилия на русский язык не гекзаметром, как в подлиннике, а пятистопным ямбом, как вы сделали. Так выходит живее и более соответствует духу русского языка!

Моя работа опять пропутешествовала в учительскую, а на пятом уроке в тот же день преподаватель греческого языка Сементковский вдруг обратился ко мне с неожиданным вопросом:

— Я человек ревнивый... Вы переводите стихами Вергилия, — отчего вы не побалуете меня как-нибудь стихотворным переводом Гомера?

Отчего? Оттого, что в гимназии я как-то не чувствовал и не понимал греческого языка. Несмотря на всю мою вражду к классицизму, латинский язык производил на меня сильное впечатление своей спокойной величавостью, своей логичностью, своим металлическим звоном. Но греческого языка я не любил. Так Сементковский и не дождался от меня переводов Гомера. Зато к переводам римских поэтов я, в конце концов, пристрастился и достиг в этой области довольно значительного искусства. Михновский, который не мог мне забыть прошлогодней истории, видя мое усердие по «производственной части», постепенно стал смягчаться, и одно время казалось, что наши с ним отношения наладятся. Однако этому помешал Гораций, или, вернее, знаменитая «Десятая ода» Горация. Михновский просил меня перевести ее стихами. Я согласился и однажды принес в класс следующее произведение:

Ты лучше проживешь, Лициний, коль надменно  
Не станешь путь держать от берегов вдали  
Иль, опасаясь бурь, держаться неизменно  
Обманчивой земли.

Кто возлюбил во всем средину золотую,  
Тот избегает жить и в нищенской избе,  
И в раззолоченном дворце, чтоб зависть злую

Не возбуждать к себе.

Гигантскую сосну сильнее вихрь качает,  
И башни рушатся грознее с высоты,  
И чаще молнии грозою ударяют

В высокие хребты.

Мудрец надеется во всех бедах, а в счастье  
Бойтся перемен, довольствуясь судьбой, —  
Юпитер, ниспослав нам зимнее ненастье,

Порадует весной.

Пусть худо нам теперь, — придет пора иная.  
Не вечно Аполлон натягивает лук,  
Но будит муз порой, веселием пленяя,

Священной цитры звук.

В несчастиях душой не падай малодушно,  
Но мудро паруса тугие убирай,

Хоть ветер радостный и мчит тебя послушно

В далекий счастья край.

Михновский был очень доволен и рассыпался в комплиментах по адресу моего перевода. Но затем, вопреки обычаю, он перешел к характеристике Горация вообще и его «Десятой оды» в частности. При этом Михновский на все лады превозносил философию той «золотой середины», столь ярким представителем которой был Гораций. Во мне сразу проснулся дух противоречия.

— Почему вы думаете, Александр Игнатьевич, что «золотая середина» такая хорошая вещь?—спросил я, прерывая поток красноречия Михновского.—Разве Прометей был представителем «золотой середины»? Разве Сократ был представителем «золотой середины»? Разве Колумб был представителем «золотой середины»? Мне кажется, наоборот, что все великое в истории человечества было создано не людьми «золотой середины», а людьми смелого дерзания, людьми, являвшимися полным отрицанием этой самой «золотой середины».

Михновский вскипел и, строго глядя на меня сквозь золотую оправу своих очков, стал раздраженно доказывать, что в жизни часто встречаются «опасные мечтатели», которые и себя губят и другим покоя не дают. Такие люди являются проклятием для своего отечества и причиняют совершенно ненужные беспокойства для начальства.

— Бойтесь этих людей! — с трагическим жестом прокричал Михновский. — Сторонитесь от таких людей! Они вас до добра не доведут.

Ни для кого не составляло тайны, в кого именно метил латинист. Я принял вызов и со всем пылом обрушился на Горация.

— Кто такой Гораций? — восклицал я. — Лакей, который угодничает и падает ниц пред Меценатом. Чему он учит? Он учит пошлейшему мещанству. Он весь полон гнуснейшего духа. От него несет запахом тления и моральной мертвечины. А нам хотят навязать Горация как идеал, достойный подражания.

Михновский вскочил с кафедры, и между нами загорелся острый, насыщенный взаимным раздражением спор, сразу напомнивший прошлогодний конфликт из-за классицизма. Марковичи и еще несколько гимназистов поддерживали меня. Спор, как и надо было ожидать, кончился ссорой. В результате Михновский перешел со мной на строго официальный и даже неприязненный тон, а я прекратил делать переводы латинских авторов. Однако к этому времени моя репутация «поэта» уже так прочно установилась в гимназии, что я свободно мог отказаться от подобных прогулок по садам римской словесности.

Несмотря на то, что зима 1899/1900 года проходила у меня под знаком минорных, сумрачных настроений, поиски огней жизни продолжались. И притом очень интенсивно. Но только на них неизбежно ложился отпечаток этих на-



строений. Я много читал, но меня больше тянуло теперь к мрачным, демоническим, потрясающим душу произведениям. Особенно неотразимое впечатление в этот период на меня производил Байрон. Я увлекался им до полного самозабвения. Я знал наизусть массу его лирических стихотворений, мог целыми страницами декламировать из «Чайльд-Гарольда», но больше всего я восхищался «Манфредом» и «Каином». «Каина» я считал величайшим произведением XIX века, и с «Каином» в руках, в своей комнате, в полном одиночестве, я встретил новое, XX столетие. Под моим влиянием в нашем классе создан маленький кружок «байронистов», читавших и перечитывавших великого британского поэта. Я очень полюбил также Лермонтова, особенно поэму «Мцыри», которую я выучил наизусть. В эту зиму я много читал Л. Толстого, и, хотя отношение к нему у меня было двойственное, его произведения, несомненно, сыграли крупную роль в моем развитии. Отчасти это объяснялось тем, что Толстым сильно увлекался Михаил Маркович. Однако, в отличие от меня, ценившего в Толстом великого художника, Маркович высоко ставил его философию и даже причислял себя в какой-то мере к «толстовцам».

Когда наступила весна и земля стала покрываться ковром свежей зелени, мы с Михаилом открыли одно ни с чем не сравнимое наслаждение. Мы брали у моста маленькую гребную лодочку и подымались вверх по течению Оми. Город оставался позади. Мы медленно плыли по тихим водам реки. Мимо нас задумчиво бежали поля, перелески, песчаные дюны, низко склоненные кусты ивняка. Потом мы приставали в каком-нибудь уютном затоне и вылезали из лодки. Скинув сапоги и рубашки, мы ложились на горячую от солнца песчаную косу. Забросив руки за голову, мы подолгу молчали и смотрели в далекое синее небо. Наши души при этом переполнялись каким-то особым, исключительным чувством. Нам казалось, что мы слиты воедино со всей окружающей природой, что мы являемся как бы органической частью ее. Нам казалось, что мы слышим могучую, многогранную песню жизни, что мы ощущаем биение пульса каждого насекомого, каждого цветка. Мы молчали, слушали и думали. И сердца наши уносились куда-то вдаль и ввысь, полные глубокого, почти молитвенного упоения...

С тех пор мне многое пришлось повидать на свете:

норвежские фиорды и скалы Шотландии, французскую Ривьеру и итальянские озера, кавказские вершины и острова Японии, синеву Атлантики и вспененные гребни тихоокеанского прибоя... Но никогда и нигде я не испытывал того остро захватывающего ощущения красоты природы, как тогда, на тихом берегу Оми, в скромной обстановке самой заурядной сибирской реки, обрамленной самым заурядным сибирским ивняком. Вот что значит иметь шестнадцать лет отроду и душу, еще не засоренную обилием жизненных впечатлений!

Когда нам надоедало молчать, начинались задушевные беседы. Говорить о текущих мелочах жизни в такой обстановке и в таком настроении не хотелось. На ум невольно приходили большие мысли о больших вещах. Чаще всего мы так или иначе подходили к той основной проблеме, которая в прошлом занимала столь многих философов и которая глубоко волнует каждую юную душу: в чем смысл жизни? В чем счастье человека?

Михаил в ответе на эти вопросы неизменно апеллировал к Л. Толстому. Я же, наоборот, атаковал Л. Толстого со всей доступной мне в то время убедительностью. Помню, однажды мы заговорили о «Войне и мире» и «Воскресении», которые я незадолго перед тем прочитал.

— «Война и мир» — великолепный, гениальный роман, — с энтузиазмом говорил я. — Это лучший роман в русской, да, пожалуй, и в мировой литературе, поскольку я знаю мировую литературу. Толстой куда выше и глубже Тургенева. Но мне не очень нравятся рассуждения Толстого в романе...

— А что ты скажешь о «Воскресении»? — перебил меня Михаил, задумчиво глядя в даль зеленых полей, расстилавшихся на том берегу Оми.

— «Воскресение», — отвечал я, — мне очень понравилось. Картины великосветской, судебной, тюремной жизни замечательны. Но мне режет ухо самая закваска романа, меня не трогает драма Нехлюдова. Страшно он носится с собой, с каждым своим чувством, с каждым переживанием. Часто так и хочется сказать: «Брось свою барскую блажь!» И вообще я не понимаю и не одобряю духа нового учения Толстого...

— Ты думаешь о непротивлении? — еще более задумчиво спросил Михаил.

— Да, о непротивлении, — откликнулся я. — Какой-ни-



*Пичужка в 16 лет.*

будь негодяй заберется ко мне в дом, станет все бить, ломать, переворачивать, а я должен ему свою ланиту подставлять?.. Нет, это мне не по характеру! Да это и противно человеческой натуре.

— А может быть, в этом как раз высшая мудрость и высшее счастье? — возразил Михаил.

— Нет, такой морали я понять не могу,—воскликнул я. — Жизнь есть борьба! Высшее счастье — это полюбить какую-нибудь идею такой любовью, какая только возможна для человека. Служить идее, работать для идеи, думать об идее и жертвовать ради идеи всем — дружбой, любовью, жизнью, честью.

В другой раз мы как-то имели длинную дискуссию о любви, о семье, о женщине. Поводом опять послужил Толстой. Оба мы незадолго перед тем прочитали «Крейцерову сонату» и находились целиком под впечатлением этого замечательного произведения. Михаил и тут был склонен становиться на точку зрения Толстого, у меня же философия последнего вызывала крайнее негодование.

— Ты понимаешь, Михаил, — горячился я. — Я глубоко уважаю Толстого как великого художника. Возможно, это самый великий писатель русской литературы. Но его взгляды часто приводят меня в бешенство. Возьми, например, отношение Толстого к женщине. Какую он отводит ей роль? Во что превратилась, в конце концов, Наташа в «Войне и мире»? В располневшую, самодовольную самку. И это все. А ведь Наташа — идеал Толстого. Еще хуже в «Крейцеровой сонате»...

— А может быть, так лучше? — возражал Михаил. — В наших еврейских семьях женщины занимаются обычно семьей, детьми, хозяйством, а ведь еврейские семьи самые крепкие. И мужья и жены живут у нас лучше, чем у вас, православных.

— Ты совершенный ретроград, — кипятился я. — Ты скоро будешь отстаивать «Домострой».

— Ничего подобного! — с возмущением отпарировал Михаил. — Но только я уверен, что хорошая жена должна жить для семьи. А чего ты хочешь от жены?

Мы оба лежали на песчаном берегу реки, подставляя открытые спины лучам еще горячего послеполуденного солнца. Плакучие ивы купали свои ветви в струях тихо бежавшей воды. Где-то высоко, в прозрачном весен-

нем воздухе, слышались голоса птиц. Вопрос Михаила невольно заставил меня задуматься. После некоторого молчания я уже более спокойно отвечал:

— Жена, по-моему, должна быть лучшим и самым близким другом своего мужа. Не только любящей женой, но и другом. Муж и жена — духовное единство, порожденное сходством взглядов и убеждений. Между мужем и женой должно быть полное равенство.

Михаил усмехнулся и добавил:

— Ты хочешь невозможного. Да и нужно ли это?..

Лето 1900 года я опять проводил вместе с Пичужкой. На этот раз наши семьи решили устроить «съезд» в Сарапуле, где жили наши общие родственники. В конце мая я отправился в Москву и оттуда вместе с семьей Чемодановых приехал в Сарапул. Днем позже в Сарапул приехала моя мать со всеми остальными детьми. Мы поселились вместе с нашими родственниками в большом деревянном доме, вокруг которого был обширный, но запущенный сад, и провели в этом тихом прикамском городке все лето.

Пичужка только что кончила гимназию (в то время женские гимназии имели семь классов) и тем самым как-то сразу перескочила в разряд «взрослых». К тому же духовно и физически она сильно выросла за прошедший год. Это был уже не подросток, как на «Санитарной станции», — это была уже молодая девушка, которая, несмотря на свои шестнадцать лет, рассуждала зрело и понимала много. По сравнению с ней, я, которому предстояло еще целый год «трубить» в гимназии, чувствовал себя почти мальчиком. Раньше в нашей двойственной дружеской «антанте» я обычно играл первую скрипку, Пичужка же удовлетворялась положением младшего члена. Теперь роли переменялись, и я как-то невольно стал смотреть на Пичужку снизу вверх. К этому имелось у меня еще специальное основание.

В то сарапульское лето главной моей болью был вопрос: есть у меня талант поэта или нет?

Писать, творить уже стало для меня потребностью. Стихи сами собой складывались в голове, руки невольно тянулись к перу и бумаге. И выходило как будто бы довольно складно. Но значит ли это, что у меня есть настоя-

щий, большой поэтический талант? В шестнадцать лет все пишут стихи, однако Пушкины и Некрасовы рождаются раз в столетие. Что ж я такое: один из обыкновенных гимназических стихоплетов или же человек, отмеченный «искрой божьей»?

Настроения мои часто и резко колебались то в одну, то в другую сторону. Иногда мне казалось, что в душе у меня горит яркий огонь таланта и что мне суждено стать крупным поэтом. Тогда я воображал себя вторым Некрасовым (я признавал только «гражданскую поэзию») и в ярких красках рисовал, как я отдаю все свое дарование на службу делу народа и как мой гневный стих ударяет по сердцам людей «с неведомой силой». В такие минуты я чувствовал себя счастливым, могучим и непобедимым. Иногда же, наоборот, мне казалось, что я совершенная бездарность, что стихи мои никуда не годятся и что все мои творческие попытки являются лишь «пленной мысли раздраженьем». Тогда на меня находили уныние, депрессия, неверие в свои силы. В такие минуты я ходил мрачный, нелюдимый и любил декламировать знаменитое гейневское «Warum?»:

Warum sind derm die Rosen so blass,  
O, sprich, mein Lieb, warum?  
Warum sind denn im grunen Grass  
Die blauen Veilchea so stumm?<sup>1</sup>

И, дочитавши до конца это изумительное стихотворение, я в состоянии глубокого пессимизма задавался вопросом:

— Разве жизнь, природа, человечество, идеи, мысли, чувства, радости, печали, стремления — разве все это не есть одно сплошное, роковое «Warum?»

Я тщательно скрывал от всех минуты моих упادочных настроений, но пред Пичужкой моя душа открывалась. Я искал у нее утешения и ободрения. И она мне это давала. С каким-то чисто женским умением она успокаивала меня и возвращала мне веру в самого себя. Особенно врезался мне в память один случай.

Как-то тихой лунной ночью мы с Пичужкой возвраща-

---

<sup>1</sup> В переводе Надсона эти стихи звучат так:  
Отчего бледны и печальны розы,  
Ты скажи мне, друг мой дорогой?  
Отчего фиалки пламенные слезы  
Льют в затишьи ночи голубой?

лись на пароходе в Сарапул из Чистополя, куда мы ездили проводить знакомого приятеля. Спать нам не хотелось, и мы долго сидели на палубе, наслаждаясь открывавшейся перед нами картиной. Могучая темноводная Кама тихо сияла под серебром лунного света. Высокие берега, густо поросшие хвойными лесами, угрюмо свешивались над ее шумными струями. Равномерные удары паровых колес гулко отражались по крутоярам, переливались протяжным эхом и где-то замирали вдали.

Потом мы заговорили. Я вновь коснулся моего больного вопроса. Я долго доказывал Пичужке, как важно было бы, чтобы я имел поэтический талант: я горы сдвинул бы с места, я поразил бы в самое сердце «ликующих и праздноболтающих», я вдохновил бы своей песней народ на борьбу. Я закончил свои мечты горестным восклицанием:

— Если я не стану большим поэтом, то не стоит жить!

Пичужка дружески положила руку на мое плечо и каким-то особенно проникновенным голосом сказала:

— Жить стоит, если ты даже и не станешь большим поэтом.

Пичужка была права. С тех пор прошло свыше сорока лет. Я не стал ни большим, ни даже маленьким поэтом. И тем не менее, оглядываясь на весь пройденный мной путь, я с глубоким убеждением могу воскликнуть:

— Да здравствует жизнь!

#### 17. ТРАГЕДИЯ ЦЕРКОВНОГО ОРГАНИСТА

Осенью 1900 года я стал брать частные уроки немецкого языка. Мать считала, что каждый интеллигентный человек должен хорошо знать, по крайней мере, один иностранный язык, но предоставила мне самому выбор языка. Я остановился на немецком, — и виной тому был Гейне. Еще в шестом классе я начал почитать его произведения, и они сразу произвели на меня сильнейшее впечатление. Эта любовь к великому немецкому поэту в дальнейшем все больше росла параллельно с моими увлечениями другими авторами, в частности Байроном, и к восьмому классу превратилась в настоящую страсть, которая постепенно отодвинула назад всех моих прежних литературных «богов». Пичужка прислала мне портрет Гейне—я повесил

его над своим столом и поминутно им любовался. «Я не видел лица лучше, чем у Гейне, — писал я в то время Пичужке и затем прибавлял: — С каждым днем я открываю в Гейне все новые и новые достоинства и убеждаюсь, что этот вечно насмешливый, вечно скептический Аристофан девятнадцатого века — один из величайших гениев и знатоков человеческой души вообще, а души людей нашего века в особенности. Гейне — это человечество. Он олицетворяет его в своем лице с таким совершенством, как никто. В нем нашли свое отражение все хорошие и дурные стороны человечества, вся широкая и пестрая панорама житейского рынка, вся его боль и скорбь, вся его злость и негодование. За это-то я так люблю Гейне! Короче, я останусь ему неизменно верен».

Последнее замечание было пророческим. Из всех моих литературных увлечений юности самым длительным и прочным оказалось увлечение Гейне. Я сохранил его на всю жизнь, и даже сейчас, в минуту раздумья или отдыха, я люблю перелистать томик стихов этого ни с кем не сравнимого и ни на кого не похожего поэта. В те годы мне больше всего хотелось читать Гейне в подлиннике. И потому я решил изучать немецкий язык.

Моим учителем был органист лютеранской кирки в Омске по фамилии Браун. Хотя в нашем городе он сходил за «немца», на самом деле Браун был латыш из Риги, кончивший там немецкую гимназию. Сколько ему было лет, сказать не могу: Браун всегда обходил этот вопрос, как и вообще все вопросы, относящиеся к его прошлому. Только позднее я понял, почему. На вид моему учителю можно было дать лет пятьдесят, и весь он со своим полуседым низким «ежиком» на голове, всегда ярко отливавшим помадой, со своими бритыми усами и бородой, с глубокой сетью морщин на бледноватом лице, казался каким-то полусасохшим сморщенным лимоном. Лишь глаза, черные, острые, чуть-чуть испуганные, как-то не гармонировали с общим обликом Брауна: точно они были взяты от другого человека и невпопад приставлены к этому лицу. Одевался Браун скромно, но чистенько и аккуратно, и, ходя по улице, любил курить трубку.

Вначале наши занятия шли очень официально. Один урок мы посвящали чтению «Путевых картин» Гейне, другой — разговору, причем беседовали мы на самые «беспартийные» темы: о погоде, о достопримечательностях



Омска, об отметках за четверть и тому подобных мало интересных вещах. Понемногу, однако, лед стал таять, и наши отношения начали принимать более человеческий характер. Большую роль в сближении с учителем сыграла моя любовь к органу. Этот инструмент всегда возбуждал во мне самое искреннее восхищение. До сих пор я считаю, что орган — самый могучий, самый вдохновенный музыкальный инструмент из всех, созданных человеком. Больше, чем какой-либо иной, он способен покорять и завоевывать душу. Браун стал водить меня в кирку в часы, свободные от богослужений, и разыгрывать предо мной изумительные органские концерты. Музыкант он был хороший и дело свое любил страстно. Бах, Моцарт, Гайдн, Бетховен и многие другие композиторы прошли здесь предо мной в своих величайших произведениях, и здесь именно я впервые понял и почувствовал все несравненное величие Бетховена, который остался на всю дальнейшую жизнь моим музыкальным «богом».

Орган проложил дорогу к моему сближению с учителем. Он жил при кирке в маленькой квартирке из двух крохотных комнат с кухней и часто после «концерта» приглашал меня к себе выпить стакан чаю. Жил он один, старым холостяком, помещение свое содержал в идеальной чистоте и сам вел все свое несложное хозяйство. Мало-помалу я так освоился в квартирке Брауна, что стал чувствовать себя здесь, как дома, и позволял себе иногда рыться на его книжных полках и в разных укромных уголочках. Как-то раз мы зашли к учителю после великолепного концерта Баха—оба в очень приподнятом, почти радостном настроении. Были ранние зимние сумерки, и учитель сразу пошел на кухню ставить чай. Я же подошел к небольшой этажерке и, порывшись немножко в каких-то старых иллюстрированных журналах, вытащил сильно полинявший от времени альбом фотографических карточек. Машинально я стал его перелистывать. Лица мне были совершенно незнакомые, но по костюмам и прическам женщин видно было, что все портреты относились к эпохе 70—80-х годов прошлого века. Одна фотография привлекла мое особенное внимание: она изображала молодую девушку с длинной толстой косой, сильно напоминавшую по типу гётевскую Гретхен. Лицо нельзя было назвать красивым, но в нем было много какого-то нежного очарования.

— Кто это? — спросил я учителя, когда он поставил на стол чай и печенье.

Я никогда не забуду эффекта, произведенного моим невинным вопросом. Браун внезапно изменился в лице, потемнел, еще больше сморщился. Из груди его вырвался какой-то странный звук, похожий не то на икоту, не то на сдержанное рыдание. Учитель круто отошел от стола и неподвижно остановился у замерзшего окна, уткнувшись в него лицом. Я не мог понять, в чем дело, но сразу почувствовал, что своим вопросом я затронул какую-то скрытую, незажившую рану. Я был смущен, но не знал, как выйти из положения. Прошло несколько минут неловкого молчания. Наконец, Браун овладел собой, вернулся к столу и налил мне и себе по стакану чаю. Однако все его недавнее оживление, вызванное Бахом, исчезло без следа. Он был теперь мрачен, угрюм и показался мне гораздо более сутулым, чем обычно. Не говоря ни слова, мы в тяжелом напряжении выпили чай, и я поднялся, чтобы поскорее уйти. Я хотел, однако, как-нибудь загладить свою бестактность и на прощанье сказал:

— Извините меня, пожалуйста, за необдуманный вопрос... Я не знал... Я не думал причинить вам неприятность.

Какая-то тень прошла по лицу учителя, и он вяло ответил:

— Нет, нет, что же?.. Я понимаю... Не беспокойтесь... Все проходит...

Я надел на себя шинель и собрался уходить. Но, когда я уже брался за ручку двери, учитель вдруг судорожно сорвался с своего места, подбежал ко мне и, схватив за руку, молящим голосом заговорил:

— Не уходите, ради бога! Посидите со мной!.. Я боюсь, я боюсь! Она опять придет! Она опять будет мучить меня!..

— Кто она? — с недоумением спросил я.

— Вы знаете, кто эта женщина, о которой вы спрашивали? — глухо пробормотал учитель.

— Нет, не знаю. Кто она? — откликнулся я.

Браун передохнул, точно ему трудно было выговорить слово, которое он собирался сказать, и затем почти прошептал:

— Это моя жена...

Вдруг голос учителя сразу перешел на крик:

— Нет, я сказал неправду! Это не моя жена!.. Это моя невеста!..

Я почувствовал, что предо мной какая-то тяжелая тайна, какая-то старая, еще не изжитая драма, и мне стало жалко этого глубоко раненного человека. Я разделся и вернулся в комнату. В быстро надвигающихся сумерках очертания вещей и предметов стали как-то смягчаться и туманиться. Я сел на кресло в двух шагах от Брауна, но в полумраке мне плохо было видно выражение его лица. Он тяжело дышал и никак не мог успокоиться.

— Вы извините меня, что я вас задерживаю, — виноватым голосом проговорил органист, — это скоро пройдет... это скоро пройдет!

Я стал его успокаивать как мог. Я не просил Брауна рассказать мне, что его так волнует, — мне казалось это бестактным и жестоким. Но он сам, видимо, искал случая облегчить свою душу, — должно быть, он долго, очень долго молчал, — и скоро из его уст полились слова... Сначала трудно, коряво, с запинками и заминками, как телега по дороге с ухабами, а потом все легче, все быстрее, все неудержимее. Хорошо, что были сумерки. В сумерки, когда не видно выражения лица собеседника, легче всего говорить на интимные, волнующие темы. В тот вечер я услышал жуткую историю, которая могла бы показаться страницей из мрачного средневекового романа, если бы она — увы! — не являлась живой реальностью в обстановке царской России.

Мой учитель был сыном мелкого лавочника из окрестностей Риги. Отец его почитал образование, тянулся изо всех сил и дал мальчику возможность окончить немецкую гимназию в Риге. Ставши на свои ноги, Браун пошел учительствовать. Он получил должность в школе, расположенной в одном из крупных латышских сел, а сверх того, выполнял обязанности органиста в местной церкви. Дела у него сразу пошли успешно. Он был молод, полон надежд и энергии, будущее рисовалось ему в радужных красках. Работы было много, но он ее любил и справлялся с ней хорошо. Население относилось к учителю с симпатией, а скоро в дополнение ко всему этому пришла любовь. На одной вечеринке Браун познакомился с дочкой местного начальника почты, той самой девушкой, портрет которой я видел в альбоме, почувствовал, что сердце его забило сильнее, и быстро убедился, что другое сердце отвечает

взаимностью. Роман продолжался несколько месяцев. Взаимная страсть разгоралась все сильнее. Наконец, назначена была свадьба — через несколько дней после большой осенней ярмарки, устраивавшейся как раз в том селе, где работал Браун. Молодой жених находился в состоянии восторженного опьянения, готовил свое жилище к приему дорогой гостьи и с нетерпением ожидал дня, когда это счастливое событие должно было совершиться.

Наступила ярмарка. Со всей округи собралась масса народу. Приехал на ярмарку также сын важного немецкого барона, имевшего замок поблизости от села. Ходили слухи, что предки барона разбойничали на большой дороге и что его родной дед был пиратом на Индийском океане, но попал в руки англичан и погиб на виселице. нынешний барон, однако, был большой человек при царском дворе и занимал разные высокие должности. Жил он большей частью в Петербурге, а находившийся на месте управляющий драл три шкуры с окрестных крестьян и грозил каждому недовольному. В этот год сын барона — молодой конногвардейский офицер — проводил лето в замке, пьянствуя и безобразничая с привезенной им из столицы компанией. На ярмарке вся эта компания держалась шумно и вызывающе, переворачивая телеги, сбивая с ног прохожих, нахально приставая к женщинам. На беду, невеста Брауна попала на глаза баронскому сыну. Хорошенькая девушка понравилась гвардейцу, и он бесцеремонно, на глазах всего народа, облапил ее и стал целовать. Видевший это Браун не мог удержаться, бросился на офицера и оттолкнул его от невесты. Баронский сын пришел в ярость и, наверное, тут же избил бы Брауна нагайкой, если бы не вмешательство окружающей толпы. Знатный хулиган отступил перед разъяренными лицами и возмущенными криками, но, уезжая, крепко выругался и погрозил Брауну кулаком:

— Я тебе это припомню!

И действительно, припомнил.

В назначенный день сыграли свадьбу. Было много гостей, много вина, много добрых пожеланий. Когда все разошлись и разъехались, молодые остались одни и, полные счастья и любви, стали готовиться ко сну. Было уже за полночь. Вдруг у входа в учительский дом, помещавшийся на окраине села, раздался шум колес и вслед за тем послышался громкий стук в дверь. Думая, что это

вернулся кто-то из недавних гостей, Браун открыл дверь и сразу же был сбит с ног сильным ударом кулака в голову. Четверо здоровых парней из дворни барона ворвались в дом, схватили жену Брауна, заткнули ей рот, накинули на голову мешок и бросили в стоявшую у подъезда повозку. Браун пытался вырвать жену из рук насильников, но был отброшен, смят и осыпан ударами. Вслед за тем повозка с женой и ее похитителями скрылась в темноте ночи. Не помня себя, не понимая толком, что он делает, Браун бросился вслед за повозкой по дороге к замку. Он бежал и кричал, призывая жену, проклиная насильников, грозя всякими карами баронскому сыну. Когда Браун оказался, наконец, перед замком, ворота его были наглухо закрыты. В окнах не видно было ни одного огня. Он стал барабанить в ворота замка, стучал, кричал, требовал, чтобы его впустили и отдали ему его жену. На все вопли Брауна мрачный замок отвечал лишь мертвым молчанием. Наконец, ключ заскрипел в воротах замка. В душе Брауна вспыхнула потрясающая, невероятная надежда: может быть, это она, это его жена? Может быть, баронский сын все-таки опомнился?.. Может быть, уступая мольбам девушки, он, в конце концов, решил отпустить ее?.. Но нет, три огромных волкодава выскочили из ворот и бросились на Брауна. Он едва успел отскочить и, схватив тяжелый сук, стал отбиваться от наседавших на него собак. Ворота вновь захлопнулись, и Брауну стало ясно, что оттуда, из замка, пощады ждать нельзя. Преследуемый волкодавами, гонимый собственным отчаянием, Браун в темноте ночи побежал назад, в село. Он поднял с постели ничего не подозревавшего отца девушки и рассказал ему о происшедшем. Начальник почты отправил душераздирающую телеграмму в Ригу по начальству, прося помощи и защиты. Но было четыре часа утра, все власти в Риге спали, а дежурный телеграфист не решился в такую рань беспокоить высокое начальство. Он просто ответил:

— Мало ли что бывает! Разберемся завтра.

Тем временем весть о похищении жены Брауна стала распространяться по селу. Несмотря на ранний час, к дому начальника почты стал собираться народ. Все возмущались, кричали, ругали баронского сына, но никто не решался сделать отсюда практические выводы. Напрасно Браун умолял собравшихся вместе с ним идти к замку и

требовать немедленного освобождения его жены, — крестьяне переминались с ноги на ногу, чесали затылки и не двигались. А один, более откровенный, сказал:

— Н-да, поди-ка, попробуй!.. Тоже тебе шею наломают... Барон-то при государе состоит.

Часы проходили. Наступил день. Начальник почты вновь послал в Ригу отчаянную телеграмму. В ответ ему сообщили, что обе телеграммы переданы по начальству, но от начальства не было ни слуху, ни духу. Брауну казалось, что он сходит с ума.

Между тем по селу пошли неизвестно откуда взявшиеся темные слухи, что нынче ночью в замке произошло что-то страшное. Слухи эти росли, усиливались, пока, наконец, не пришли из замка люди и шопотом, по секрету, не рассказали, что случилось: похищенная жена Брауна была передана в руки баронского сына и его компании. Все они были вдребезги пьяны и едва ли даже ясно сознавали, что делали. Несчастливая девушка была изнасилована всеми по очереди. Совершенно обезумевшая, рано утром она выбросилась из окошка замка и разбилась насмерть...

Трудно описать состояние Брауна после этой истории. Рассудок его помутился. Он пытался поджечь замок, но это ему не удалось. Он хотел повеситься, но его от этого спасли. Он заболел тяжелой нервной горячкой и много месяцев пролежал в больнице. Он вышел оттуда разбитым человеком: весь как-то сломался, постарел, потерял почву под ногами. Он не мог больше оставаться в родных местах, где все ему напоминало о только что пережитой трагедии, и стал бродить по России. Был в Одессе, на Кавказе, на Волге. В конце концов, восемь лет назад судьба закинула его в Омск.

Браун навсегда остался холостяком: самая мысль о женитьбе теперь стала для него предметом ужаса...

— А что же случилось с баронским сыном? — спросил я, когда Браун кончил свой рассказ. — Был ли он наказан?

— Наказан? — с горечью повторил мой вопрос Браун. — Разве таких людей наказывают?.. Ведь его папаша был близок к царю... Ну, на другой день после всего происшедшего приехали власти в замок, их там хорошо угостили, напоили, а потом они составили протокол: смерть, мол, произошла оттого, что девица была сильно

выпивши и в состоянии опьянении, случайно оступившись, выпала в окно. Вон оно как вышло! Она же, мол, сама и виновата. Тем дело и кончилось. Н-да, недаром говорится: с сильным не борись, с богатым не судись.

Браун глубоко задумался. Я тоже молчал, потрясенный рассказом, который только что услышал. Наступил вечер,, и в комнате было совсем темно, но лампы зажигать не хотелось.

Браун, наконец, очнулся и проговорил:

— Спасибо, что вы остались. Я выговорился, и мне стало легче. Обычно я не думаю об этой давней истории. Временами мне даже кажется, что я ее забыл. Но потом вдруг что-нибудь напомнит мне о ней. Будто ножом по сердцу полоснет... И тогда ко мне приходит она... Я вижу ее такой, какой она была в момент ее похищения: руки связаны, лицо белое, без кровинки, а глаза смотрят на меня укоризненно, будто спрашивают: почему же ты меня не спасешь?.. О! В такие минуты я готов повеситься...

Браун застонал и хрустнул пальцами. Я схватил его за руку и стал успокаивать. Постепенно он оправился и как будто бы пришел в себя. Потом уже совсем другим, обыкновенным, повседневным голосом сказал:

— Совсем стемнело. Надо лампу зажечь. И вам пора идти домой, а то ваша мамаша будет беспокоиться.

#### **18. ОГНИ ЖИЗНИ ЗАГОРАЮТСЯ НАД МОИМ ГОРИЗОНТОМ**

Целую неделю после того я ходил под впечатлением рассказа Брауна. Все думал и передумывал, все старался доискаться до того, основного, главного, что вытекало из этого рассказа. Кровь закипала у меня, когда я вспоминал о той ужасной несправедливости, жертвой которой стал Браун, и о том, что виновник гнусного преступления остался безнаказанным. А почему? Только потому, что сам он был гвардейский офицер, что отец его был близок к царю, что оба они были представителями высшего сословия в государстве. Классовая структура царского общества впервые встала предо мной в столь обнаженной, в столь отталкивающей форме, и я невольно должен был задуматься. Я начал рыться в памяти и перебирать факты и впечатления прошлого, лежавшие там до сих пор,

как случайно набросанные кирпичи. Я вспомнил фельдфебеля Степаныча и моего друга новобранца Карташева, я вспомнил штурвального Горюнова и рассказы «дедушки-политического», я вспомнил забитость и нищету подмосковных крестьян, с которой мне приходилось сталкиваться в Мазилове и Кирилловне, я вспомнил полугодовое существование омских ремесленников, у которых я учился столярному и слесарному делу, я вспомнил сотни иных «мелочей жизни», которые раньше как-то незаметно проходили мимо моего сознания, но которые теперь приобрели в моих глазах совсем особенное значение. Я вспомнил все это, собрал вместе, суммировал и впервые пришел к выводу, который в точной формулировке должен был гласить: «Долой самодержавие!» Я не хочу сказать, что у меня в тот момент нашлась именно такая точная формулировка, — конечно, нет. Я кончил гимназию, не выдав ни одной нелегальной брошюры или листовки, и лозунг «Долой самодержавие!» воспринял уже только в Петербурге, после поступления в университет. Однако существо тех заключений, к которым я пришел в результате размышлений, вызванных рассказом Брауна, было именно таково. Именно с этого момента в моей душе загорелась та острая, жгучая ненависть к царизму, которая спустя короткое время привела меня в лагерь революции.

Итак, путеводная цель была найдена. Но каков ведущий к ней путь?

Здесь все для меня попрежнему оставалось в тумане. Зимой 1898/99 года мы часто спорили с Олигером по вопросу о легальных и нелегальных формах работы. Олигер отстаивал идею создания подпольного органа вроде «Колокола» Герцена (мы в то время в нашей омской глуши не подозревали, что подпольные органы уже существуют), я же, наоборот, находил, что передовой летальный орган вроде «Русского богатства» может приносить гораздо больше пользы. Вообще в то время я доказывал, что сейчас в России важнее всего просвещение народа и что только просвещение может подготовить широкие массы к восприятию «идей равенства и свободы». Отсюда я делал вывод, что «мирный путь прогресса» прочнее и успешнее, чем революционные катаклизмы. На «Санитарной станции» и в Сарапуле мы много беседовали на ту же тему с Пичужкой, причем моя кузина оказывалась еще более прямолинейной сторонницей «культурни-



чества», чем я. Отчасти под ее влиянием я любил в то время провозглашать:

— Культура, и только культура, приведет человечество к счастью!

В дальнейшем, однако, у меня появились сильные сомнения в правильности этой «культурнической» концепции, и позднее я с некоторой издевкой писал Пичужке, что она собирается «малыми делами приносить великую пользу». Мои сомнения еще больше возросли, когда осенью 1900 года в Омске вдруг опять внезапно появился Олигер.

За год нашей разлуки с моим другом произошло много интересного. Саратов, где после ухода из нашей гимназии он поступил в химико-техническое училище, не в пример Омску, был в то время уже крупным революционным центром. Здесь имелись уже социал-демократические группы, организации учащихся, кружки на заводах, нелегальная литература, прокламации. Олигер очень быстро ориентировался в этом подпольном мире и стал играть довольно крупную роль в организации молодежи. Учился он мало и плохо, но зато охотно брался за различные рискованные поручения. В конце концов Олигер «провалился» и вынужден был бежать от ареста. С большим трудом и разными приключениями он нелегально перешел границу и очутился в Кракове, входившем тогда в состав Австро-Венгрии. Здесь он поболтался месяца два, проел все имевшиеся у него деньги, пытался, но не сумел как-нибудь устроиться и, в конце концов, решил пробираться до дому. Олигер вновь нелегально перешел границу, но уже в обратном направлении, и затем, далеко объезжая Саратов, старательно избегая встречи с жандармами, прибыл потихоньку в свою отчизну — в Омск.

Мы встретились, как старые друзья, и наши отношения стали крепнуть с каждым днем. Планы Олигера вначале были самые неопределенные и подчас фантастические. То он собирался стать актером, то хотел итти в моряки, многозначительно подчеркивая, что дядя его пятнадцатилетним мальчиком бежал на корабль и после того проплавал всю жизнь. Затем Олигер решил готовиться на аттестат зрелости и держать экзамен экстерном вместе со всеми нами весной 1901 года. Я стал помогать ему в подготовке. В конечном счете и из этого проекта ничего не вышло, и Олигер так и вышел в жизнь гимназическим недоучкой,

что, впрочем, нисколько не помешало его дальнейшей карьере.

Мы виделись с Олигером почти ежедневно. Нам никогда не было скучно, и мы всегда находили темы для самых оживленных разговоров, засиживаясь друг у друга до глубокой ночи. Особенно я любил бывать у Олигера в его маленькой, убого обставленной комнатухе. Обычно он ложился на кровать, я ложился на стоявший поблизости старый продавленный диван, и мы начинали разговаривать, или, вернее, мыслить вслух. С невероятной легкостью мы облетали воображением весь мир, касались самых разнообразных проблем, обменивались мнениями и спорили по самым сложным и запутанным вопросам. Часто один начинал высказывать какую-либо мысль, другой на лету ее перехватывал и развивал дальше, потом первый вновь вступал в игру, вносил поправки и дополнения, потом мы оба лихорадочно неслись вперед в своих выкладках и построениях, потом мы вдруг обнаруживали, что зашли в тупик и со смехом бросали в мусорный ящик заинтересовавшую нас идею. Все это было очень весело и занятно, и в процессе такой умственной гимнастики наши диалектические способности, несомненно, развивались. Мы постоянно делились с Олигером мыслями и чувствами, мечтали о своем будущем (которое, конечно, должно было принести нам славу и успехи!), говорили о человечестве, о его прогрессе, о завоеваниях науки и достижениях литературы и искусства.

Чаще всего и серьезнее всего мы говорили, однако, о том, что нас тогда больше всего занимало, — как, каким путем можно было бы покончить с самодержавием? Несмотря на то, что Олигер уже несколько потерся в революционных кругах и даже побывал «в эмиграции», ясного ответа на этот вопрос у него не было. В голове у Олигера была почти такая же путаница, как и у меня, дополнительно еще сдобренная горячим воображением и пылкостью темперамента. То он мечтал об убийстве царя и его министров, то он предрекал массовое крестьянское восстание, которое должно все снести с лица земли, то ему рисовался великий ученый, который делает изумительное, небывалое открытие, благодаря ему приобретает власть над миром и грозно заявляет всем нынешним владыкам:

— Уходите... или я вас уничтожу!

Все это казалось мне мало убедительным и вероятным, и я ему постоянно говорил:

— То, да не то!

На что Олигер отвечал своим любимым изречением.

— Полюби нас черненькими, а беленькими-то нас всякий полюбит.

Постепенно, из споров, бесед, обмена мнений, у нас стала вырисовываться известная концепция. Она сложилась в результате многих влияний, но главными из них были: бунтарство Стеньки Разина, культ «героев», пропагандировавшийся тогда народническим идеологом Н. К. Михайловским, и аристократическое презрение к «толпе», столь ярко выраженное у Байрона. Выводы, к которым мы пришли, были мрачны и фантастичны.

— Мир должен быть очищен огнем! — со свойственной ему горячностью восклицал Олигер.

— От старой жизни не должно остаться камня на камне! — вторил ему я.

И затем мы оба начинали усердно рыться в истории, выискивая великих «героев», в свое время пронесшихся грозой над миром. Атилла, Чингис-хан, Тамерлан, Наполеон вдохновляли наше воображение.

— Мне страшно импонирует Наполеон, — как-то сказал я Олигеру. — Это колоссальная фигура!

И в дополнение я с чувством продекламировал «Воздушный корабль» Лермонтова и «Два гренадера» Гейне. Оба эти стихотворения в то время производили на меня сильнейшее впечатление.

Однажды в начале 1901 года я пришел к Олигеру и, вытащив из кармана несколько мелко исписанных листочков, повелительно сказал:

— Слушай!

И затем с некоторым волнением я прочитал ему написанное мной накануне стихотворение в прозе под заглавием «Я хочу быть великой грозой». Здесь была ярко изложена вся наша тогдашняя философия. Начиналась моя фантазия с того, что «великий дух предстал предо мною» и, как водится в подобных случаях, весьма кстати спросил меня, чего я желаю? Желая ли я стать великим поэтом, или великим мудрецом, или великим музыкантом, скульптором, художником? Дух обещал исполнить всякое мое желание. Но я отвечал:

— Я не хочу быть ни певцом, ни мудрецом, ни музы-

кантом, ни художником, ни скульптором, — я хочу быть великой грозой старого напорченного мира! Я хочу быть мстителем за кровь, за слезы, за боль и обиды тысяч поколений, я хочу быть грозным вождем всех униженных и оскорбленных земли! Я не хочу любви,—я хочу ненависти!

«Великий дух» омрачился, услышав мое желание, и обратился ко мне с просьбой подумать хорошенько прежде, чем решать окончательно. Но так как я настаивал на своем желании, то «великий дух» сказал:

— Хорошо, я исполню твою волю.

И вот я стал «великой грозой». Толпы народа теснились вокруг меня, знамена развевались в воздухе, мечи сверкали, города горели, поля опустошались, кровь лилась бесконечным потоком, и глубокая ночь освещалась заревом старого мира. Бурным, всеуничтожающим потоком прошли мы шар земной от края До края и смели с лица земли грандиозное здание старой, лживой и затхлой жизни. А миллионные толпы оглушительно кричали:

— Слава нашему великому вождю! Слава ему вовеки!

Но, когда гроза, наконец, промчалась и «настало время творить и созидать», люди приступили ко мне и стали спрашивать:

— Скажи нам, вождь, что же нам теперь делать?

Но в ответ я молчал. Ибо я был грозой, а не миром. Я умел разрушать, но не умел строить. Тогда толпа пришла в ярость, взбунтовалась против меня и стала кричать:

— Зачем ты увлек нас за собой, проклятый безумец?

Я был низвергнут с высоты в бездну. Великий подъем сменился великим разочарованием.

И вдруг вся жизнь человечества со всеми ее печалью и радостями, тревогами и волнениями, показалась мне «такой грустной, бесконечно грустной, и жалкой, и смешной историей»...

Олигеру моя фантазия страшно понравилась... Он находил ее не только хорошо написанной, но и очень глубокой по содержанию.

— Знаешь что? — вдруг воскликнул он с энтузиазмом. — Почему бы тебе не напечатать свое произведение в газете? Ну, например, в «Сибирской жизни»?

«Сибирская жизнь» была крупная по тому времени томская газета, к которой все мы относились с почтением. Это было не то, что наш омский «Степной край». То об-

стоятельство, что Олигер упомянул в данной связи именно о «Сибирской жизни», сильно льстило моему самолюбию. Тем не менее я не чувствовал полного внутреннего удовлетворения. Хотя мое стихотворение в прозе нравилось мне, как литературное произведение, оно лишь в особо яркой форме подчеркивало незаконченность всей нашей концепции, зияющую пустоту в столь увлекавших нас тогда построениях. Прекрасно: мы приводим в движение миллионные толпы угнетенных и обиженных, мы проносимся грозой над миром и разрушаем до основания старую, мерзкую жизнь, а дальше что? На этот основной вопрос у меня не было ответа, и отсутствие его меня беспокоило и раздражало.

Тем не менее совет Олигера пришелся, как говорится, к стати. Я снес свое произведение омскому представителю «Сибирской жизни», старому народнику Шахову, и с трепетом стал ждать результатов. Каковы же были мои восторг и упоение, когда недели две спустя я увидел свою фантазию напечатанной в «Сибирской жизни»! Она занимала две трети подвала на второй странице газеты, и заголовок ее был выведен такой красивой, тонкой, поэтической вязью...

Это было настоящее торжество. К тому же я получил гонорар — первый в моей жизни литературный гонорар — 6 рублей 69 копеек! Я повел Олигера и еще целую компанию друзей в гостиницу «Европа» (хотя это строго запрещалось гимназическими правилами), и мы там устроили настоящий «пир». Все поздравляли меня с успехом и предрекали мне большую литературную карьеру. Это было приятно. Однако на следующий день я услышал нечто иное. Жена Шахова — большая, мужеподобная женщина с коротко подстриженными полуседыми волосами — пригласила меня к себе и жестоко отчитала за идею моего произведения.

— У тебя есть дарование, — грубовато говорила она, величая меня на «ты», — но по содержанию твоя фантазия никуда не годится. Мысли у тебя реакционные!

— Как реакционные? — с возмущением воскликнул я. Я чувствовал себя тогда страшным «революционером». Но Шахова со мной не соглашалась. Она, так же как и ее муж, была старая народница и теперь атаковала меня со своих позиций. Я молчал и слушал. Слова Шаховой были для меня не во всем убедительны, но я чувствовал, что

их нельзя просто пропустить мимо ушей. Они давали свой ответ на мучивший меня вопрос: что же дальше? Мне только казалось, что в этом ответе правда как-то странно перемешана с неправдой. Впрочем, доказать этого даже самому себе я тогда еще не мог.

Как бы то ни было, но в моей жизни была пройдена важная веха: я стал «печататься» в газетах!

В ту же зиму моя «слава» поэта вышла за стены гимназии, и я превратился в омскую «знаменитость».

Незадолго до рождества в гимназии был устроен литературно-музыкальный вечер с танцами. Это было вообще новостью. До того ничего подобного в нашей жизни не случалось. Однако нарастающее общественное движение, одним из симптомов которого были все учащавшиеся в то время «студенческие беспорядки», вынуждало правительство к известному маневрированию, к нерешительным попыткам путем мелких уступок по мелким вопросам отвести удар приближавшейся грозы. Конечно, все это было совершенно бесполезно: крохотные щелки, открываемые властями в наглухо захлопнутых окнах царского режима, не в силах были разрядить глубокого напряжения сгустившейся атмосферы. Однако в установившийся распорядок жизни они вносили кое-какие маленькие изменения. В Томск был назначен более либеральный, или, вернее, несколько менее реакционный, попечитель учебного округа. Он разослал по подведомственным ему гимназиям новые учебные планы, которые в области древних языков ослабляли зубрежку грамматики и усиливали чтение авторов, отменяли каникулярные и сводили на-нет домашние письменные работы, предоставляли больше самостоятельности педагогическому совету и рекомендовали устройство разумных развлечений для учащихся. Одновременно в нашей гимназии произошла смена директоров: Мудрох ушел в отставку, а на его место был назначен Головинский, старавшийся разыгрывать из себя «просвещенного человека». Наш словесник Петров, со свойственной ему ловкостью почуявший «новые течения», вдруг превратился в большого «радикала» и «друга учащихся», ругал прежние правила и программы и извинялся за сухость той учебы, которой он пичкал нас в предшествующие годы.

В гимназии (да и вообще в омском педагогическом ми-

ре) стали появляться люди, которых до того мы не привыкли встречать среди представителей нашего учительского «Олимпа». Из них мне особенно запомнились двое.

Один был новый учитель русского языка — Васильев. Он приехал к нам с Волги в начале 1900 года и очень быстро завоевал себе популярность среди гимназистов. Веселый, краснощекий, с копной русых волос на голове и с носом, слегка повернутым к небу, он был воплощением молодости и здоровья. В классе Васильев много смеялся, шутил с учениками, рассказывал разные занятные истории и приключения, но вместе с тем строго требовал знания предмета и добивался этого знания без криков, измывательств и «колов» в классном журнале. Происходило это потому, что Васильев умел преподавать свой предмет живо и интересно, а главное — потому, что ученики его любили и охотно угождали учителю. Вскоре по приезде в Омск Васильев женился на девушке, только что окончившей местную гимназию, и через нее установил тесный контакт со старшими группами молодежи. В свободное время Васильев, забрав жену и еще человек десять гимназистов и гимназисток, любил кататься на лодке по Иртышу или устраивать веселые пикники в Загородной роще. По своим политическим настроениям Васильев относился к тем кругам русской интеллигенции, которые шли в фарватере народничества, но в описываемое время его влияние на учеников было, несомненно, положительным: оно укрепляло в них ненависть к царизму и толкало в сторону участия в революционном движении.

Другой учитель, который примерно тогда же появился на омском горизонте, представлял собой фигуру несколько иного типа. Его фамилия была Токмаков, и он приехал к нам откуда-то с юга, если память мне не изменяет, из Харькова. Токмаков преподавал в женской гимназии историю и спустя короткое время стал предметом поклонения со стороны своих учениц. Объяснялось это отчасти его внешностью: Токмаков был интересный брютет, с тонкими чертами лица и изящно-округлыми движениями. Однако дело было не только в чисто мужской привлекательности нового учителя. Очень сильное впечатление на учащихся производили также его эрудиция и красноречие. На уроках Токмаков много и интересно рассказывал из истории России — и притом совсем не по Иловайскому! Иногда эти уроки превращались в блестящие лекции, о которых

разговоры шли потом по всему городу. Токмаков примыкал к течению легальных марксистов и пытался в таком духе освещать исторические события. Конечно, это был не диалектический материализм, однако в обстановке тех дней да еще в сибирском медвежьем захолустье Токмаков являлся звездой первой величины на нашем педагогическом небосводе. Несмотря на свою внешнюю сдержанность, Токмаков во внеклассное время охотно встречался с молодежью. Нередко в его небольшой холостой квартире собирались старшие гимназисты и гимназистки из более «серьезных» («несерьезных» Токмаков к себе не пускал) и обсуждали с ним волнующие их вопросы. И это было очень полезно. Ниже я расскажу, как он мне помог в поисках огней жизни.

Все указанные явления не могли не отразиться на состоянии нашего гимназического мирка. В его затхлой, пропитанной гнилостными испарениями атмосфере потянули легкие, едва уловимые струйки чего-то нового, необычного, колеблющего столь знакомую нам мертвечину прошлого. Литературно-музыкальный вечер, о котором я выше упомянул, был одним из проявлений этого грошového «либерализма» царской педагогической бюрократии.

На вечере выступали преподаватели и учащиеся гимназии. Михновский был главным распорядителем. Петров предложил мне прочитать одно из моих стихотворений. Я согласился, но поставил условием, что выбор стихотворения делаю я сам. Это условие было принято. Тогда я заявил, что буду читать поэму «Еретик», посвященную великому философу и астроному XVII века, Джордано Бруно, по приговору инквизиции погибшему на костре. Я очень увлекался в то время этой замечательной фигурой и считал его одним из моих исторических героев. К моему удивлению, Петров не возражал против моего выбора, хотя «Еретик» был глубоко пропитан духом протеста против церковного изуверства в области науки. Впрочем, в этом лишь еще сказалось наличие нового, «либерального» курса в гимназии.

На вечер собрались сливки омского «общества» из кругов военной и гражданской бюрократии, слегка разбавленные представителями местной интеллигенции. Присутствовали также гимназисты старших классов и большое количество приглашенных гимназисток. Накануне вечера я?



внезапно и совсем некстати расхворался. Мать было хотела удержать меня дома, но я не мог этого допустить. С повышенной температурой я отправился на вечер. Однако в суете и волнении окружающей обстановки я очень скоро позабыл о своем нездоровье. Когда пришла моя очередь, я, нервно одергивая свой синий гимназический мундирчик, быстро поднялся на эстраду. Сотни глаз сразу устремились на меня, но я уперся взглядом в узкий проход между стульями и, не обращая ни на кого внимания, несколько глуховатым голосом начал свою поэму. Сначала я испытывал легкое смущение, — впервые в жизни мне приходилось выступать перед большой аудиторией, — но скоро оно прошло. Чем дальше, тем спокойнее я становился и закончил уже вполне уверенно.

Раздались рукоплескания. «Галерка», состоявшая из гимназистов, совершенно неистовствовала и громко требовала: «бис!» Я быстро переглянулся с ней и решил внять ее требованию. Я хотел продекламировать только что написанное мной стихотворение «Мне снилась мрачная, глубокая долина», посвященное бурской войне. Но как раз в этот момент из первого ряда на эстраду вскочил седенький подслеповатый старичок с длинным носом, украшенным очками, и, крепко пожимая мне руку на виду у всего зала, визгливым голосом закричал:

— Поздравляю! Поздравляю! Земля наша не оскудевает талантами!

Оказалось, что это был редактор омской газеты «Степной край», который считал своим долгом публично «поощрить» молодого поэта. Теперь я был действительно смущен и поспешил скрыться в прилегающей к залу гостиной с чаем и фруктами. Меня там сразу окружили мои одноклассники и тут же при громких криках «ура» стали качать. Потом пришел Петров, стал жать мне руки и за что-то благодарить. Потом явился Васильев и горячо поздравлял меня с успехом. Потом новый, совсем не знакомый мне учитель Малыгин похлопал меня по плечу и с чувством сказал:

— Спасибо! Я очень рад, что пошел сегодня на вечер. Пахло чем-то свежим, живым.

Вдруг, с силой расталкивая гимназистов, ко мне не подошел, а подбежал Михновский и восторженным шопотом продышал:

— Пойдемте, пойдемте! С вами хочет познакомиться ее превосходительство.

И Михновский, крепко схватив мою руку, потащил меня к гадкой, противной старухе с черными зубами и желтым морщинистым лицом.

— Вот наш автор, ваше превосходительство, — подбостранно изгибаясь, проговорил Михновский.

— Ах, очень рада, очень рада, — задребезжала в ответ жена губернатора, прикладывая золотой лорнет к глазу, — Надеюсь, вы напишите мне свое произведение... Очень мило, очень мило!.. И привезите его сами...

У «ее превосходительства» плохо пахло изо рта, и мне стало совсем тошно. Я поспешил пробормотать что-то среднее между «убирайся к чорту» и «с удовольствием» и затем постарался скрыться в толпе. Конечно, к губернаторше я не поехал и своего произведения ей не послал.

Под конец вечера меня поймал новый гимназический священник отец Дионисий, недавно переведенный к нам из другого города. Отец Дионисий производил впечатление хитрой и замысловатой штучки. Одевался он в рясы из прекрасной материи, крест на груди носил весьма кокетливо, бороду тщательно стриг и аккуратно расчесывал. В походке, в манере держаться, во всех движениях и жестах отца Дионисия было что-то вкрадчиво-коварное, что то елейно-кошачье, сразу вызывавшее к нему недоверие. Он с первого взгляда мне не понравился, и, как видно будет из дальнейшего, моя инстинктивная антипатия к нашему новому «духовному наставнику» оказалась слишком хорошо обоснованной. Теперь, на вечере, он стал до небес превозносить «Еретика» и просил дать ему экземпляр моего произведения, для того чтобы показать его... «преосвященному» (то есть архиерею). Это меня окончательно настроило против отца Дионисия. Я уклонился от каких-либо определенных обещаний, а потом постарался забыть о просьбе священника.

Итак, мой успех на вечере был несомненен. Я стал «героем дня» и сделался «светилом гимназии». Мое имя начали часто упоминать в городе. Признаюсь, это мне было приятно, но... вот что я писал Пичужке, подводя итоги своему выступлению:

«Не знаю почему, но я плохо верю в искренность большинства выпавших на мою долю похвал. И если я даже и неправ в своих подозрениях, я не жалею, что они у ме-

ня есть: так меньше шансов сделаться самодовольной скотиной и перестать двигаться вперед. Нет, я буду вечно недоволен собою и буду вечно двигаться вперед!»

## 19. СТУДЕНТЫ

Со времени демонстрации 8 февраля 1899 года в Омске появилась совсем новая и необычная категория жителей — «высланные студенты». Студенческое движение в столицах и в провинции в то время быстро крепло и росло. То и дело в университетских городах происходили студенческие сходки, студенческие забастовки, студенческие демонстрации. Требования академические все чаще дополнялись требованиями политического характера. Царское правительство отвечало на студенческие беспорядки массовыми репрессиями. Вожаков арестовывали и ссылали в административном порядке в «отдаленные места Российской империи», то есть на север Европейской России и в Сибирь. Более рядовых участников отправляли под надзор полиции «в место жительства родителей». Так как в связи с беспорядками высшие учебные заведения часто закрывались на длительный срок, то множество студентов, получив неожиданные «каникулы», разъезжалось просто по домам. В результате в нашем захолустном Омске (ведь это был сибирский город!) создалась и систематически поддерживалась сравнительно многочисленная «студенческая колония», состоявшая из студентов всех трех категорий. Само собой разумеется, она внесла в омскую общественную жизнь заметное оживление и стала притягательным центром для всех радикально настроенных гимназистов и гимназисток.

Ближе всего я сошелся с «студенческим семейством» Королевых. Состояло оно из трех человек — старшего брата Сергея, его взрослой сестры Наташи и девочки-подростка Мани, которую все почему-то называли «Парочка». По происхождению Королевы были омичи. Отец их умер очень давно. Мать в последние годы сильно страдала от рака желудка, и в начале 1901 года вызвала старших детей, учившихся в Петербурге, домой, чувствуя приближение конца. Действительно, вскоре после их приезда старухи Королевой не стало. Сергей и Наташа собирались было затем вернуться к учебе, но как раз в это

время в Петербурге произошли новые студенческие беспорядки, в результате которых оказались закрытыми все учебные заведения столицы. Королевы застряли, таким образом, в Омске в ожидании лучших времен. Жили они в большом деревянном доме, покосившемся и почерневшем от времени, находившемся на окраине города, и гадали, что с ним делать: дом остался им в наследство от родителей и требовал капитального ремонта. Денег же у молодых хозяев для этого не было. Сергей и Наташа не раз в моем присутствии обсуждали различные проекты (в том числе самые фантастические) «санирования» дома, но дело вперед не двигалось, и с каждым новым посещением моих друзей я невольно замечал, как ступеньки их крыльца все больше ветшают и расшатываются.

Глава семьи, Сергей, — приятный шатен лет двадцати пяти, с типично русским интеллигентским лицом, — был на четвертом курсе историко-филологического факультета. Сверх того, «для хлеба» он работал в качестве корректора в известном в то время петербургском издательстве Маркса, выпускавшем, между прочим, знаменитый еженедельник «Нива». При первом знакомстве Сергей произвел на меня чарующее впечатление своей внешностью, своей живостью, своим юношески радикальным задором, своими как будто бы обширными и разносторонними познаниями. А тот факт, что в качестве корректора он был близок к литературе, сразу подымал Сергея в моем сознании на целую голову выше всех остальных смертных. Однако скоро у меня началось разочарование. Чем ближе становилось наше знакомство, тем больше я убеждался, что Сергей, в сущности, ничего толком не знает, что в своих мыслях и суждениях он плавает по поверхности, что на словах он может все решить и весь мир перекроить, на деле же он пятится назад пред самой маленькой преградой. С горечью я говорил как-то Олигеру:

— Я думал, что Сергей сильный и твердый человек, а на деле — предо мной самый настоящий современный Ру-дин. Человек-нуль, пред которым должна стоять единица.

Сестра Сергея, Наташа, была человеком иного склада. Ей было года двадцать два, она училась на высших курсах в Петербурге и несколько любила щеголять своей современностью и своими связями с «нелегальщиной». Наташа не была красива, но она производила очень приятное впечатление, и в характере ее было что-то «материнское».

Она обо всех заботилась, всем готова была помочь, и только благодаря ей довольно беспорядочное хозяйство этого «студенческого семейства» кое-как сводило концы с концами. В противоположность брату Наташа была глубокая натура: если что знала, то знала хорошо, и сильно тяготела к марксистским взглядам, хотя и не состояла активным членом тогдашних социал-демократических организаций. Впрочем, услуги им постоянно оказывала. Сергей же от марксизма был далек и дальше чисто студенческого движения не шел.

Третий член этого холостого «семейства», Парочка, была в то время гимназисткой пятого класса, бегала с тоненькой косичкой, похожей на мышиный хвост, и состояла у Сергея и Наташи на посылках: ставила самовар, колола дрова, таскала колбасу из лавочки...

Королевы сдавали часть своего дома пожилой болезненной даме Санниковой, которая жила с своей дочерью Татьяной, милостивой блондинкой лет двадцати. Я встретился с Татьяной минувшим летом в поезде по пути от Омска до Москвы и теперь возобновил с ней знакомство. Санниковы и Королевы жили дружно и составляли как бы одну общую семейную коммуны. В этой коммуне всегда было весело и шумно, здесь всегда можно было встретить много задорной молодежи, в особенности же много высланных студентов. Дверь дома Королевых то и дело хлопала. На столе постоянно шумел самовар. Около стола шли горячие споры, слышался смех, раздавалось пение. Пели песни русские, народные, пели песни революционные: «Марсельезу», «Красное знамя», «Смело, товарищи, в ногу...» Здесь узнавались все городские новости, и здесь же обсуждались все текущие события русской и международной жизни.

Мне нравилось бывать у Королевых, и очень скоро я стал завсегдатаем их дома. До того я жил несколько изолированно, в одиночку, общаясь лишь с отдельными сверстниками — с Пичужкой, с Олигером, с Марковичем, да и то не одновременно. В каждый данный момент у меня бывал обычно только один друг. Своей «компанией» у меня никогда не было. Это имело свои плюсы и свои минусы. Но сейчас я вдруг почувствовал, что мне страшно надоела моя отшельническая келья и что мне страшно хочется людей, шума, суеты, веселья. Всего этого у Королевых было более чем достаточно. И я переживал какое-то

до тех пор не испытанное мной блаженство. Я познакомил Олигера с моими новыми друзьями, и он тоже стал бывать у них. Вскоре у Олигера появилась совсем особая причина для частого посещения дома Королевых: у него завязался роман с Татьяной Санниковой, который развивался галопом и в дальнейшем имел самые серьезные последствия. Я пробовал ввести в дом Королевых и Марковича, но из моей попытки ничего не вышло: Маркович в это время переживал тоже «роман» с одной гимназисткой, и предмет его воздыханий был связан с совсем другой компанией. Мое семнадцатилетнее сердце было тогда еще совершенно свободно, и я не упускал случая подтрунить над моими влюбленными товарищами. Когда однажды Маркович, просидев у Королевых, точно на иголках, четверть часа, встал и начал прощаться, ссылаясь на необходимость поскорее вернуться домой к больной матери, я громким голосом, во всеуслышание, воскликнул:

— Слушайте! Слушайте! Экспромт!

Ах, погиб толстовец милый!  
Вот судьбина злая:  
Мрак очей его унылый  
Приковала тайной силой  
Лента голубая!

Раздался смех, послышались аплодисменты. Маркович покраснел, как рак, бросил на меня уничтожающий взгляд и быстро вышел. Он долго потом не мог мне забыть этой шутки.

Приятнее всего у Королевых бывало за вечерним чаем. Я как сейчас вспоминаю эту картину. Парочка только что поставила на стол кипящий самовар. На тарелках разложены хлеб, колбаса, масло, сыр, какие-либо домашние соленья и печенья. Под лампой-молнией, свисающей с потолка, собралось человек семь-восемь. Наташа разливает чай, Сергей сидит на «председательском месте» и, задорно потряхивая своими кудрями, заводит разговор... О чем?.. О самых разнообразных предметах. Об англо-бурской войне, о назначении нового министра народного просвещения, о студенческой забастовке в Казани, о новом молодом писателе, выступающем под оригинальным псевдонимом Максим Горький.

Как раз около того времени был только что опублико-

ван «Фома Гордеев». Мы читали за столом у Королевых отрывки из этого романа, обсуждали его, горячо спорили.

— Не нравится мне «Гордеев», — подводя окончательный итог, как-то заявил Сергей. — О, конечно, сильно написано! Этого отрицать нельзя... Но уж очень грубо, цинично... Точно кулаком в морду бьет. Как хотите, предпочитаю Чехова. То ли дело «Три сестры»! Вот это — да! Настоящая литература — от Тургенева и Достоевского.

Несмотря на свои двадцать пять лет, Сергей уже имел «изломанную душу». Наташа осторожно возражала брату. Баранов — ссыльный московский студент, часто бывавший у Королевых и рядившийся под современного Печорина, — решил притти на выручку Сергею. Он стал доказывать, что жизнь есть душный склеп, что в ней нет и не может быть радости, что люди по самой природе своей являются порождением ехидны и что все великие умы были пессимистами. В заключение Баранов торжественно провозгласил:

Философ Шопенгауэр сказал: чем больше я узнаю людей, тем больше я начинаю любить собак. Вот она, истина!

Тут Баранов многозначительно поднял указательный палец к потолку. Меня это страшно взорвало.

— Вы рассуждаете, как могильщики, — сразу загорячился я. — Конечно, в жизни много зла, но с ним надо бороться. Что делают три сестры? Они все время мечтают о Москве, но у них нехватает энергии даже на то, чтобы купить себе железнодорожный билет до Москвы. Гнилые люди! И Достоевский — гнилой писатель. Великий талант, но болезненный и гнилой. Не люблю его! Прочтешь его роман, и на белый свет смотреть тошно. А Горький мне нравится. Молодой, буйный, неудержимый. Прочитаешь его — и драться хочется. Так и следует.

— Вам бы только драться! — недовольно отозвался Сергей. — В жизни есть большие ценности — культура, наука, искусство, литература... А вы о драке!

— А как же иначе? — волновался я. — В жизни большая теснота. Если куда-либо стремишься, если хочешь что-нибудь сделать, непременно наступишь кому-нибудь на ногу... Что же, по-вашему, из боязни наступить не надо ничего делать?

Тут вмешалась Наташа и примирительно заявила:

— Мне нравится «Фома Гордеев», но я с удовольстви-

ем читаю и «Три сестры». Разве нельзя сочетать и то и другое?

— Нет, нельзя! — круто отрезал я. — Помните, что говорится в Апокалипсисе? Так как ты не холоден и не горяч, а только тепел, то не будет тебе спасенья. Хорошие слова.

— Ах вы, Ваничка-петушок! — ласково, как старшая сестра, воскликнула Наташа и затем ловко перевела разговор на другую тему.

Эта кличка «Ваничка-петушок», с легкой руки Наташи, так плотно прилипла ко мне, что потом в нашем кружке меня иначе не звали.

В доме Королевых часто бывали две гимназистки последнего класса — Муся Лещинская и Тася Метелина. Муся была высокая смуглая полька с красивой фигурой и прекрасным голосом. Она мало читала и вообще не относилась к категории развитых, но зато хорошо пела и хорошо играла на рояле. Тася, наоборот, была маленькая, несколько пухлая сибирячка, которая глотала книги, как конфетки, и глубоко болела разными философскими проблемами. Она любила разговаривать о смысле жизни, о праве на счастье, о моральных ценностях и тому подобных высоких материях. Когда мы встречались за вечерним чаем у Королевых, Тася непременно подымала какой-нибудь серьезный вопрос и всегда просила моего разъяснения, ибо почему-то питала ко мне большое доверие. Помню, однажды Тася заговорила о том, что личное счастье и общественная польза несовместимы. Она поэтому утверждала, что личное счастье безнравственно и что от него надо отказаться вообще, раз и навсегда. Сергей и присутствовавший при разговоре Баранов решительно возражали. Они даже делали особое ударение на личном счастье и апеллировали при этом к «естественным правам человека».

— А каково ваше мнение, Ваня? — обратилась Тася ко мне.

— Каково мое мнение? — переспросил я.

И затем, скользнув лукавым взглядом по Тасе, я продекламировал:

Schlage die Trommel und furchte dich nicht,  
Und kusse die Marketenderln!  
Das Ist die gauze Wissenschaft,  
Das Ist der Bucher tiefster Sinn!



Trommle die Leute aus dem Schlaf,  
Trommle Reveille mit Jugendkraft,  
Marschiere trommelnd immer voran,  
Das ist die ganze Wissenschaft!

Das ist die Hegelsche Philosophie,  
Das ist der Bücher tiefster Sinn!  
Ich hab sie begriffen, weil ich gescheit,  
Weil ich ein guter Tambour bin<sup>1</sup>.

— Вот что я думаю по этому поводу! — прибавил я и тут же продекламировал русский перевод этого знаменитого гейневского стихотворения.

Тася, однако, не была удовлетворена.

— Ну, а если вам все-таки пришлось бы выбирать между личным счастьем и общественной пользой, что вы выбрали бы?

Я на мгновение задумался, желая быть искренним с самим собой, и затем твердо ответил:

— В таком случае я выбрал бы общественную пользу.

— Ну, вот видите, вы со мной! Вы со мной, а не с этими эпикурейцами! — удовлетворенно воскликнула Тася, делая презрительный жест в сторону Сергея и Баранова.

Как-то придя вечером к Королевым, я застал Сергея в состоянии большой ажитации. Он был чуть-чуть выпивши, ходил энергичными шагами по комнате, ерошил свои пышные кудри и громко напевал:

Мертвый в гробе мирно спи,  
Жизнью пользуйся живущий!

---

<sup>1</sup> Стучи в барабан и не бойся,  
Целуй маркитантку под стук,  
Вся мудрость житейская в этом,  
Весь смысл глубочайших наук!  
Буди барабаном уснувших,  
Тревогу без устали бей,  
Вперед и вперед подвигайся,  
В том тайна премудрости всей!  
И Гегель, и книжная мудрость —  
Все в этой доктрине одной!  
Я понял ее, потому что  
Я сам барабанщик лихой!

*Перевод П. Вейнберга*

Кругом сидели, пили чай, курили, читали, разговаривали и вообще занимались самыми разнообразными делами члены домашней коммуны плюс еще человек шесть-семь гостей, в том числе Олигер, Баранов, Муся, Тася и один веселый томский студент по прозвищу «Пальчик». Вдруг Сергей внезапно остановился и воскликнул:

— Все мы закисло! Давайте как-нибудь встряхнемся! Да так, чтоб табаком в нос!

И затем Сергей вдруг неожиданно хлопнул себя рукой по лбу, точно его внезапно что-то осенило:

— Как же я это раньше не догадался? Поедемте в Захламино!

Захламино, как я уже упоминал, была подгородная деревня, верстах в восьми от Омска, куда подвыпившие купчики любили ездить на тройках для окончания кутежа и где они «гуляли» с местными красавицами. Репутация у Захламино была сомнительная, и предложение Сергея в первый момент было встречено недоуменным молчанием. Но это продолжалось только мгновение. Потом веселый Пальчик закричал:

— Поедем! Поедем!

Его поддержали Баранов и Олигер. Таня и Муся с загоревшимися глазами также дали согласие. Остальным было уже неловко возражать. Я охотно присоединился к инициаторам, ибо давно слышал о Захламино и был рад случаю посмотреть на нее поближе. Сказано — сделано. Парочку тут же отправили к извозчикам, и полчаса спустя вся наша компания, за исключением Парочки, оставленной дома за малолетством, уже рассаживалась в большой, широкой кошеве, украшенной коврами и меховым одеялом.

Была морозная мартовская ночь. На небе сияла полная луна, заливавшая волшебноголубым светом занесенные снегом поля и опущенные серебром деревья загородной роши. Воздух был чист и прозрачен. Подковы лошадей звенели, ударяясь о сбитый снег укатанной дороги. Под полозьями раздавался сухой, бодрящий хруст. Из рта лошадей вырывались белые клубы пара. Привычный к своему делу кучер ловко подергивал вожжами с бубенцами, и в свежем морозном воздухе, слегка щипавшем нам щеки, дрожал красивый, мелодичный звон. Я сидел рядом с Мусей, и в ее черных глазах бегали искры лунного света. На душе было как-то весело, бодро, молодо, радостно. Хотелось ехать так без конца...

Кучер, который знал всех захламинских «хозяев» наперед, подвез нас к большой деревенской избе на два фасада и громко постучал в ворота. Вышедший на стук «хозяин» — вертлявый, одноглазый мужик без бороды, но с длинными казацкими усами, — был несколько смущен и разочарован, увидев студенческие фуражки и гимназические шинели, да еще в сопровождении молодых девушек. Он привык видеть у себя публику совсем иного сорта. Тем не менее одноглазое лихо провело нас в горницу, вздуло огонек и спросило:

— Что прикажете?

Наташа, привыкшая к хозяйничанью, сразу же ответила:

— Самовар и хлеб с маслом... Да еще молока и, если есть, мяса какого-нибудь.

«Хозяин» смерил Наташу презрительным взглядом, но сквозь зубы процедил:

— Слушаюсь.

И затем, оглянувшись на Сергея, продолжал:

— Водочки? Пивца? Сколько прикажете?

Сергей с видом человека, привыкшего к пьянству и кутежам, быстро оглядел нашу компанию и небрежно бросил.

— Давайте бутылку водки.

— Одну-с? — с изумлением, почти с ужасом спросил «хозяин».

Сергей смутился и хотел что-то прибавить, но Наташа поспешила его прервать:

— Да и одной-то много! У нас пьющих мало. Хватит полбутылки!

Королев, однако, был раздражен этим вмешательством сестры и стремительно реагировал:

— Нет, целую бутылку да пивца полдюжины!

И, чтобы не дать возможности Наташе еще что-нибудь сделать, Сергей, круто повернув «хозяина» за плечи, поскорее выпроводил его из горницы.

Когда большой деревянный стол, стоявший в углу под иконами, покрылся разными яствами и снедью, Наташа по привычке села у самовара и спросила:

— Кому наливать чаю?

— Мне, — откликнулся я.

— Брось, как не стыдно! — вдруг ворвался в наш разговор Сергей. — Ваничка, выпей с нами по рюмашечке!

— Не выпью! — твердо отрезал я.

— Как не выпьешь? — продолжал уговаривать Сергей. — К чорту бабье пойло!

И он размашисто отодвинул стакан чаю, который тем временем налила мне Наташа. Меня разозлило это самоуправство, и я с некоторой рисовкой ехидно ответил, придвигая к себе опять стакан чаю:

— Алкоголь внешний нужен тем, у кого нет алкоголя внутреннего. А с меня алкоголя внутреннего хватает.

— Ты не остроумничай, а пей, — вмешался Олигер, державший в руках рюмку водки, — все должны быть веселы!

— Успокойся, я и без вашей водки буду весел, может быть, веселее вас всех, — откликнулся я.

— Докажи! — вызывающе бросил Олигер.

— И докажу! — в том же тоне отпарировал я.

В меня сразу вселился бес. Я насмешливо оглянул всю нашу компанию и, остановившись на нежно сидевших рядом Олигере с Таней, сказал:

— Дорогие девочки и дорогие мальчики! Позвольте повеселить вас трезвому алкоголику...

— Что это вы за чушь городите, Ваня? — с возмущением воскликнула благоразумная Тася. — Разве алкоголик может быть трезвым?

Я приподнялся и, сделав насмешливый реверанс по адресу Таси, продолжал:

— Представьте, Тася, что в богатой коллекции человеческой фауны имеется и такая разновидность. Если вы ее до сих пор не встречали, так посмотрите на меня... Да-с, так позвольте вас позабавить! Шутка номер один. Николай, дай твою руку!

Я взял ладонь Олигера, как это делают хироманты, и, посмотрев на ее линии, сказал:

— Боги велели тебе сказать: «Никогда не закладывай свое сердце женщине безвозвратно, — не то погибнешь».

Таня страшно покраснела и с раздражением ответила:

— Коля не нуждается в ваших советах!

Олигер неловко ерзал на месте, но старался делать вид, что ему страшно весело.

— Шутка номер два, — продолжал я, переводя взгляд на Баранова, который, как всем нам было известно, безуспешно старался завоевать сердце Муси:— великий Гейне прислал мне для вас специальное послание, которое я по-

зволил себе перевести на русский язык в следующих выражениях:

Когда тебя женщина бросит, — не плачь!  
В другую влюбись поскорее!  
Но лучше котомку на плечи возьми  
И в путь отправляйся смелее!

Лазурное озеро в темном лесу  
Тебе повстречается вскоре.  
Там выплачешь ты все страданья свои  
И все свое мелкое горе.

Когда подойдешь ты к высоким горам,  
Смелее взбирайся на кручи!  
Вверху над тобою там будут орлы,  
Внизу же угрюмые тучи.

Ты вновь возродишься, могуч, как орел,  
Смирится на сердце тревога,  
И гордо почувствуешь, как ты велик  
И как потерял ты немного.

— Какой вы злой! — пробормотала смутившаяся Муся, но в глазах ее сверкнула лукавая искра.

Вмешалась Наташа и, слегка дернув меня за рукав, прошептала:

— Бросьте, Ваня, зачем портить нашу вечеринку?

Потом, приняв веселый вид, она громко сказала:

— Хватит поэзии, давайте споем! Муся, голубчик, спой нам что-нибудь!

Муся, как это всегда бывает с певицами, стала отнекиваться и говорить, что она сегодня не в голосе, но, в конце концов, уступила общим настояниям. Она села посередине горницы на табуретку, положила ногу на ногу и, охватив колени руками, красивым сопрано запела:

Однозвучно звенит колокольчик,  
И дорога пылится слегка,  
И далеко по чистому полю  
Разливается песнь ямщика.

Муся пела очень хорошо, с большим чувством, покачиваясь всем корпусом в такт звукам и устремив вдаль печально затуманенные глаза. Мы все ей подтягивали. Когда песня кончилась, раздались аплодисменты. Хлопали не только мы, — у входа в горницу хлопали также «хозяин» и выглядывавшие из-за его плеча парень и молодая девушка, оказавшиеся его детьми. Муся вдруг соскочила с

табуретки, стукнула каблуками о пол и, подняв вверх одну руку, запела «Калинку». Переход от грусти к веселью был так резок и неожидан, что в первый момент мы все как-то оторопели. Но это быстро прошло. Муся приплясывала и пела, а вся наша компания, «хозяин», его дети заливчиво подпевали:

Ах, калинка, калинка, калинка моя!  
В саду ягодка-малинка, малинка моя!

Потом пошли танцевать. Сдвинули в сторону стол, табуретки, лавки, и на образовавшемся небольшом пространстве затопали ноги. Освоившиеся с нами хозяева вошли в горницу и присоединились к общему веселью. Танцевали вальс, мазурку, падэспань. Сергей с дочкой «хозяина» задорно сплясали русскую. Было шумно, жарко, весело, угарно. Хотелось пить. «Хозяин» принес вторую бутылку водки, около которой возились Королев, Баранов и Пальчик. Олигер с Таней сидели в уголке и нежно о чем-то ворковали. Совсем подвыпивший Сергей вздумал вдруг объясняться в любви Мусе, — девушка то краснела, то бледнела, не зная, что делать. Веселый Пальчик подсел к Тасе и стал рассказывать ей о своей жизни в Томске. Мы с Наташей сидели у самовара, и, хотя за весь вечер я не выпил ни капли алкоголя, общая атмосфера как-то пьянила меня, и мой разговор с Наташей был полон особой, совсем необычной задушевности. Наташа рассказывала мне о своем детстве, о недавней смерти матери, которую она очень любила; я же поведал ей о том внутреннем разладе, который был у меня в семье, о моих спорах и столкновениях с матерью.

Возвращались домой мы глубокой ночью. Луна уже склонялась к горизонту, и от деревьев по снегу побежали длинные причудливые тени. Стало еще холоднее, на усах и бровях появились белые колючие пушинки. Все были уставшие от водки, от пляски, от только что пережитых впечатлений. Говорили мало и лениво. Олигер слегка клевал носом, прижавшись к Тане. Больше всех подвыпивший Королев громко похрапывал, склонившись головой на грудь к Пальчику. Кучер залиvisto посвистывал и щелкал кнутом. Лошади быстро неслись, и бубенцы мелодично разливались малиновой трелью. Я сидел, забившись в угол кошевы, и думал. Думал о том, что жизнь широка и в ней

есть много прекрасного, что дружба, любовь, поэзия очень украшают жизнь, что, пожалуй, напрасно я так долго замыкался в своих исканиях и по-спартански сторонился от прелестей жизни, которыми так широко пользуются другие...

## 20. *ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ*

Все эти мысли и чувства, навеянные лунной ночью и вечеринкой в Захламино, разлетелись, как дым, буквально на следующий же день.

Придя назавтра в гимназию, я узнал потрясающие новости: накануне поздно вечером жандармы арестовали четырех учеников шестого класса, и теперь вся наша гимназия гудела толками и разговорами об этом необыкновенном событии. Всех, разумеется, волновал вопрос: за что? почему? Однако на первых порах никто не мог сказать ничего определенного. Прошло несколько дней, прежде чем завеса стала несколько приподыматься над таинственным происшествием, а еще через неделю ясна стала и вся картина со всеми своими деталями. Картина эта была гнусна и возмутительна до последней степени.

Идя по стопам нашей традиции, шестиклассники, как и мы два года тому назад, образовали небольшой кружок, в котором они читали и обсуждали Писарева, Добролюбова и других корифеев передовой русской общественности. В кружке было не больше семи-восьми человек, собирался он обычно раз в неделю, причем лидером кружка был способный пятнадцатилетний мальчик Амосов, сын омского городского врача. Среди членов кружка имелся некий Кандауров, отец которого был священником в одном из подгородных сел. Кандауров был нервный, эмоциональный мальчик, который искал «правды жизни» и отличался несомненной религиозностью. Как он попал в кружок, не знаю, но результат от этого получился трагический. Наступила страстная неделя, и все гимназисты, как водится, говели. На исповеди наш новый священник, отец Дионисий, так не понравившийся мне с первого своего появления в Омске, стал спрашивать Кандаурова об его грехах. Набожный Кандауров решил открыться своему духовнику и стал рассказывать о своих исканиях и сомнениях. Отец Дионисий сразу нащупал здесь для себя хорошую поживу. Ловко выпрашивая наивного и ничего не

подозревавшего мальчика, священник постепенно вытянул из него все сведения о кружке, об его составе, об его собраниях, чтениях и обсуждениях. При этом, желая побольше развязать язык Кандаурова, отец Дионисий сам прикинулся человеком, не чуждым «проклятых вопросов» и симпатизирующим исканиям подрастающей молодежи. Потом он отпустил грехи Кандаурову и на прощанье крепко и дружески пожал ему руку.

Едва, однако, отец Дионисий покончил со своими исповедническими обязанностями, как сразу же побежал к начальнику жандармского управления и сообщил ему всю полученную от Кандаурова информацию. Это место теперь занимал уже не старый и обленившийся Розов, а бравый, громогласный полковник Петряев, который, грозя невидимому врагу огромным волосатым кулаком, любил повторять:

— Во вверенном мне округе крамолы не будет! Не потерплю такого позора!

Петряев сразу же «дал ход делу преступного кружка гимназистов», и в результате четверо учеников во главе с Амосовым были арестованы. Их продержали в тюрьме недели две и затем выпустили на поруки родителей. Однако в гимназии они уже не могли больше оставаться и вскоре после того куда-то исчезли из Омска.

Вся эта история, подробности которой очень скоро стали широко известны, вызвала в городе сильное волнение. Гимназисты были глубоко возбуждены и всеми доступными им способами выражали свое отношение к герою этого возмутительного происшествия. Ему сразу дали кличку «шпик», и темной ночью какие-то неизвестные стали бросать камни в окна его дома. Особенно потрясены были те немногие из гимназистов, которые еще сохраняли религиозные чувства. Помню, как один семиклассник, говоря со мной на эту тему, почти плакал и все время восклицал:

— Ну, как же это возможно?.. Исповедь!.. Душа открывается перед богом... И вдруг — жандармы!.. Как же это возможно?.. Если бог терпит такие вещи, значит он не бог или его совсем нет!

Я не имел оснований выступать адвокатом бога и посоветовал гимназисту прочитать байроновского «Каина».

Шпионство отца Дионисия сразу накалило мои настроения. Всякое примиренчество с жизнью, с гимназией, с ду-



ховенством, с царским режимом стало невозможным. Сладкие мысли о красоте, любви, веселии, беспечальном существовании рассеялись, как дым. Я вновь вернулся к миру реальностей, временно заслоненных приятностью общения с компанией Королевых. Я опять был полон гнева и ненависти к гнусным российским порядкам и опять вернулся к проклятому, не разрешенному для меня вопросу: что же дальше?

Как-то в эти дни я возвращался с Наташей с катка на Оми, где мы иногда вместе бегали на коньках, и под свежим впечатлением от поступка отца Дионисия я стал развивать пред ней мою теорию очищения мира огнем. Наташа внимательно слушала меня, слегка склонив набок, голову. Мне не видно было ее лица, и я не знал, как она реагирует на мои рассуждения. Вдруг Наташа круто остановилась, так что снег даже хрустнул у нее под ногами, и каким-то особенным голосом спросила:

— И вы серьезно верите в свою теорию, Ваня?

Я на мгновение замаялся и затем ответил:

— Мне эта теория кажется красивой и могучей....

И потом я не вижу других путей...

Мы прошли по улице еще несколько шагов, и я несколько нерешительно прибавил:

— Я с своими теориями похож на язычника... Знаете, язычник часто бьет и ломает своего божка, если он ему не приносит счастья... Я тоже легко низвергаю свои теории, если убеждаюсь, что они плохи.

— Так вот, Ваня, — горячо ответила Наташа, — я советую вам как можно скорее низвергнуть эту вашу теорию. Она никуда не годится...

— Почему не годится? — возразил я.

— Вы читали политическую экономию? — вопросом на вопрос ответила Наташа.

— Нет, не читал, — сказал я.

— Это и чувствуется, — заметила Наташа и прибавила: — Вам надо непременно познакомиться с политической экономией.

Разговор с Наташей запал мне в душу. Я стал искать людей, могущих мне помочь в ознакомлении с этой таинственной «политической экономией» прежде всего среди высланных студентов. Здесь меня постигло большое разочарование.

Революционное студенчество того периода представля-

ло собой пестрый и довольно сумбурный конгломерат людей разных социальных групп, разных настроений, разных политических симпатий. Конечно, в его среде встречались уже сложившиеся представители того или иного воззрения (в частности социал-демократы), но их было немного. Среди высланных студентов в Омске я ни одного такого не мог найти. У подавляющего же большинства тогдашней молодежи не было никакого цельного мирозерцания, зато было много духовной путаницы и неразберихи. Часто встречались «тяготеющие» к социал-демократам или социал-революционерам, а также радикальствующие одиночки, сильно склоняющиеся к анархизму. Всех студентов объединяло одно чувство протеста против царского самодержавия. Все они готовы были созывать сходки, устраивать забастовки, ходить на демонстрации, но лишь сравнительно редкие из них могли ясно и точно ответить на мучивший меня вопрос: что же дальше?

Неудивительно при таких условиях, что, хотя все высланные студенты очень любили к случаю и не к случаю поминать политическую экономию, почти никто из них не имел сколько-нибудь ясного и продуманного представления о ней. Неудивительно также, что ни Королев, ни Баранов, ни Пальчик, к которым я обращался, не смогли мне особенно облегчить изучение той особой науки, которая, как тогда мне казалось, являлась ключом к познанию «добра и зла» на земле. Наташа была лучше других подкована в интересовавшей меня области, и к ней я чаще всего обращался за помощью. Однако и она не могла меня полностью удовлетворить.

Как бы то ни было, но занятия мои начались. Первой книжкой, которую мне удалось достать, была «Политическая экономия» Шарля Жида. Я долго и усердно сидел над ней, стараясь проникнуть в тайны буржуазного мышления ее автора, но не испытал при этом никакого энтузиазма. Конечно, я не в состоянии был тогда критически подойти к построениям Жида, но что-то мне в его книжке не нравилось, какой-то инстинкт мне говорил, что это не то, что мне нужно. Чтение Жида имело, однако, один положительный результат: я сразу почувствовал, что в жизни имеется одна огромной важности область — экономика, которой я до сих пор совершенно пренебрегал, увлекаясь различными гуманитарными теориями и проблемами.

Вскоре после того Тася притащила мне литографиро-

ванный «Курс русской истории» Ключевского. Этот замечательный труд произвел на меня громадное впечатление — не только необыкновенной ясностью и блеском своего изложения, но также сугубым подчеркиванием роли экономических моментов в развитии Российского государства. «Курс» Ключевского еще более утвердил меня в сознании, что экономика — вещь чрезвычайной важности, что ее надо изучать, что из нее надо уметь делать правильные выводы. Но как этого добиться? Я похож был в то время на человека, который стоит перед сундуком, где спрятаны величайшие сокровища. Он хочет открыть его, но не знает, где лежит ключ, и в поисках за ключом беспорядочно шарит руками по всем углам и закоулкам: авось, где-нибудь найдется.

Одна случайность оказала мне большую пользу. Я упоминал уже выше о новом учителе истории в женской гимназии Токмакове, который примыкал к течению легальных марксистов. Та же Тася как-то познакомила меня с ним, отрекомендовав, как «самого серьезного» из гимназистов. Мы быстро сошлись с Токмаковым, и я довольно часто стал проводить у него вечера за обсуждением социальных вопросов. Однажды Токмаков дал мне для прочтения модную в то время в радикальных кругах книгу Альберта Ланге «Рабочий вопрос». Она мне очень понравилась и как-то невольно слилась в моем сознании с памятным романом Шпильгагена «Один в поле не воин». Ланге разъяснил много непонятных вещей, а дополнительные комментарии Токмакова еще более убедили меня, что в поисках ключей к политической экономии я сделал шаг вперед. Однако я чувствовал, что предо мной лежит еще длинная дорога.

— Вы были правы, Наташа: политическую экономию надо знать!—горячо восклицал я как-то за чайным столом у Королевых, месяца два спустя после моего первого разговора с Наташей на эту тему.

Наташа с довольным видом кивала головой, а я продолжал:

— Политическая экономия — самая живая, самая нужная наука. Она выросла из самой жизни. Она переполнена кровью социальных вопросов.

— Что это значит: «переполнена кровью социальных вопросов»? — с легким поддразниванием спросила Наташа. — Очень уж вы любите, Ваня, вычурно выражаться. Говорите попроще.

— Слушаюсь! — в тон Наташе откликнулся я. — Не ругайте меня очень за вычурность, — это поэзия меня портит.

— Повинную голову и меч не сечет, — засмеялась Наташа. — К каким же выводам вы пришли, познакомившись с политической экономией?

— Отвечу вам, как Сократ: я знаю только то, что ничего не знаю, — отпарировал я и затем уже более серьезным тоном прибавил: — В последнее время я много думал над тем, что такое нравственность.

— Что же это такое? — заинтересовалась Наташа.

— Видите ли, Наташа, мне кажется, что нравственно все то, что содействует делу прогресса, безнравственно все то, что этому мешает.

Наташа подумала немного, потом тряхнула головой и сказала:

— Может быть, вы и правы... Только... Только, что такое прогресс?

Теперь настала моя очередь задуматься. Наташин вопрос ударил, как стрела, и все мое построение сразу заколебалось. Я не в состоянии был дать ясного ответа на вопрос: что такое прогресс? И потому мне стало как-то не по себе.

— Знаете, Наташа, — заговорил я вдруг дружески, задушевным тоном, как тогда, в Захламино, — я не знаю, что со мной происходит. То я чувствую в себе громадные силы, то я кажусь себе самой ничтожной мухой... То бешеный прилив веры в себя, то безнадежная тоска и отчаяние... Отчего бы это?.. Надоел мне проклятый, мертвый Омск! Хочется настоящей, кипучей жизни!..

Наташа слегка коснулась моей руки и тоном старшей, выдавшей виды сестры сказала:

— Скоро у вас, Ваня, будет кипучая жизнь. Все это пройдет.

## 21. О К О Н Ч А Н И Е      Г И М Н А З И И

И вот наконец пришел этот долгожданный день, который, казалось, никогда не настанет: я кончил гимназию.

Но далось это мне не даром. Предварительно пришлось пройти через «врата адавы»: волнения и муки выпускных экзаменов. Я шел им навстречу с тревогой и опасениями. На всем протяжении гимназического курса я учился хоро-

шо. Правда, я почти никогда не был первым учеником, — для этого в те времена требовалось такое количество зубрежки, какого мне нехватало, но мое имя обычно красовалось в числе первой пятерки сверху. Нелюбовь к зубрежке я компенсировал общим развитием, изворотливостью мысли, хорошей памятью, литературными данными и в результате более или менее успешно плыл по волнам гимназической науки. Однако теперь, накануне выпускных экзаменов, подводя итог своей девятилетней учебе, я слишком хорошо ощущал почти полное отсутствие у меня тех «курсовых знаний», которые были обязательны для каждого оканчивающего среднее учебное заведение. И это меня несколько смущало и беспокоило.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — спросил меня перед первым экзаменом Михаил Маркович.

— Как чувствую? — откликнулся я. — Чувствую, как конь на скачках, которому предстоит перепрыгнуть через десяток высоких барьеров.

— Но ты все-таки веришь в успех? — продолжал допрашивать меня Михаил.

— Что значит «веришь»? — возразил я. — И что такое вообще вера? В катехизисе Филарета есть такое определение: «Вера есть вещей обличение невидимых, то есть уверенность в невидимом как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом как бы в настоящем». Не плохое определение! В этом смысле я, пожалуй, верю, но рассчитываю главным образом на свою изворотливость да еще на свою «кривую», которая до сих пор меня хорошо вывозила. Подготовлен же к испытаниям я дьявольски плохо.

Затем начались экзамены. Они продолжались целый месяц. Мы все, выпускники, в течение этого месяца не жили, а горели: плохо спали, плохо ели, напропалую зубрили и не выходили из состояния перманентного волнения. Мои надежды на «кривую» не были обмануты. Помогала, конечно, и собственная ловкость. Экзамены сразу пошли хорошо. Начались они сочинением по словесности на тему «Почему русская литература с эпохи Петра Великого начала утрачивать церковный характер?» Весь наш класс справился с задачей неплохо, так что Петров даже напился от радости и в пьяном виде говорил, что за работу поставил мне пять с плюсом, а сверх того, еще расцелует. По алгебре и геометрии, на письменном экзамене, я тоже получил по пятерке. Страшила меня устная математика, но

тут уж «кривая» помогла: вытащил легкие билеты. В результате и здесь получилась пятерка. В общем дела шли хорошо, и, как я писал тогда Пичужке, «кроткий лик золотой медали начинает вырисовываться предо мной в синеватой дымке». Да, дела шли хорошо, так хорошо, что у меня появилось даже головокружение от успехов...

В тот год весна выдалась поздняя и холодная. До конца апреля лед на Иртыше лежал толстым и крепким слоем. Ледоход начался лишь в первых числах мая и развивался медленно и неровно. Следующим после математики экзаменом была история. Готовился я к экзаменам обычно с кем-нибудь из приятелей, большей частью с Марковичем, — то у меня, то у него. В этот день я пришел к Марковичу, чтобы «подчитать» по истории. Мы сели за стол и разложили книги. Но мне как-то не сиделось. Я встал и подошел к окну комнаты, выходявшей прямо на Иртыш. Грандиозная картина сразу захватила меня. Широкая река была в буре и движении. Громадные льдины неслись по вспухшему от весеннего половодья мощному потоку. Льдины шли почти сплошной массой, наскакывая одна на другую, сталкиваясь и ломаясь, то образуя густые заторы, то открывая полосы чистой воды. Ветер свистел над вздувшейся рекой, на свободных пространствах ходили пенистые волны. Какое-то смутное, но неодолимо сильное чувство вдруг проснулось в моей душе, и, повернувшись к Михаилу, я неожиданно воскликнул:

— Мишка, бросай книги, поедем на лодке!

Михаил поднял от учебника лицо, полное изумления.

— Ты с ума сошел! — почти с ужасом воскликнул он.

Но в меня уже вселился мой бес, и я знал, что будет по-моему. Напрасно Михаил отговаривался необходимостью готовиться к экзамену, напрасно он указывал на безумие кататься на лодке в ледоход, — я стоял на своем, я уговаривал его, грозил, упрашивал, старался подействовать на его самолюбие — и, в конце концов, добился своего.

— Ну, черт с тобой, пойдем! — подвел итог Михаил.

Едва мы вышли из дому, как нас закружил холодный, пронзительный ветер. На берегу мы встретили пару лодочников, которые, узнав о нашем намерении, посмотрели на нас, как на лунатиков. Я, однако, настаивал, и лодочники,

пожав плечами, предоставили нам делать, что мы хотим. Мы сели в небольшую гребную лодку и тронулись в путь. Наше намерение состояло в том, чтобы, используя просветы и трещины между несущимися льдинами, переплыть на тот берег и затем вернуться назад. Мы рассчитывали, что на всю операцию потребуется два-три часа, и мы успеем к обеду, после которого займемся Иловой-ским. Ведь экзамен истории грозно висел над нашими головами!

Не тут-то было! Едва мы отплыли несколько саженей от берега, как нас затерло в сплошную полосу льда и быстро понесло по течению. Мы пробовали вырваться из этих холодных объятий. Мы раскачивали лодку, мы пытались растолкать льдины веслами и таким путем очистить для себя узенькую щель открытой воды, но все было напрасно. Тогда мы решились на отчаянный шаг: мы сами выскочили на большую льдину, напиравшую на нашу лодку с кормы, и вслед за тем на нее же вытащили наше угловое суденышко. Потом с напряжением всех сил, мы поволокли лодку через льдину к другому ее краю, где начиналась полоса чистой воды. Льдина под нашей тяжестью дрожала и колебалась, в одном месте она треснула как раз после того, как мы миновали опасное место, но все-таки наши усилия увенчались успехом: мы добрались до открытого пространства. Здесь, однако, нас ждали другие трудности. Ветер свистел в ушах, пенистые волны заливали лодку. Я с трудом выгребал против бури, Михаил то рулил, то отливал воду с кормы. Наконец мы пересекли чистую полосу. Дальше опять шло широкое ледяное поле, по тут оно было менее плотно, чем под крутояром, от которого мы отплыли. Льдины были мельче, прорывы между ними чаще, движение вперед легче. Однако ветер продолжал свирепствовать, и пенистые волны, насыщенные ледяными обломками, зловеще бились в низкие борты ладьи. Мы работали не покладая рук. Мокрые, разгоряченные, опьяненные опасностью и бешеным стремлением преодолеть ее, мы с напряжением всех сил боролись с разыгравшейся стихией. Я чувствовал необычайный подъем духа. Мне несколько не было страшно. Я внутренне был твердо уверен, что с нами ничего не случится. Но также твердо, всем существом я ощущал, что для преодоления опасности я должен напрячь все свои силы, всю свою энергию, всю свою волю. Я делал это, или, вернее, это делалось как-то само собой,

а душа одновременно переполнялась восторгом, упоением, энтузиазмом. Я с радостью подставлял свое лицо этому ветру, этим холодным брызгам, этим жгучим уколам мельчайших ледяных осколков. Я не мог сдержать своих чувств и нередко во весь голос кричал:

— Мишка! Валяй! Режь направо! Лупи налево! Крепче! Жми! Не сдавай!

Мои выкрики часто бывали совершенно бессмысленны, но в них находило свое выражение то радостное остверевение, которым переполнена была моя душа. И Михаил меня прекрасно понимал.

В обычное время переплыть Иртыш на лодке можно было в пятнадцать-двадцать минут. Теперь нам потребовалось целых три часа для того, чтобы добраться до противоположного берега. Когда, усталые и промокшие до костей, мы ступили, наконец, на землю, время обеда уже миновало. Мы были страшно голодны, но это нас не беспокоило. Нас не беспокоило также то, что для возвращения домой мы должны были опять пройти через все те опасности и испытания, которые мы только что оставили за собой. Нас беспокоило другое: завтра предстоял экзамен истории, и было ясно, что сегодня нам уже не удастся вкусить от великой премудрости Иловайского, — как же быть?

Но делать было нечего. Противоположный, левый, берег Иртыша был неприютен и пустынен. Чтобы немножко размяться и обогреться, мы с четверть часа побегали по его откосам и раза два подрались на кулачках. Потом мы решили, что времени терять нечего, и пустились в обратный путь. Опять перед нами были ветер, волны, быстро несущиеся, шумно сталкивающиеся льдины. Опять мы плыли, кричали, гребли, отливали воду, пробивались через ледяные преграды. И, наконец, после невероятных усилий, волнений и борьбы мы пристали к омскому берегу, но уже на пять верст ниже города.

День склонялся к вечеру. Мы бросили лодку и пошли домой пешком через Загородную рощу. Когда мы приблизились к дому Марковича, в окнах уже зажигались огни. Через заднюю дверь, чтобы не привлекать ничего внимания, мы пробрались в комнату Михаила и по секрету вызвали его сестру Леночку. Доброе лицо девочки искажилось почти ужасом, когда она увидела нас: мы были в грязи, в песке, и с нашей одежды на пол текли тонкие струйки воды.



— Где вы были? Что с вами случилось? — в сильнейшем волнении воскликнула Леночка.

— Пожалуйста, ни слова старшим! — угрожающе проговорил Михаил.

И когда Леночка поклялась честным словом, что она будет нема, как могила, мы рассказали ей о нашей авантюре. После того в доме поднялась таинственная возня. Леночка бегала к нам и от нас, таскала нам халаты и сухое белье, кормила нас ужином и пила крепким чаем. У Леночки было твердое убеждение, что крепкий чай есть лучшее средство для предохранения от болезней.

Когда я уходил домой, Михаил с горестным видом простонал:

— Ну, а как же Иловайский?.. Чувствую, что завтра провалюсь.

Но я был опьянен экзаменационными успехами и потому легкомысленно отмахнулся:

— Пустяки!.. Экзамены?.. Чепуха! Кривая вывезет!

На этот раз я оказался прав. На следующий день и я и Маркович, несмотря на полное отсутствие подготовки, прекрасно сдали испытание по истории.

Остальные экзамены тоже прошли вполне благополучно. Я больше всего боялся греческого языка. И действительно, попавшийся мне по билету перевод отрывка из Софокла представил для меня довольно серьезные лингвистические трудности. Тогда я прибег к испытанному средству: в течение двадцати минут, дававшихся каждому экзаменуемому на подготовку, я изложил в пятистопном ямбе примерное содержание отрывка (настолько-то я понимал текст) и в результате получил пятерку плюс похвалы по адресу моего «поэтического таланта».

И вот настал-таки этот незабываемый день: 1 июня 1901 года я окончил гимназию!

А еще через два дня были объявлены окончательные результаты испытаний. Все 22 ученика восьмого класса выдержали выпускные экзамены. Мне же и Усову были присуждены еще золотые медали. И не только медали! Сверх того, нам обоим дали по экземпляру «Путешествия на Восток» Николая II в бытность его наследником престола — три огромных роскошно изданных тома с подхалимским текстом и великолепными иллюстрациями. Этот подарок был так тяжел, что, возвращаясь с гимназического акта домой, я должен был нанять извозчика.



дающим нас успехам и победам. Все мы были полны настроения свободы, радости, трепетного ожидания чего-то интересного и замечательного, что должно случиться с каждым из нас. Мы словно ходили на цыпочках, жадно глядясь в туманящиеся очертания будущего.

А тут еще эта широкая, могучая река, вся горящая в лучах заходящего солнца, эти тихо плывущие мимо нас бескрайние степи, изредка пересеченные темными пятнами далеких лесов, это залитое огнем высокое небо, в котором уж начинают мерцать серебряные звезды, этот здоровый, бодрящий, слегка пьянящий воздух, напоенный речной влагой и соками сибирской земли. Положительно, мы чувствовали себя, как счастливые полубоги!..

Михаил, задумчиво сидевший на корме с рулевым веслом, посмотрел на меня и сказал:

— Подкламируй стихи!.. Так хорошо, что простым языком как-то неловко разговаривать.

— Да, да, — подхватили остальные, — почитай что-нибудь хорошее... Такое, чтоб за душу брало.

Я и сам был в поэтическом настроении. Поэтому л без всяких отговорок согласился.

— Что бы вам такое продекламировать? — спросил я. больше мысля вслух, чем действительно желая получить ответ.

— Прорекламируй что-нибудь свое, — подсказал Колчановский.

— Свое? — несколько нерешительно переспросил я.

Я не ломался. Мне просто казалось, что мои стихи будут слишком слабы и грубы пред лицом этой чудной вечерней природы. Но вся компания стала дружно настаивать именно на моем произведении, и я невольно сдался. Я решил продекламировать песню, которую написал всего лишь два дня назад, и слегка вздрагивающим от волнения голосом я начал:

К далекому солнцу! В открытое море  
Пусть пенятся волны кругом!  
Мы песню свободы споем на просторе,  
Работников песню споем!

Мы подняли знамя и выплыли смело  
Из мрака нужды и обид.  
Туда, где над бездной заря заалела.  
Наш путь бесприютный лежит!

Вот парус надулся, и берег проклятый  
В синеющей дымке исчез, —  
Теперь перед нами лишь бури раскаты,  
Да волны, да тучи небес.

К далекому солнцу! Клянись, о братья,  
Наш путь до конца совершить!  
Клянись страданья, борьбу, и проклятья,  
И голод, и холод сносить!

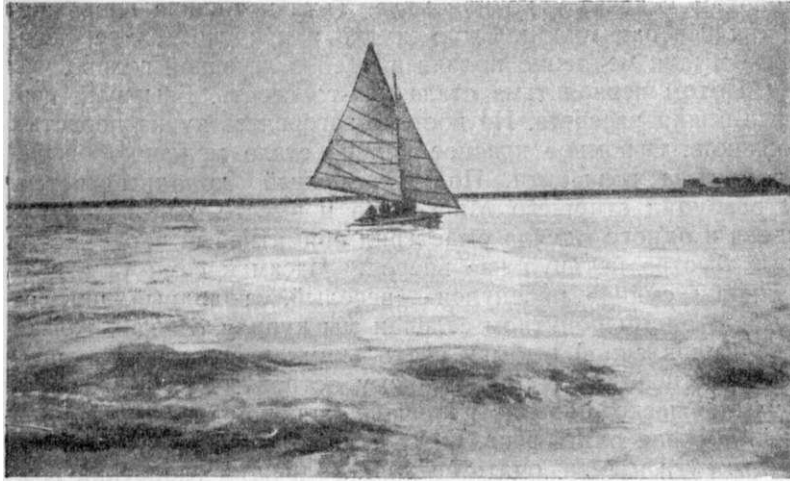
Клянись бороться с грозой непогоды,  
С туманом в полуночный час!  
Клянись, о братья. Мы — дети свободы!  
Мы — воины страждущих масс!

Чу! гром прокатился... Запенилось море...  
Ускорили тучи полет...  
Завыл ураган в необъятном просторе...  
То буря, то буря идет!

Смыкайтесь же, братья! Во мгле непогодной  
Смелей ударяйте веслом.  
Мы подняли знамя и с песней свободной  
К далекому солнцу плывем!

Должно быть, потому, что эта песня, говорившая о лодке, о свободе, о солнце, была слишком созвучна нашим настроениям и нашей обстановке, моя декламация имела большой успех. Мариновский, отличавшийся артистическими способностями, решил сразу же положить ее на музыку, и минут через двадцать вся наша компания уже хором пела мою песню на мотив, симпровизированный Мариновским. Выходило не очень стройно, но зато здорово, особенно в такт равномерным взмахам весел. Казалось, что наша лодка действительно плывет к далекому солнцу по широкой водной дороге, залитой пурпуром заката...

Когда спустилась ночь, мы пристали к небольшому пустынному острову и разбили походный лагерь. Развели костер, варили уху, жарили шашлык. Потом пили чай и пели песни — старые русские народные песни. Колчановский сплясал камаринского, Мариновский показал лезгинку. Было весело и подъемно. Потом, когда все немножко устали и успокоились, пошли тихие разговоры. Говорили о том, что было у всех на душе, — о своем будущем. Высказывали надежды, делились планами и намерениями. Оба брата Марковича ехали в Томск: старший изучать юриспруденцию, младший — медицину. Мариновский отправлялся в Казань на физико-математический фа-



*Иртыш под Омском.*

культет. Сорокин еще колебался и не решил окончательно, кем быть: доктором или инженером...

Приближалась полночь. Мы не хотели оставаться на острове до утра, а решили плыть всю ночь напролет. Костер погас, вся пища была съедена. Мы вновь погрузились на лодку и тронулись в путь. Вахту держали посменно. Грести не было надобности: мы плыли вниз, и мощный водяной поток неудержимо уносил нас все дальше и дальше по темно-таинственной глади реки, в которой так трепетно и загадочно отражалось далекое небо с мириадами тихо мерцающих звезд...

Мол вахта выпала на конец ночи. Я сидел на корме с рулевым веслом, пристальным взором стараясь пронизать царившую кругом тьму, и чутко прислушивался к каждому звуку, к каждому крику птицы с дальнего берега, к каждому всплеску воды под килем. Мимо во мраке неслись фантастические очертания кустов, деревьев, островов, крутояров. Как-то раз навстречу, весь горя огнями, пробежал пароход. На мгновение он наполнил шумом и стуком колес широкое пространство реки. Еще момент — и, как какое-то странное фантастическое виденье, пароход скрылся за по-

воротом и исчез в ночной мгле. Тьма и тишина вновь воцарились над миром. Было жутко и приятно. Тихие, ленивые мысли медленно ползли в моей отягченной голове.

Потом черная тьма стала как-то сереть. Брызнули первые блики рассвета. На востоке загорелась кучка перистых облаков. Огромное красное солнце стало медленно вылезать из-за горизонта. Подул сильный холодный ветер. Я разбудил старшего Марковича и вместе с ним из двух весел и одного одеяла смастерил примитивный парус, который быстро потянул нас вперед. Часам к семи утра весь «экипаж судна» проснулся — веселый, голодный, шумливый. В одном попутном селении мы купили свежей, только что выловленной рыбы и несколькими верстами ниже пристали к небольшому пустынному острову. Купались, валялись на песке, боролись, кричали, а потом ели уху и пили чай. Дальше опять река, опять солнце, опять голубое небо, опять луга и леса, опять свежий, бодрящий сибирский воздух. Так продолжалось целый день. К вечеру мы, наконец, приблизились к месту нашего назначения. Когда вдаль показались крыши и трубы заимки, мы все выстроились в «боевой порядок» на лодке. А когда наше «судно» сделало поворот к пристани, мы «салютовали» толпившимся на берегу обитателям заимки грозным залпом из одного дробовика и двух револьверов.

Три дня, проведенные на заимке, прошли, как в тумане. Здесь уже была вся многочисленная семья Марковичей с целой кучей родственников, знакомых и приживальщиков. Дом был полон веселой женской молодежи. Всей компанией ходили в лес на прогулки, играли в хороводы, пели песни, катались на лодках. Очень скоро образовались парочки, и вся атмосфера наполнилась пьянящим ароматом легкого юношеского флирта. Всем было страшно весело, и все много шутили, смеялись, поддразнивали друг друга. То и дело слышались взрывы веселого, здорового хохота. Мариновский, отличавшийся хорошей памятью, потешал публику нелепыми цитатами из произведений разных непризнанных поэтов. Ставши в унылую лозу, мрачно глядя пред собой, безнадежно размахивая руками, он вдруг провозглашал:

Жизнь наша проходит в трепете жутком,  
Температура в ней ноль!  
И мы ползаем в ней без рассудка  
Боком и исподволь.

Все хватались за бока и хохотали до упаду. Или Мариновский начинал декламировать из сибирской поэтессы Древинг, незадолго перед тем выпустившей «солидный том» своих произведений:

За окошком роша,  
В роше соловей,  
Что быть может проше  
И сего милей?..

При этом Мариновский строил невероятно идиотскую рожу, и все опять помирало со смеху.

Или, наконец, тот же Мариновский, делая вид, что представляет меня обитателям заимки, нелепо-восторженно кричал:

— Позвольте рекомендовать гражданина вселенной, сына отца бога-солнца и матери-земли, нареченного жениха ее величества Революции!..

— Заткнись, дурак! — в ответ кричал я.

А все окружающие хохотали и громко аплодировали нам обоим.

Так со смехом, с весельем, с радостными надеждами, с восторженными ожиданиями наша молодая компания проводила на заимке время и затем вернулась уже на лошадях в Омск.

## 22. ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДОМА

То лето наша семья опять проводила на «Санитарной станции». Чемодановы на этот раз к нам не приехали. Мы жили одни, и теперь мир и гладь царили в отношениях между мной и родителями. Мать окончательно убедилась, что я уже вырос и могу ходить на своих ногах. Мне было семнадцать с половиной лет, я кончил гимназию и через два месяца должен был уехать в Петербург на самостоятельную жизнь студента... Это производило впечатление. А сверх того, в недалеком будущем предстояла разлука надолго, — ни матери, ни мне не хотелось отравлять последних недель совместной жизни спорами и конфликтами. И потому мы жили дружно, хорошо, даже любовно. Мне это было очень приятно, и я все время пребывал в самом лучшем настроении.

К тому имелись и другие причины. Еще с шестого класса я твердо решил по окончании гимназии попасть в Петербургский университет, и чем дальше, тем прочнее я

утверждался в этом намерении. Почему я так страстно стремился в Петербург? Мои мотивы были двоякого рода.

Во-первых, я мечтал в литературной карьере. Кем именно я буду, — публицистом, литературным критиком, беллетристом или поэтом, — мне было не совсем ясно. Но что мне на роду писано держать в руках перо, — в этом я не сомневался. Литературной же столицей, конечно, был Петербург.

Во-вторых, я мечтал также о приобщении к тому широкому общественно-политическому движению против царизма, которое в то время все сильнее разливалось по стране, и слабое эхо которого доносилось и до нашего омского захолустья. Как должно произойти это приобщение, в каких формах, на каких основаниях, — для меня тоже было не совсем ясно. Но жгучее стремление к такому приобщению было налицо и становилось все сильнее по мере моего приближения к окончанию гимназии. Я был твердо уверен, что достаточно приехать в Петербург, и все мои трудности и сомнения будут сразу разрешены: врата истины здесь сами собой откроются предо мной. Отсюда моя неодолимая тяга в столицу. Мне было решительно все равно, в каком качестве я туда попаду, — лишь бы попасть. Все остальное казалось мне уже совсем просто. Как чеховские три сестры, я все время твердил: «В Петербург! В Петербург! В Петербург!» Но, не в пример чеховским героиням, я не только мечтал о Петербурге, — я твердо решил во что бы то ни стало попасть, и действительно попал в Петербург.

Однако далось это мне не сразу и не без борьбы. Со стороны родителей мне отказа не было, но зато имелись препятствия со стороны... царского правительства. В то время в судорожной борьбе против нарастающего революционного движения министерство народного просвещения додумалось, между прочим, до такой своеобразной меры: вся Россия была разделена на ряд крупных университетских районов, причем все среднеучебные заведения каждого района были приписаны к высшей школе именно этого района. Учащиеся по окончании гимназий или реальных училищ обязаны были поступать в университет или технологический институт своего района и в высшие школы других районов не принимались. Смысл этой меры состоял в том, чтобы затруднить скопление в столицах крупных масс учащейся молодежи, где она все больше превращалась в серьезную революционно-политическую силу. Конкретно,



таким образом, мне предстояло учиться в Томске или Казани (поскольку в Томском университете в то время еще не было всех факультетов, двери Казанского университета для омичей также были открыты). Это меня ни в какой мере не устраивало. Одно время, чтобы обойти имевшееся препятствие, я собирался по окончании седьмого класса перевестись в Москву и там закончить свое среднее образование. По разным причинам, однако, этот план не мог быть осуществлен.

Тогда мне пришла в голову другая мысль. Историко-филологический факультет в то время считался плохим, захудалым факультетом, ибо он душил студентов древними языками и открывал пред оканчивавшими лишь скромную карьеру учителя гимназии. Этот факультет был мало популярен, и туда шли главным образом неудачники. Обычно на историко-филологическом факультете никогда не бывало полного комплекта, и свободных вакансий имелось сколько угодно. Я все это знал и решил попытать счастья. Я подал прошение на историко-филологический факультет Петербургского университета и, ссылаясь на свою золотую медаль, просил принять меня «в виде исключения». Мой расчет полностью оправдался. Золотые медалисты стучались в двери историко-филологических факультетов не каждый день, — и в конце июня я получил сообщение, что буду зачислен в число студентов столичного университета. Я был в восторге: итак, моя мечта осуществилась, — я еду в Петербург!

Начались сборы и приготовления. Мать на швейной машинке «Зингер» сама сшила мне белье и верхние рубашки-косоворотки. Знакомому сапожнику, в течение многих лет обувавшему всю нашу семью, были заказаны новые, особо прочные сапоги. «Мужской портной для гг. военных и штатских» Махоткин, тоже наш многолетний поставщик, сшил мне серую студенческую тужурку и темнозеленые диагоналевые брюки. В магазине у Шаниной я купил студенческую фуражку с синим околышем. Таким образом, я был полностью экипирован. Новый костюм мне очень нравился, — особенно когда под тужурку я надевал темную косоворотку, лихо перехваченную тонким кожаным пояском. Тогда я чувствовал себя таким взрослым, таким независимым, таким резко грубоватым, как полагается быть настоящему студенту. Ласково глядя на меня, мать замечала:

— А знаешь, Ваничка, тебе идет студенческая форма.

Я тоже был уверен, что она мне идет, — и это было мне совсем не неприятно, — однако я считал ниже своего достоинства обнаруживать интерес к подобного рода вещам и потому лишь презрительно отмахивался от дамских комплиментов:

— Какое там «идет»?.. Просто требуется форма, вот и приходится носить форму. Ничего не поделаешь!

Вскоре Королев и некоторые другие студенты пригласили меня на собрание омского землячества, где обсуждался вопрос о пополнении средств существовавшей при землячестве кассы взаимопомощи. В то время подобные организации студентов по территориальному признаку существовали во всех университетских городах. Они вели полулегальное существование и занимались по преимуществу оказанием материальной и культурно-просветительной помощи своим членам. Так как в Омске в это время находились почти все члены омского землячества Петербурга, то они и решили посоветоваться о его работе на предстоящую зиму. Меня же привлекли как будущего члена землячества. Я был страшно польщен этим приглашением и явился на собрание в своей новенькой, только что сшитой студенческой форме. Наташа бросила на меня ласково-иронический взгляд, словно сказала добродушно: «Ваничка-петушок». Меня это, однако, нисколько не смутило. Я чувствовал, что полученное приглашение является официальным признанием моего перехода в новое состояние: взрослого и студента.

В начале июля Королевы, наконец, продали свой дом и всей семьей уехали в Петербург. После смерти матери их больше ничто не связывало с Омском, и они решили бросить якорь в столице. Я провожал их на вокзал и обещал разыскать осенью, сразу же по приезде в Петербург. После отъезда Королевых мне долго чего-то не хватало. Я сильно подружился с Наташей, и, хотя в наших с ней отношениях совершенно не было элемента какой-либо влюбленности, отсутствие ее на первых порах было для меня очень ощутительно. Бывая в городе, я всегда норовил пройти мимо бывшего дома Королевых, с которым у меня было связано столько воспоминаний, а однажды я даже поднялся по его скрипучему крыльцу и несколько нерешительно позвонил. На звонок вышла толстая баба с подоткнутыми юбками, оказавшаяся кухаркой, и спросила, что мне нужно.

Узнав, что хозяев (новых хозяев!) нет дома, я тут же на месте сочинил, будто бы имел с ними разговор о найме комнаты, и под этим предлогом попросил пропустить меня внутрь. Кухарка была, видимо, озадачена, однако разрешила мне осмотреть помещение. Я быстро обошел все знакомые места, до мгновения остановился у столь памятного мне чайного стола, который стоял там же, где и раньше, выглянул в окошко, через которое я любил показывать Наташе и Парочке звездное небо, чуть не обрушил стопку тарелок в кухне, откуда я так часто таскал в столовую самовар, и вновь выбежал на улицу. Мне было и грустно и приятно.

Вечером в тот же день я отправил Наташе следующее стихотворное послание:

Рассыпалось гнездо, навек осиротело...  
Забит старинный дом, обрушилось крыльцо.  
И в ночи тихие уверенно и смело  
Минувшее глядит мне с горечью в лицо...  
И бродят в сумраке встревоженные тени,  
Уснувшие давно под камнем гробовым.  
И жалобно скрипят подгнившие ступени,  
И шорох носится по комнатам пустым.  
И грустно на сердце, и как-то одиноко,  
И мысль уносится к минувшим временам,  
И что-то плачет там, в душе моей, глубоко,  
И что-то в сумраке рисуется очам...

Придет холодный день, и мутною волною  
Жизнь снова закипит в покинутых стенах,  
И новый господин безжалостной рукою  
Встревожит прошлого рассыпавшийся прах.  
И застучит топор в хоромах опустелых,  
И шумным говорам наполнится весь дом,  
И разлетится рой теней осиротелых,  
Встававших из гробов в безмолвии ночном...

Но в эту ночь еще залитый лунным светом  
Старинный дом стоит и грезит о былом,  
И тени прошлого являются с приветом,  
И оживает вновь минувшее кругом.  
И тени бледные бесшумною толпою  
Печально движутся в покинутых стенах  
И тихо шепчутся с глубокою тоскою  
О счастья былом и миновавших днях...

Отъезд Королевых теснее сблизил меня с Олигером и Таней. Несмотря на свое намерение держать выпускной экзамен экстерном, Олигер так и не окончил гимназии: начальство «по неблагонадежности» не допустило его к испытаниям. Это Николая, впрочем, мало тронуло. Он весь поглощен был теперь своим романом с Таней, который заслонял перед ним весь остальной мир. Они вечно ходили вдвоем, вздыхали, ворковали, обменивались нежными взглядами и целовались даже в присутствии посторонних. Хотя мы с Олигером были очень дружны, я чувствовал себя в их присутствии лишним человеком. Поэтому всю вторую половину зимы и весну я держался от Николая несколько подале и больше вращался в обществе Королевых. В начале лета, однако, Олигер со свойственной ему порывистостью решил теперь же, вопреки советам и отговорам родных, жениться на Тани. Венчаться он не хотел по принципиальным соображениям. Николай и Таня поселились вместе в порядке «гражданского брака». Родители Николая были в панике, мать Тани горько плакала. Но Николай и слышать не хотел об оформлении своего семейного союза. Эта смелость и решительность сильно подняла Николая в моих глазах, и я вновь стал частым гостем у него на квартире, тем более, что с момента совместного поселения с Таней Николай сделался ровнее, спокойнее, беззаботнее. Он вновь получил способность видеть что-нибудь, кроме своей Тани, интересоваться чем-нибудь, кроме настроений Тани. Мы много втроем гуляли, катались на лодке, беседовали, спорили, строили планы на будущее. Последнее лето в Омске прошло у меня под знаком особой близости с Олигером...

Потом мы расстались, чтобы уже больше никогда не встречаться, — если не физически, то духовно.

Вскоре после моего отъезда в Петербург Олигеры, в конце концов, обвенчались, а затем куда-то исчезли из Омска. На некоторое время я потерял Николая из виду. Но «след Тарасов отыскался». Олигер был одарен несомненным литературным талантом — быть может, не очень большим, но приятным, теплым, душевным. Настроения у него были революционные, однако ему не хватало настоящей революционной выдержки и устойчивости. В эпоху пятого года он дал несколько прекрасных, подъемных произведений, но потом, когда пришла полоса безвременья, когда гнилостные миазмы контрреволюции заразили собой

литературу, Олигер не сумел удержаться на прежнем пути. Порывистый, размахистый, эмоциональный, он не изменил, как многие другие, огням революции, но он все-таки отдал известную дань упадочным настроениям столыпинской эпохи.

Я вновь увидел Олигера только весной 1917 года, по возвращении в Петроград из эмиграции. Он был в это время известным писателем, занимал хорошую квартиру в центре столицы и жил попрежнему с Таней, ставшей настоящей «литературной дамой». Мы встретились с Николаем, Как близкие друзья детства, но очень скоро выяснилось, что у нас нет общего языка. С Олигером случилось то, что тогда стало уделом многих представителей левой интеллигенции. В течение долгих лет Олигер говорил, думал и мечтал о революции, но, когда революция, наконец, пришла, он не узнал ее, он испугался ее. Ибо революция пришла не в тех романтических одеждах, в которые он всегда ее одевал в своем воображении, а в изодранном рубище, в вихре, в гневе, с мозолистыми руками, с пылью, с грязью, с потом и кровью. И Олигер, подобно многим другим, не сумел рассмотреть за этой суровой внешностью того истинно великого и прекрасного, что несла с собой революция. Ему казалось, что на историческую сцену пришел дикий варвар, который разрушит всю человеческую культуру и бросит в огонь Шекспира и Толстого.

В буре событий того времени я не имел возможности часто встречаться с Николаем. Но все-таки видел его несколько раз. Мы все меньше понимали друг друга. Летом 1917 года Николай бежал из революционного Петрограда куда-то далеко — не то на Филиппины, не то на острова Таити — вместе с какой-то странной и ненужной экспедицией министерства финансов, отправлявшейся на Тихий океан для изучения каких-то странных и ненужных вопросов. Таня, однако, осталась в России. Николай собирался вернуться домой в конце 1917 года. Не пришлось! Гражданская война и интервенция разорвали в то время Россию на части. Фронты и границы стали непроходимы. Мне неизвестны подробности дальнейшей судьбы Олигера. Знаю только, что он умер в Харбине в 1919 или 1920 году.

В памяти моей он, однако, остался, как один из самых ярких образов моей ранней юности.

Когда ударил последний звонок, и поезд, тяжело пыхтя и гроыхая, медленно отошел от перрона омского вокзала, я как-то особенно остро почувствовал, что в моей жизни начинается совсем, совсем новая эпоха.

Позади были годы детства, отрочества, ранней юности. Позади были семья, гимназия, захолустный сибирский город. Позади остался весь тот мир, в котором я до сих пор рос и развивался, который крепко держал меня в своих руках и который ставил твердые рамки моим действиям, намерениям, желаниям, даже мыслям. Теперь поезд быстро уносил меня от всего этого прошлого, и перед моим умственным взором начинали открываться перспективы будущего, перспективы, казавшиеся безгранично широкими, туманно прекрасными, захватывающе интересными. Должно быть, такое ощущение бывает у молодого юнги, который долго болтался на маленьком катере по небольшому заливу и вот теперь впервые уходит в дальнее плавание на борту океанского корабля.

Весь путь от Омска до Москвы, который я проделывал уже не в первый раз, прошел у меня в каком-то радостном тумане. Я был в прекрасном настроении, являл образец добродушия и любезности в отношении моих случайных спутников по вагону, каждый день отправлял с дороги восторженные открытки матери и Олигеру.

В Москве меня встретила на вокзале Пичужка. В ее семье не все было благополучно: несколько дней назад заболел scarлатиной ее младший брат Гуня. Пичужкина мать устроила карантин и заперлась с Гуней в двух изолированных комнатах. Тетя Юля с другим братом, Мишукон, временно перебралась в гостиницу. Отец Пичужки был в отъезде. В результате мы с Пичужкой оказались полными хозяевами в остальной части квартиры и зажили с ней веселой и беспорядочной богемой.

Пичужка к этому времени стала уже совсем взрослой, молодой, очаровательной девушкой. Своей живостью, умом, начитанностью, практической сметкой она поражала окружающих, и около нее всегда было много интересных молодых людей. Но сердце ее еще оставалось нетронутым, и увлекалась она больше всего своей работой в воскресной школе и на Пречистенских рабочих курсах. За год нашей разлуки Пичужка стала еще большей «культурницей», чем

раньше, и это сразу же повело к жестоким спорам между нами. Я прожил в Москве, на перепутье, около недели, и почти каждый день мы вели идеологические баталии. Однако теперь мы были старше, больше знали, умели лучше уважать чужое мнение, и потому эти баталии, не в пример прошлому, были глубже, серьезнее, зрелее. Они не оставляли горечи и раздражения. Наоборот, наша старая дружба от этих споров только выигрывала. Мы становились как-то ближе и понятнее друг другу.

Обычно с утра до вечера мы бегали по городу. Пичужка знакомила меня с своими друзьями и приятелями обоого пола, каковых у нее было немало. Мы ездили в Нескучный сад, катались на лодке по Москва-реке, ходили в театр, обедали в каких-то маленьких подозрительных ресторанах. К ночи мы возвращались домой. Пичужка заваривала чай и готовила ужин, а я развлекал ее в это время декламацией из Шиллера, Гейне, Байрона, Некрасова, Лермонтова и других моих литературных любимцев. После ужина мы устраивались по-домашнему: я сбрасывал свою студенческую тужурку и крупными шагами ходил по комнате с расстегнутым воротом рубашки, Пичужка облачалась в какую-то длинную материнскую кофту, похожую на халат, и с полураспущенными волосами садилась на низенькое кресло у печки. Тут у нас начинались споры и разговоры «на серьезные темы». Большею частью на одну и ту же тему: что делать? Куда итти?

— Мы согласны с тобой в одном пункте, — говорил я Пичужке, — что нынешние порядки в России никуда не годятся. Их надо изменить. Очень хорошо. Но как?.. Вот тут-то и начинаются расхождения. Ты хочешь сначала обучить грамоте всех щедринских «мальчиков без штанов» и только потом уже менять порядки. А я в это не верю.

— А во что же ты веришь? — не без ехидства спрашивала Пичужка. — В очищение мира огнем?

Мне было несколько неприятно напоминание об этом моем недавнем божке, ныне уже низвергнутом с пьедестала, и потому я сам переходил в нападение:

— Твоя грамота — вещь, конечно, полезная, но она похожа на обоз атакующей армии... Я предпочитаю быть в передовой цепи застрельщиков. Мне так больше нравится, да это и важнее.

— О какой армии ты говоришь? — возражала Пичужка. — Что ты имеешь в виду?

— О какой армии? — повторял я. — Разве ты не чувствуешь, Пичужка, что в обществе подымается какая-то волна? Разве ты не видишь, что она с каждым днем растет, крепнет? Спящие просыпаются... Не пройдет двух-трех лет, и физиономия России совершенно изменится. Россия — великая страна, русский народ — великий народ. Пусть кричат, что мы, русские, не способны к мировому общему делу, — настанет час, когда русский народ докажет обратное...

И затем, приходя во все большее возбуждение, я продолжал:

— Я счастлив, что мне придется жить в эту чудную эпоху, когда Россия отбросит дух дряхлости и уныния, когда она помолодеет и разогнет свою согбенную спину... Может быть, и мне удастся сослужить хоть маленькую службу родине, разбудить хоть двух-трех спящих людей! Не думай, что я рисуюсь, — я говорю это вполне серьезно: кровь мою и жизнь готов отдать моей стране!

Пичужка помолчала немного и затем, точно в раздумьи, сказала:

— Я верю твоей искренности, но не увлекаешься ли ты созданной себе фантазией? Возможно ли, чтобы через каких-нибудь два-три года физиономия России изменилась? Мне как-то не верится. Не потратишь ли ты зря свои силы на достижение невозможного? Не лучше ли было бы эти силы поберечь?

— Не умею я упаковывать свои силы в бочонки на случай будущей необходимости, — запальчиво отпарировал я. — Если у меня есть силы, я хочу их тратить теперь же на то, что считаю полезным делом.

Мы еще долго спорили с Пичужкой в тот вечер, и хотя притти к полному соглашению не могли, все-таки первоначальная пропасть между нашими взглядами стала суживаться: моя кузина теперь лучше понимала мои настроения.

В другой раз мы говорили с Пичужкой о браке. Она несколько туманно давала мне понять, что за ней ухаживают несколько претендентов и что один из них ей очень нравится.

— Уж не собираешься ли ты выйти за него замуж? — насмешливо спросил я.

Пичужка внезапно покраснела и не совсем уверенно сказала:



— В конце концов когда-нибудь надо же выходить замуж.

Я пришел в страшное негодование и набросился на Пичужку. Она так много говорила о принесении пользы народу, она собиралась идти в деревню, она хотела ехать учительницей на Сахалин, — но что из всего этого получится, если она выйдет замуж?

— Брак налагает на человека самые тяжелые и самые красивые цепи, — горячился я. — Они связывают его, делают неспособным на беззаветные, смелые поступки. Женатый человек — конченный человек, он уже выбывает из строя и проводит жизнь в стороне от жизни..

В то время в голове у меня прочно сидела теория, что брак и революционная борьба несовместимы, и я горячо развивал ее при всяком подходящем случае. Но Пичужка со Мной не соглашалась.

— Как же тогда будет происходить продолжение человеческого рода? — задала она вопрос.

Этот вопрос и меня несколько смущал, но я тут же, на месте, нашел выход из затруднения.

— Я говорю не о массе людей, а о борцах за свободу. Вступая в орден «рыцарей духа», надо дать клятву безбрачия и небрежности к собственной жизни, если можно так выразиться... Делу нужны люди, готовые на все! Нужны весталки свободы!

Мы опять горячо заспорили и просидели часов до двух ночи. Когда мы уже прощались перед сном, Пичужка вдруг ребром поставила мне вопрос:

— Ты вот все говоришь: «дело», «свобода», «борьба», «атакующая армия», — а что это значит конкретно? Я вот знаю свое маленькое дело и свое место: учу грамоте «мальчиков без штанов». А ты что собираешься делать? Где твое место?

Вопрос Пичужки поразил меня в самое сердце: она коснулась пальцем слабого места в моем духовном вооружении. Годы, прошедшие со времени моего путешествия на арестантской барже, дали мощный толчок моему общественно-политическому развитию. Я ненавидел царизм и носился с идеями разрушения самодержавных порядков, я сочувствовал студенческому движению и усердно читал политическую экономию, я любил говорить о Лео и «идее четвертого сословия», но, в сущности, я толком не знал, чего я хочу, куда я пойду, в какие конкретные формы отолью

свою «борьбу за свободу». В самом деле, что я должен делать сейчас в Петербурге? Учиться в университете? Писать статьи в «Русском богатстве»? Устраивать студенческие забастовки? Заниматься историей и политической экономией? Сочинять пламенные гимны в честь борьбы за свободу? Печалиться о горькой судьбе крестьянина и рабочего? Что такое та «освободительная армия», о которой я так часто любил говорить? И какую роль я должен в ней играть?.. На все эти вопросы у меня не было ясного ответа. И потому-то сказанные Пичужкой слова попали не в бровь, а в глаз. Я чувствовал себя несколько смущенным. Моей самоуверенности был нанесен тяжелый удар.

Дня два спустя, проходя мимо большого книжного магазина на Петровке, я машинально остановился у его витрины. В числе других новинок, выставленных в окне, мне бросилась в глаза средних размеров книжка в светлоголубой обложке, на которой было написано:

*«С. и Б. Уэбб*

**ИСТОРИЯ  
РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ В АНГЛИИ**

*Перевод с английского*

*ПАПЕРНА*

ИЗДАНИЕ Ф. С. ПАВЛЕНКОВА»

Заголовок книжки меня заинтересовал, внешность книжки располагала к себе. И хотя имя авторов мне было совершенно незнакомо, я зашел в магазин и, слегка перелистав страницы, купил книжку за 1 рубль 25 копеек. Вернувшись домой, я сразу приступил к чтению. Несмотря на внешнюю сухость изложения, книга меня увлекла. Я просидел за ней до глубокой ночи, почти не обращая в этот вечер внимания на Пичужку. Я просидел за ней и весь следующий день. И когда, наконец, я перевернул последнюю страницу, я почувствовал, что в моей голове произошло что-то очень важное, всего значения которого я в тот момент еще не мог осознать. Пред моим умственным взором открылась изумительная картина — картина мощного двухсотлетнего движения рабочих масс, с его успехами и поражениями, с его предрассудками и идеалами, с его конфликтами и организациями, — движения, медленной, желез-

ной поступью ведущего эти массы все выше и вперед. В то время я не мог еще, конечно, понять ни ограниченности английского трэд-юнионизма, ни «фабианских» установок авторов книги, — все это пришло позднее, — однако самая книга произвела на меня глубочайшее впечатление. До того мне приходилось кое-что слышать и читать о рабочем вопросе — в романе Шпильгагена, в политических эссе, которые я доставал в Омске, в трудах Альберта Ланга и т. д., но все это было краткое, отрывочное, абстрактное. Впервые я видел целое широкое полотно, густо насыщенное фактами и данными, полотно, в ярких красках рисующее вековую борьбу пролетариата одной из величайших стран мира. Оно меня захватило с необычайной силой.

Больше того. Книга С. и Б. Уэбб вызвала в моей голове вихрь новых мыслей, чувств, предвкушений. Мне казалось, что содержание ее имеет какое-то ближайшее отношение к мучившему меня вопросу: что же делать? Я не мог еще точно сказать, в чем именно состояло это отношение, но инстинктивно ощущал, что оно есть и что мне следует хорошенько подумать на данную тему.

Много лет спустя, будучи послом в Лондоне, я лично познакомился с С. и Б. Уэбб, ставшими к тому времени уже глубокими стариками, и как-то рассказал им о впечатлении, произведенном на меня их книгой на заре моей юности. Они были тронуты и вместе с тем удивлены. Когда С. и Б. Уэбб писали свой труд, им и в голову не приходило, каким духовным динамитом может стать эта «фабианская» работа в руках молодого русского студента. Но тут уже сказывался характер эпохи, которую тогда переживала наша страна: всего лишь четыре года отделяли ее от первой российской революции.

Я имел с Пичужкой длинную беседу по поводу книги С. и Б. Уэбб. Я с восторгом пересказывал ей содержание книги и рисовал яркую картину борьбы и успехов британского пролетариата. Выслушав меня, Пичужка с легким вздохом сказала:

— Да, но ведь все это в Англии...

Я тогда вспомнил, что еще в Омске урывками кое-что слышал от высланных студентов о забастовках и волнениях на наших фабриках. Говорили они об этом обычно вполголоса и с таинственным видом, как о каком-то сугубом секрете, хотя у меня всегда оставалось впечатление, что сами они имеют весьма слабое представление о таких

вопросах. Я стал расспрашивать Пичужку, как «столичного жителя», не знает ли она чего-либо о жизни и борьбе русских рабочих? Будучи «культурницей», Пичужка стояла в стороне от революционного движения тех времен, однако она все-таки сообщила мне некоторые любопытные вещи. На Пречистенских курсах, где работала Пичужка, недавно были арестованы трое занимавшихся там рабочих. О причинах ареста никто точно ничего не мог сказать, но в связи с этим по курсам шел разговор «топотком» о каких-то «кружках», которые собираются не то в лесу за городом, не то в подвале одной из московских церквей. Пичужка припомнила также, что несколько месяцев назад одна из ее учениц в воскресной школе как-то принесла в класс литографированный листок бумаги. Она была полуграмотна и просила Пичужку прочитать ей содержание листка. Это была прокламация к рабочим, призывавшая их к борьбе за лучшие условия труда, за короткий рабочий день и повышение заработной платы. Кем именно была выпущена прокламация, Пичужка не могла сказать, но смысл ее она помнила прекрасно.

Когда я ложился в ту ночь спать, в голове моей была буря. История английских трэд-юнионов как-то странно и буйно переплеталась и перемешивалась с тем, что рассказала мне Пичужка, и еще больше с тем, что рисовало мне в этой связи воображение. Я долго не мог заснуть и чувствовал, что в моем сознании, а еще вернее — в моем подсознании, идет какая-то глубокая, напряженная, лихорадочная работа. Человеческая психика, — по крайней мере, я это неоднократно замечал на самом себе, — функционирует обычно в двух этажах: сознания и подсознания. Одно дополняет другое. Часто какой-либо мыслительный процесс начинается в этаже сознания, на известной ступени развития прерывается здесь, переходит в этаж подсознания, проделывает там неощутимо ряд этапов и, наконец, как-то вдруг, неожиданно, заканчивается опять в этаже сознания ясно сформулированным выводом, который отнюдь не вытекал из первой половины процесса, проделанной в этом этаже. Именно такое состояние я испытывал в описываемый момент.

На следующий день к вечеру я уезжал из Москвы в Петербург. Утром мы с Пичужкой пошли по магазинам в расчете закончить мою экипировку для студенческой жизни в столице. Купили пояс, дюжину носовых платков, бритву

с разными принадлежностями (которой я, впрочем, почти не пользовался), записную книжку, портфель и еще какие-то мелочи.

Но главным приобретением этого дня были часы — первые собственные часы в моей жизни! Купил я их в известном тогда магазине Буре за 10 рублей, вместе с простым черным шнурком, надевавшимся на шею. Часы были большие, луковицей, сделанные из никеля. Глядя на них, я чувствовал себя уже совсем, совсем взрослым человеком. В течение последующих тридцати лет эти часы стали моим неизменным спутником во всех сложных перипетиях моей жизни. Они были со мной всегда и везде: в тюрьмах и ссылках, в подполье и эмиграции, в рабочих кварталах Лондона и в степях Монголии, на митингах революции и на королевских приемах Европы и Азии. Они шли хорошо и никогда меня не подводили. Я привык к ним и сроднился с ними. Они стали как бы частью меня самого. Только в 1931 году, когда я полпредствовал в Финляндии, мои старые, верные часы стали пошаливать: даже их крепкий стальной организм износился. Пришлось заменить их новыми — уже маленькими наручными часами вполне современного типа. Но далось мне это нелегко. Расставаясь с моей большой, грубоватой, стертой от времени «луковицей», я чувствовал так, как если бы я расставался с старым, дорогим другом...

Пичужка провожала меня на вокзал. Я торопливо внес свой несложный багаж в вагон третьего класса и вышел затем на платформу. Терпеть не могу этих нудных пред-отъездных минут на перроне, которые слишком длинны для того, чтобы проститься, и слишком коротки для того, чтобы сказать что-нибудь толковое! В тот момент я особенно остро их ненавидел. Я ехал в Петербург. Я рвался туда всей душой. Я весь горел нетерпением и считал мгновения, которые отделяли меня от цели моих мечтаний...

Но вот раздался третий звонок. Наскоро поцеловавшись с Пичужкой, я вскочил на площадку вагона и трепетно ждал, свистка кондуктора... Миг... Другой...

Громыхнули тормоза... Раздался толчок... Поезд медленно, как бы нехотя, побежал вдоль платформы... Пичужка махнула платком... Я ответил ей студенческой фуражкой...

В купе со мной оказался какой-то седобородый старичок с мягкими движениями и благолепным лицом, который своим обликом мне почему-то напомнил масонского учителя

Баздеева из «Войны и мира», обратившего в свою веру Пьера Безухова, Старичок сразу же взял со мной добродушно-покровительственный тон и стал допрашивать меня:

— Думали ли вы, молодой человек, о том, в чем смысл жизни?

И, так как я не обнаружил большого интереса к этой теме, старичок укоризненно продолжал:

— Вот все так: пока молоды, не думают, а как состарятся, так поздно уж думать... Жизнь-то ушла, не переделаешь.

Я остался равнодушен и к этому увещеванию. Все мои мысли и чувства были заняты совсем другим.

Я рано лег спать на верхней полке. И, хотя обычно я спал, как убитый, даже на голых досках, теперь я несколько раз пробуждался среди ночи и нетерпеливо смотрел на циферблат моих новеньких никелевых часов. Я встал с первыми лучами солнца, оделся, умылся и вышел на площадку вагона. Была ранняя осень, но трава и деревья еще зеленели, а в воздухе еще сохранялся аромат позднего лета. Поезд, громыхая и поскрипывая, неторопливо — с тридцативерстной скоростью — бежал вперед. Мимо пронеслись луга, поля, роши, серо-голубые озера, сонные станции, желтые будки стрелочников. В Любани я вышел и в буфете напился чаю. Потом опять вернулся в вагон и долго стоял у окна, вперивши взгляд в летевшее навстречу пространство. Я думал о Петербурге, я представлял себе толкотню на Николаевском вокзале, извозчика, Васильевский остров, 9-ю линию, Наташу, ибо я решил сразу же с поезда заехать прямо к Королевым.

Солнце подымалось все выше. День разгорался на славу. Предо мной широко открывались ворота новой жизни.

И когда на дальнем горизонте показались десятки черных фабричных труб, изрывающих темные клубы дыма, когда на солнце ярко сверкнул золотой купол Исакия и горячее дыхание столицы ударило мне в лицо, в моей голове вдруг пришли в порядок мысли, чувства, искания, надежды, ожидания, которые в течение стольких лет волновали и тревожили меня, и как-то сам собой сформулировался все разрешающий вывод:

я должен принять участие в рабочем движении.

*Зима 1939/40 года  
Лондон*

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	ко	второму	изданию.....	5
1. Первые ощущения бытия				9
2. Мой отец				13
3. Моя мать				27
4. Наш город				36
5. Ранние годы				44
6. Путешествие в Верный				51
7. В Петербурге				66
8. Мой дядя Чемоданов				77
9. На арестантской барже				89
10. Я знакоюсь с «политическими»				99
11. В поисках огней жизни: ремесло и наука				111
12. В поисках огней жизни: поворот к общественности				125
13. Гимназия				140
14. Гимназический бунт				150
15. Кружок				154
16. Поэзия				167
17. Трагедия церковного органиста				183
18. Огни жизни загораются над моим горизонтом				191
19. Студенты				203
20. Политическая экономия				215
21. Окончание гимназии				220
22. Последнее лето дома				231
23. Я нахожу дорогу				238

*Переплет и титул  
работы художника  
М. Эльцуфена*

*Отв. редактор Б.Евгеньев.  
Техн. ред. М. Кутузова.*

Подписано к печати 20/X 1945 г.  
А21964 Тираж 30 000  
Формат 84×103<sup>1/16</sup> 15,5 печ. л.  
(Уч.-изд. л. 15) Заказ 1789.  
Цена 7 р. Переплет 1 р. 50 к.

Типография «Красное знамя»  
изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая  
гвардия». Москва, Сушевская, -21.